

БОРИС СЛУЦКИЙ

Я ИСТОРИЮ ИЗЛАГАЮ...



Я ИСТОРИЮ
ИЗЛАГАЮ...

БОРИС СЛУЦКИЙ

Б ИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА
НАМЯ

БОРИС СЛУЦКИЙ

**Я ИСТОРИЮ
ИЗЛАГАЮ...**

**КНИГА
СТИХОТВОРЕНИЙ**

**МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1990**

84 P 7
С 49

Составление
Ю. Л. Болдырева

На обложке рисунок
А. И. Когановского

С $\frac{4702010200-2169}{080(02)-90} 2169-90$

© Издательство «Правда», 1990.
Составление.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В конце 50-х годов Борис Слуцкий написал и опубликовал в журнале «Знамя» стихотворение «Я учитель школы для взрослых...» В нем была следующая строфа:

Даже если стихи слагаю,
 Все равно — всегда между строк —
 Я историю излагаю,
 Только самый последний кусок.

И действительно, на протяжении всего своего творческого пути он излагал историю, но делал это не как историк, а как поэт. В его лирическом дневнике соседствовали и стихи, точно воспроизводившие события, настроения, ощущения сегодняшнего дня, и стихи-записи о дне вчерашнем или позавчерашнем, и стихи-воспоминания о днях войны, о тридцатых и даже двадцатых годах, о послевоенном времени и времени XX съезда, и стихи-раздумья о давних или только что произошедших событиях и переменах... А поскольку Слуцкий и события сорокалетней давности, и свежие происшествия воспринимал и воссоздавал в стихе с одинаковым чувством историзма, его лирический дневник сам собой, не преднамеренно превращался в летопись, или, как он любил говорить, «анналы».

Когда после смерти Б. Слуцкого я впервые прочел все его рабочие тетради, в которых оказалось огромное количество неопубликованных произведений, и сверил впечатление от них с впечатлением от того, что было им опубликовано при жизни, я увидел, что поэт сделал нечто, в русской поэзии до того небывалое: лирическим и балладным стихом он написал хронику жизни советского человека, советского общества за полвека — с 20-х до 70-х годов. Причем хроника эта густо насыщена не только событиями историческими, масштабными, но и бытом нашей жизни, той материальной и духовной атмосферой, в которой жили наши деды, отцы и мы сами.

Так вот, книга, лежащая сейчас перед читателем, и есть первая, пусть неполная попытка восстановления этого эпоса, созданного Борисом Слуцким. Вот почему она имеет право стоять рядом с прозаиком

ческими книгами, вот почему она носит столь непривычное для стихотворной книги название «Я историю излагаю...».

Кроме последовательности изложения (разделы или главы этой книги посвящены соответственно двадцатым — тридцатым годам, военной поре, первым послевоенным годам, хрущевскому периоду и времени от середины шестидесятых годов до конца семидесятых), этот эпос связан также ярко проявленной личностью ее автора, четко выписанной его биографией. В книге предстает жизнь и судьба свидетеля и участника эпохи, война и поэта, человека зоркого и совестливого, доброго и честного, чьи взгляды на время и людей не пребывали в неподвижности, а развивались и двигались с накоплением жизненного и творческого опыта.

Борис Слуцкий писал о двадцатом столетии: «В этом веке все мои вехи, все, что выстроил я и сломал». Сын этого века, он рассказал о нем, о его вехах, о его людях, о самом себе с предельной, порой беспощадной искренностью и откровенностью.

Как уже сказано, первое место в этой книге занимает история. Это не значит, что поэзия здесь не присутствует. Она есть, в полной мере.

Юрий Болдырев

И. ЕЩЕ ВСЕ БЫЛИ ЖИВЫ

ГУДКИ

Я рос в тени завода
И по гудку, как весь район, вставал —
Не на работу:

я был слишком мал —
В те годы было мне четыре года.
Но справа, слева, спереди — кругом
Ходил гудок. Он прорывался в дом,
Отца будя и маму поднимая.
А я вставал
И шел искать гудок, но за домами
Не находил.
Ведь я был слишком мал.

С тех пор, и до сих пор, и навсегда
Вошло в меня: к подъему ли, к обеду
Гудят гудки — порядок, не беда.
Гудок не вовремя приносит беды.

Не вовремя в тот день гудел гудок,
Пронзительней обычного и резче,
И в первый раз какой-то странный,
вещий
Мне на сердце повеял холодок.

В дверь постучали, и сосед вошел,
И так сказал — я помню все до слова:
— Ведь Ленин помер. —

И присел за стол.
И не прибавил ничего другого.

Отец вставал,
садился,
вновь вставал.

Целый час быть несчастным —
Ведь это не шутки.
В часе столько минутоу
А в каждой минутке
Еще больше секунд.
И любую секунду
В этом часе, наверно,
Несчастливым я буду!

Но снимается с тачки блестящая крышка,
И я слышу: «Бери!
Ты хороший мальчишка!»

ПОСЛЕДНИЕ КУСТАРИ

А я застал последних кустарей,
ремесленников слабых, бедных, поздних.
Степенный армянин или еврей,
холодный, словно Арктика, сапожник

гвоздями каблуки мне подбивал,
рассказывая не без любованья,
когда и где и как он побывал
и сколько лет — за это подбиванье.

Присвоили заводы слово «цех»,
цеха средневековые исчезли,
а мастера — согнулись и облезли.
Но я еще застал умельцев тех.

Теперь не император и не папа —
их враг, их норма, их закон,
а фининспектор — кожаная лапа,
который, может, с детства им знаком.

Работали с зари и до зари
фанатики индивидуализма.
В тени больших лесов социализма
свои кусты растили кустари.

Свое: игла, наперсток, молоток.
Хочу — приду! Хочу — замок повешу.
Я по ладоням тягостным, по весу
кустаря определить бы смог.

ЕЛКА

Гимназической подруги
мамы

стаяка дочерей
светятся в декабрьской вьюге,
словно блики фонарей.
Словно елочные свечи,
тонкие сияют плечи.

Затянувшуюся осень
только что зима смела.
Сколько лет нам? Девять? Восемь?
Елка первая светла.
Я задумчив, грустен, тих —
в нашей школе нет таких.

Как зовут их? Вика? Ника?
Как их радостно зовут!
— Мальчик, — говорят, — взгляни-ка!
— Мальчик, — говорят, — зовут! —
Я сгораю от румянца.
Что мне, плакать ли, смеяться?

— Шура, это твой? Большой.
Вспомнила, конечно. Боба. —
Я стою с пустой душой.
Душу выедает злоба.
Боба! Имечко! Позор!
Как терпел я до сих пор!

Миг спустя и я забыт.
Я забыт спустя мгновенье,
хоть меня еще знобит,
сводит от прикосновенья
тонких, легких детских рук,
ввысь
подбрасывающих вдруг.

Я лечу, лечу, лечу,
не желаю опуститься,
я подарка не хочу,
я не требую гостинца,
только длились бы всегда
эти радость и беда.

МУЗШКОЛА ИМЕНИ БЕТХОВЕНА В ХАРЬКОВЕ

Меня оттуда выгнали за проф
Так называемую непригодность.
И все-таки не пожалею строф
И личную не пощажу я

гордость,
Чтоб этот домик маленький воспеть,
Где мне пришлось терпеть и претерпеть.
Я был бездарен, весел и умен,
И потому я знал, что я — бездарен.
О, сколько бранных прозвищ и имен
Я выслушал: ты глуп, неблагодарен,
Тебе на ухо наступил медведь.
Поёшь? Тебе в чашобе бы реветы!
Ты никогда не будешь понимать
Не то что чижик-пыжик — даже

гаммы!
Я отчислялся — до прихода мамы,
Но приходила и вмешивалась мать.
Она меня за шиворот хватала
И в школу шла, размахивая мной.
И объясняла нашему кварталу:
— Да, он ленивый, да, он озорной,
Но он способный: поглядите

руки,
Какие пальцы: дециму берет.
Ты будешь пианистом.

Марш вперед! —
И я маршировал вперед.

На муки.

Я не давался музыке. Я знал,
Что музыка моя — совсем другая.
А рядом, мне совсем не помогая,
Скрипели скрипки и хирел хорал.
Так я мужал в музшколе той вечерней,
Одолевал упорства рубежи,
Сопrotивляясь музыке учебной
И повинуюсь музыке души.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛАССА

На харьковском Конном базаре
В порыве душевной лютости
Не скажут: заеду в морду!

Отколочу! Излуплю!
А скажут, как мне сказали:
«Я тебя выведу в люди»,
Мягко скажут, негордо,
Вроде: «Я вас люблю».

Я был председателем класса
В школе, где обучали
Детей рабочего класса,
Поповичей и кулачков,
Где были щели и лазы
Из капитализма в массы,
Где было ровно сорок
Умников и дурачков.

В комнате с грязными партами.
И с потемневшими картами,
Висевшими, чтоб не порвали,
Под потолком — высоко,
Я был представителем партии,
Когда нам обоим с партией
Было не очень легко.

Единственная выборная
Должность во всей моей жизни,
Ровно четыре года
В ней прослужил отчизне.
Эти четыре года
И четыре — войны,
Годы без всякой льготы
В жизни моей равны.

СОВЕТСКАЯ СТАРИНА

Советская старина. Беспризорники. Общество
«Друг детей».

Общество эсперантистов. Всякие прочие общества.
Затсиванье затейников и затейливейших затей.
Все мчится и все клубится. И ничего не топчется.

Античность нашей истории. Осавнахим.
Пожар мировой революции,
горящий в отсвете алом.

Все это, возможно, было скудным или сухим.
Все это, несомненно, было тогда небывалым.

Мы были опытным полем. Мы росли, как могли.
Старались. Не подводили мичуриных социальных.

А те, кто не собирались высовываться из земли,
те шли по линии органов, особых и специальных.

Все это Древней Греции уже гораздо древней
и в духе Древнего Рима векам подает примеры.
Античность нашей истории! А я — пионером в ней.
Мы всё были пионеры.

ЗОЛОТО И МЫ

Я родился в железном обществе,
Постепенно, нередко — ощупью
Вырабатывавшем добро,
Но зато отвергавшем смолоду,
Отводившем

всякое золото
(За компанию — серебро).

Вспоминается мне все чаще
И повторно важно мне:
То, что пахло в Америке счастьем,
Пахло смертью в нашей стране.

Да! Зеленые гимнастерки
Выгребали златые пятерки,
Доставали из-под земли
И в госбанки их волокли.
Даже зубы встречались редко,
Ни серьги, ничего, ни кольца,
Ведь серьга означала метку —
Знак отсталости и конца.

Мы учили слова отборные
Про общественные уборные,
Про сортиры, что будут блистать,
Потому что всё злато мира
На отделку пойдет сортира,
На его красоту и стать.

Доживают любые деньги
Не века — деньки и неделки,
А точней — небольшие года,
Чтобы сгнить потом навсегда.

Это мы, это мы придумали,
Это в духе наших идей.
Мы первейшие в мире сдунули
Золотую пыльцу с людей.

ДЕРЕВНЯ И ГОРОД

Когда в деревне голодали —
и в городе недоедали.

Но все ж супец пустой в столовой
не столь заправлен был бедой,
как щи с крапивой,
хлеб с половиной,
с корой,
а также с лебедой.

За городской чертой кончались
больница, карточка, талон,
и мир села сидел, отчаясь,
с пустым горшком, с пустым столом,
пустым амбаром и овином,
со взором, скорбным и пустым,
отцом оставленный и сыном
и духом брошенный святым.

Там смерть была наверняка,
а в городе — а вдруг устроюсь!
Из каждого товарняка
сыпались слабость, хворость, робость.

И в нашей школе городской
крестьянские сидели дети,
с сосредоточенной тоской
смотревшие на все на свете.
Сидели в тихом забытьи,
не бегали по переменкам
и в городском своем житье
все думали о деревенском.

ТРИ СТОЛИЦЫ (ХАРЬКОВ — ПАРИЖ — РИМ)

Совершенно изолированно от двора, от семьи
и от школы
у меня были позиции свои
во Французской революции.
Я в Конвенте заседал. Я речи
беспощадные произносил.

Я голосовал за казнь Людовика
и за казнь его жены,
был убит Шарлоттою Корде
в никогда не виденной мною ванне.
(В Харькове мы мылись только в бане.)
В 1929-м в Харькове на Конной площади
проживал формально я. Фактически —
в 1789-м
на окраине Парижа.
Улицы сейчас, пожалуй, не припомню.
Разница в сто сорок лет, в две тысячи
километров — не была заметна.
Я ведь не смотрел, что ел, что пил,
что недоедал, недопивал.
Отбывая срок в реальности,
каждый вечер совершал побег,
каждый вечер засыпал в Париже.
В тех немногих случаях, когда
я заглядывал в газеты,
Харьков мне казался удивительно
параллельным милому Парижу:
город — городу,
голод — голоду,
пафос — пафосу,
а тридцать третий год
моего двадцатого столетья —
девяносто третьему
моего столетья восемнадцатого.
Сверив призрачность реальности
с реализмом призраков истории,
торопливо выхлебавши хлебово,
содрогаюсь: что там с Робеспьером? —
Я хватал родимый том. Стремглав
падал на диван и окунался
в Сёну.
И сквозь волны
видел парня,
яростно листавшего Плутарха,
чтоб найти у римлян ту Республику,
ту же самую республику,
в точности такую же республику,
как в неведомом,
невиданном, неслыханном,
как в невообразимом Харькове.

МОЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Девяносто четвертая полная средняя!
Чем же полная?
Тысячью учеников.
Чем же средняя, если такие прозрения
в ней таились, быть может, для долгих веков!

Мы — ребята рабочей окраины Харькова,
дети наших отцов,
слесарей, продавцов,
дети наших усталых и хмурых отцов,
в этой школе учились
и множество всякого
услышали, познали, увидели в ней.
На уроках,
а также и на переменах
рассуждали о сдвигах и о переменах
и решали,
что совестливей и верней.

Долгий голод — в начале тридцатых годов,
грозы, те, что позднее над страной разразились,
стойкости
перед лицом голодов
обучили,
в сознании отразились.

Позабыта вся алгебра — вся до нуля,
геометрия — вся, до угла — позабыта,
но политика нас проняла, доняла,
совесть —
в сердце стальными гвоздями забита.

* * *

Плановость пламени,
пламенность плана.
Как это было
гордо и славно.

Планы планировали прирост
по металлу, по углю, по грече
и человека в полный рост,
разогнувшего плечи.

Планы планировали высоту
домны и небоскреба,

но и душевную высоту,
тоже скребущую небо.

План взлетал, как аэроплан.
Мы — вслед за ним взлетали.
Сколько в этом было тепла —
в цифрах угля и стали!

СТАРУХА В ОКНЕ

Тик сотрясал старуху,
Слева направо бивший,
И довершал разруху
Всей этой дамы бывшей:
Шептала и моргала,
И головой качала,
Как будто отвергала
Все с самого начала,
Как будто отрицала
Весь мир из двух окошек,
Как будто отрезала
Себя от нас, прохожих.
А пальцы растирали,
Перебирали четки,
А сына расстреляли
Давно у этой тетки.
Давным-давно. За дело.
За то, что был он белым.
И видимо — пронзило,
Наверно — не просила,
Конечно — не очнулась
С минуты той кровавой.
И голова качнулась,
Пошла слева направо,
Потом справа налево,
Потом опять направо,
Потом опять налево.
А сын — белее снега
Старухе той казался,
А мир — краснее крови
Ее почти касался.
Он за окошком — рядом —
Сурово делал дело.
Невыразимым взглядом
Она в окно глядела.

СТАРЫЕ ОФИЦЕРЫ

Старых офицеров застал еще молодыми,
как застал молодыми старых большевиков,
и в ночных разговорах в тонком табачном дыме
слушал хмурые речи, полные обиняков.

Век, досрочную старость выделив тридцатилетним
брал еще молодого, делал его последним
в роде, в семье, в профессии,
в классе, в городе летнем.
Век обобщал поспешно,
часто верил сплетням.

Старые офицеры,
выправленные казармой,
прямо из старой армии
к нови белых армий
отшагнувшие лихо,
сделавшие шаг,
ваши хмурые речи до сих пор в ушах.

Точные счетоводы,
честные адвокаты,
слабые живописцы,
мажущие плакаты,
но с обязательной тенью
гибели на лице
и с постоянной памятью о скоростном конце!

Плохо быть разбитым,
а в гражданских войнах
не бывает довольных,
не бывает спокойных,
не бывает ушедших
в личную жизнь свою,
скажем, в любимое дело
или в родную семью.

Старые офицеры
старые сапоги
осторожно донашивали,
но доносить не успели,
слушали ночами, как приближались шаги,
и зубами скрипели,
и терпели, терпели.

Как говорили на Конном базаре?
Что за язык я узнал под возами?

Ведали о нормативных оковах
Бойкие речи торговок толковых?

Много ли знало о стилях сугубых
Веское слово скупых перекупок?

Что
 спекулянты, милиционеры
Мне втолковали, тогда пионеру?

Как изъяснялись фининспектора,
Миру поведать приспела пора.

Русский язык (а базар был уверен,
Что он московскому говору верен,
От Украины себя отрезал
И принадлежность к хохлам отрицал),
Русский базара был странный язык.
Я до сих пор от него не отвык.

Все, что там елось, пилось, одевалось,
По-украински всегда называлось.
Все, что касалось культуры, науки,
Всякие фигли, и мигли, и штуки —
Это всегда называлось по-русски
С «г» фрикативным в виде нагрузки.

Ежели что говорилось от сердца —
Хохма жаргонная шла вместо перца.

В ругани вора, ракла, хулигана
Вдруг проступало реченье цыгана.

Брызгал и лил из того же источника,
Вмиг торжествуя над всем языком,
Древний, как слово Данилы Заточника,
Мат,
 именуемый здесь матерком.

Все — интервенты, и оккупанты,
И колонисты, и торгаши —
Вешали здесь свои ленты и банты
И оставляли ключья души.

Что же сердчать? И досадовать нечего!
Здесь я учился и вот я каков.
Громче и резче цеха кузнечного,
Крепче и цепче всех языков
Говор базара.

* * *

Я в первый раз увидел МХАТ
на Выборгской стороне,
и он понравился мне.

Какой-то клуб. Народный дом.
Входной билет достал с трудом.
Мне было шестнадцать лет.

«Дни Турбиных» шли в тот день.
Зил был битком набит:
рабочие наблюдали быт

и нравы недавних господ.
Сидели, дыхание затая,
и с ними вместе я.

Ежели белый офицер
белый гимн запевал —
зил такт ногой отбивал.

Черная кость, красная кровь
сочувствовали белой кости
не с тем, чтоб вечерок провести.

Нет, черная кость и белая кость,
красная и голубая кровь
переживали вновь

общелюдскую суть свою.
Я понял, какие клейма класть
искусство имеет власть.

* * *

Я помню твой жестоковыйный нрав
и среди многих разговоров
один. По Харькову мы шли вдвоем.
Молчали. Каждый о своем.

Ты думал и придумал. И с усмешкой
сказал мне: — Погоди, помешкай,
поэт с такой фамилией, на «цкий»,
как у тебя, немислим.— Словно кий
держа в руке, загнал навеки в лузу
меня. Я верил гению и вкусу.
Да, Пушкин был на «ин», а Блок — на «ок».
На «цкий» я вспомнить никого не мог.

Нет, смог! Я рот раскрыл.— Молчи, «цкий».
— Нет, не смолчу. Фамилия Кульчицкий,
как и моя, кончается на «цкий»!
Я первый раз на друга поднял кий.
Я поднял руку на вождя, на бога,
учителя, который мне так много
дал, объяснял, помогал
и очень редко мною помыкал.

Вождь был как вождь. Бог был такой
как нужно.

Он в плечи голову втянул натужно.
Ту голову ударил бумеранг.
Оборонясь, не пощадил я ран.
— Тебе куда? Сюда? А мне — туда.

Я шел один и думал, что беда
пришла. Но не искал лекарства
от гнева божьего. Республиканства,
свободолюбия сладчайший грех
мне показался слаще качеств всех.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Важнее всего были заводы.
Окраины асфальтировали прежде,
чем центр. Они вели к заводам.
Харьковский Паровозный.
Харьковский Тракторный.
Харьковский Электромеханический.
Велозавод.
«Серп и молот».
На берегу асфальтовых речек
дымили огромные заводы.
Их трубы поддерживали дымы,
а дымы поддерживали небо.
Автомобилей было мало.

Промельк спиц его
на солнце
слился во второе солнце
и, наверно, по небу бродит.
Руки в руль впились, впаялись.
Линия рук и линии машины
соединились в иероглиф,
обозначающий движение.
Где ты, где ты, где ты, где ты,
чемпион поры предвоенной?
Есть же мнение, что чемпионы
неотъемлемо от чемпионатов
уезжают на велосипедах
на те прекрасные склады,
где хранятся в полном порядке
смазанные солидолом годы.

КАКОЙ ПОЛКОВНИК!

Какой полковник! Четыре шпалы!
В любой петлице по две пары!
В любой петлице частокол!
Какой полковник к нам пришел!

А мы построились по росту.
Мы рассчитаемся сейчас.
Его веселье и геройство
легко выравнивает нас.

Его звезда на гимнастике
в меня вперяет острый луч.
Как он прекрасен и могуч!
Ему — души моей восторги.

Мне кажется: уже тогда
мы в нашей полной средней школе,
его

вверяясь
мощной воле,
провидели тебя, беда,
провидели тебя, война,
провидели тебя, победа!

Полковник нам слова привета
промолвил.
Речь была ясна.

Поигрывая мощью плеч,
сияя светом глаз спокойных,
полковник произнес нам речь:
грядущее предрек полковник.

18 ЛЕТ

Было полтора чемодана.
Да, не два, а полтора
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра,
Леденящая, вроде Алдана.
И еще — словарный запас,
Тот, что я на всю жизнь запас.
Да, просторное, как Семиречье,
Крепкое, как его казачье,
Громоносное просторечье,
Общее,
Ничье,
Но мое.

Было полтора костюма:
Пара брюк и два пиджака,
Но улыбка была — неприступна,
Но походка была — легка.

Было полторы баллады
Без особого складу и ладу.
Было мне восемнадцать лет,
И — в Москву бесплацкартный билет
Залегал в сердцевине кармана,
И еще полтора чемодана
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра.

ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ

Сыновья стояли на земле,
но земля стояла на отцах,
на их углях, тлеющих в золе,
на их верных стареньких сердцах.

Унаследовали сыновья,
между прочих
в том числе
и я,

выработанные и семьей и школою
руки хваткие
и ноги скорые,
быструю реакцию на жизнь
и еще слова:
«Даешь! Держись!»

Как держались мы
и как давали,
выдержали как в конце концов,
выдержит сравнение едва ли
кто-нибудь,
кроме отцов,—
тех, кто поднимал нас, отрывая
все, что можно,
от самих себя,
тех, кто понимал нас,
понимая
вместе с нами
и самих себя.

МОЛОДОСТЬ

Хотелось ко всему привыкнуть,
Все претерпеть, все испытать.
Хотелось города воздвигнуть,
Стихами стены исписать.

Казалось, сердце билось чаще,
Словно зажатое рукой.
И зналось: есть на свете счастье,
Не только воля и покой.

И медленным казался Пушкин
И все на свете — ничем.
А спутник —
он уже запущен.

Где?
В личном космосе,
моем.

СВЕТИТЕ, ЗВЕЗДЫ

Светите, звезды, сколько
вы сможете светить.
Устанете — скажите.
Мы — новые зажжем.

У нас на каждой койке
таланты, может быть.
А в целом общежитии
и гения найдем.

Товарищи светила,
нам нужен ваш совет.
Мы только обучаемся,
пока светите вы.

Пока у нас квартиры
и комнаты даже нет,
но ордера на космос
получим из Москвы.

Пока мы только учимся,
мечтаем, стало быть,
о нашей грозной участи:
звездой горящей быть.

ЖЕЛАНЬЕ ПОЕСТЬ

Хотелось есть.
И в детстве,
и в отрочестве.
В юности тоже хотелось есть.
Не отвлекали помыслы творческие
и не мешали лести и мести
аппетиту.
Хотелось мяса.
Жареного, до боли аж!
Кроме мяса,
имелась масса
разных гастрономических жажд.

Хотелось выпить и закусить,
повторить, не стесняясь счетом,
а потом наивно спросить:
— Может быть, что-нибудь есть еще там?

Наголодавшись за долгие годы,
хотелось попросить судьбу
о дарованьи единственной льготы:
жрать!
Чтоб дыханье сперло в зобу.

А я гордился честным их усердием,
И сам я был
внимателен, как мог.
И радостно,
с открытым настежь сердцем,
Шагал из института на урок.

ЗВУКОВОЕ КИНО

Когда кино заговорило,
Оно актерам рты открыло.
Устав от долгой немоты,
Они не закрывали рты.
То,
уши зрителей калеча,
Они произносили речи.
То,
проявляя бурный нрав,
Орали реплики из драм.
Зачем же вы на нас орете
И нарушаете покой?
Ведь мы оглохли на работе
От окриков и от пинков.

Нет голоса у черной тени,
Что мечется меж простыней.
Животных ниже
и растений
Бесплотная толпа теней.
Замрите, образы,
молчите,
Создашь наших ловких рук,
Молчанье навсегда включите,
Навски выключите звук.

ТИТАН. 1937—1941

Я лично обязан титану
и славить не перестану,
и умалять не стану
титан — кипляковый куб.
Он был к нам добр и не груб.
И наш студенческий клуб,

зимой близ него собиравшийся
и кипятком надиравшийся,
и разуму набиравшийся,
и разуму и уму,
глядел в оконную тьму
и думал: быть по сему.

Он думал: кипи, кипяток,
а выпьешь стаканов пяток,
теплее станет чуток.

А в общежитейской горнице
мороз за тобою гонится,
как вражеская конница.

Семь градусов, даже шесть!
Под одеяло залезть —
и то трудновато снесть.

А здесь заварку несешь,
конфету-батон сосешь,
какую-то чушь несешь

или один сидишь,
в оконную тьму глядишь,
или конспект зубришь.

Титан, твою титаническую
заботу забыть не смогу,
любовь к тебе платоническую
на донце души берегу.

КАК СДЕЛАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ

С детства, в школе
меня учили,
как сделать революцию.
История,
обществоведение,
почти что вся литература
в их школьном изложении
не занимались в сущности ничем другим.
Начатки конспирации,
постановка печати за границей,

ее транспортировка через границу,
постройка баррикад,
создание ячеек
в казармах —
все это спрашивали на экзаменах.
Не знавший,
что надо первым делом
захватывать вокзал,
и телефон, и телеграф,
не мог окончить средней школы!
Однако
на проходивших параллельных
уроках по труду
столяр Степан Петрович
низвел процент теории
до фраз:
это — рубанок.
Это — фуганок.
А это (пренебрежительно) — шерхебок.
А дальше шло:
Вот вам доска!
Берите в руки
рубанок и — конец теории!
Когда касалось дело революции,
конца теории
и перехода к практике —
не оказалось.
Теория,
изученная в школе
и повторенная
на новом, более высоком уровне
в университете,
прочитанная по статьям и книгам
крупнейших мастеров
революционной теории и практики,
ни разу не была проверена на деле.
Вообразите
народ,
в котором четверть миллиарда
прошедших краткий курс
(а многие — и полный курс)
теории,
которую никто из них
ни разу в жизни
не пробовал на деле!

НОЖИ

Пластающий, полосующий
уже суетился нож.
Вопрос, всех интересующий,
решить

он был очень гожд.

Решения сразу найдутся,
пройдутся легко рубежи,
когда ножи сойдутся,
когда разойдутся ножи.

Уже надоело мерить
всем по семь раз
и всё хотелось отрезать
хотя бы один раз.

Раз! Но чтоб по живому
и чтобы — твердой рукой.
К решению ножевому
склонялся род людской.

И вспомнили: даже в библии
среди прочих иных идей
и резали, и били, и
уничтожали людей.

И без большого усилия
учености столпы
нарекли насилие
повитухой судьбы.

Как только обоснование,
формулировку нашли —
вырезали до основания,
дотла сожгли.

ЛОПАТЫ

На рассвете с утра пораньше
По сигналу пустеют нары.
Потолкавшись возле парашаи,
На работу идут коммунары.

Основатели этой державы,
Революции слава и совесть —
На работу!

С лопатой ржавой.
Ничего! Им лопата не новость.

Землекопами некогда были.
А потом — комиссарами стали.
А потом их сюда посадили
И лопаты корявые дали.

Преобразовавшие землю
Снова
Тычут
Лопатой
В планету
И довольны, что вылезла зелень,
Знаменуя полярное лето.

НАЗВАНИЯ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ

Все парки культуры и отдыха
были имени Горького,
хотя он был известен
не тем, что плясал и пел,
а тем, что видел в жизни
немало плохого и горького
и вместе со всем народом
боролся или терпел.

А все каналы имени
были товарища Сталина,
и в этом смысле лучшего
названия не сыскать,
поскольку именно Сталиным
задача была поставлена,
чтоб всю нашу старую землю
каналами перекопать.

Фамилии прочих гениев
встречались тоже, но редко.
Метро — Кагановича именем
было наречено.
То пушкинская, то чеховская,
то даже толстовская метка,
то школу, то улицу метили,
то площадь, а то — кино.

А переименование —
падение знаменовало.

Недостоверное имя
школа носить не могла.
С грохотом, равным грохоту
горного, что ли, обвала,
обрушивалась табличка
с уличного угла.

Имя падало с грохотом
и забывалось не скоро,
хотя позабыть немедля
обязывал нас закон.
Оно звучало в памяти,
как эхо давнего спора,
и кто его знает, кончен
или не кончен он?

РУКА

Студенты жили в комнате, похожей
На блин,
но именуемой «Луной».
А в это время, словно дрожь по коже,
По городу ходил тридцать седьмой.

В кино ходили, лекции записывали
И наслаждались бытом и трудом,
А рядышком имущество описывали
И поздней ночью вламывались в дом.

Я изучал древнейшие истории,
Столетия меча или огня
И наблюдал события, которые
Шли, словно дрожь по коже, вдоль меня.

«Луна» спала. Все девять черных коек,
Стоявших по окружности стены.
Все девять коек, у одной из коих
Дела и миги были сочтены.

И вот вошел Доценко — комендант,
А за Доценко — двое неизвестных.
Вот этих самых — малых честных —
Мы поняли немедля по мордам.

Свет не зажгли. Светили фонарем.
Фонариком ручным, довольно бледным.
Всем девяти светили в лица, бедным.

Я спал на третьей, слева от дверей,
А на четвертой слева — англичанин.
Студент, известный вежливым молчаньем
И — нацией. Не русский, не еврей,
Не белорус. Единственный британец.
Мы были все уверены — за ним.

И вот фонарик совершил свой танец.
И вот мы услышали: «Гражданин».
Но больше мне запомнилась — рука.
На спинку койки ею опирался
Тот, что над англичанином старался.

От мышц натренированных крепка,
Бессовестная, круглая и белая.

Как лунный луч на той руке играл,
Пока по койкам мы лежали, бедные,
И англичанин вещи собирал.

РЕСТОРАН

Высокие потолки ресторана.
Низкие потолки столовой.
Столовая закрывается рано.
В столовой ни шашлыка, ни плова.
В столовой запах старого сала,
Столовая лампочка светит тускло,
А в ресторане с неба свисало
Обыкновенное солнце люстры.

Я столько читал об этом солнце,
Что мне захотелось его увидеть.
Трамвай быстрее лани несется.
Стигицидно вовремя успели выдать.
Что это значит? Это значит:
В десять вечера мною начат
Новый образ жизни — светский.
Вхожу: напряженный, резкий, веский,
Умный, вежливый и смущенный
Не тем, что увижу, а тем, как выгляжу.
Сейчас я на них на всех погляжу.
Сейчас я кровные выну, выложу,
Но — закажу и — поспажу.

Шел декабрь тридцать восьмого.
Русской истории любой знаток
Знает, как это было толково

Сидеть за столом, глядеть в потолок,
Видеть люстру большую, как солнце,
Чувствовать молодость, ум, талант
И наблюдать, как к тебе несется
Не знавший истории официант.

Подумав, рассудив, осторожно я
Заказываю одно пирожное.
Потом — второе. Нарзан и чай.
И поглядываю невзначай,
Презирает иль не презирает
Мое небогатство

официант.

А вдруг — сквозь даль годов прозирает
Ум, успех, известность, талант!

Столик был у окна большого,
Но что мне было видеть в него?
Небо? Небо тридцать восьмого.
Ангелов? Ангелов — ни одного.
Не луну я видел, а луны.
Плыли рядом четыре луны.
Были руки худые — юны.
Шеи слабые обнажены.
Я глядел на слабые плечи,
На поправленный краской рот.
Ноги, доски паркета калеча,
Вырабатывали фокстрот.

Затрещали и смолкли часики.
Не показывали тридцать восьмой.
И забвенье, зовомое счастьем,
Не звало нас больше домой.

Хорошо быть юным, голодным,
Тошим, плоским, как нож, как медаль.
Парусов голубые полотна
Снова мчат в белоснежную даль.
Хорошо быть юным, незванным
На свидания, на пиры.
Крепкий чай запивать нарзаном
Ради жажды и для игры.
Хорошо у окна большого
В полночь, зимнюю полночь сидеть
И на небо тридцать восьмого
Ни единожды не поглядеть.

ИДЕАЛИСТЫ В ТУНДРЕ

Философов высылали
Вагонами, эшелонами,
А после их поселяли
Между лесами зелеными,
А после ими чернили
Тундру — белы снега,
А после их заметала
Тундра, а также — пурга.

Философы — идеалисты:
Туберкулез, пенсне,—
Но как перспективы мглысты,
Не различишь, как во сне.
Томисты, гегельянцы,
Платоники и т. д.,
А рядом — преторианцы
С наганами и тэтэ.

Былая жизнь, как чарка,
Выпитая до дна.
А рядом — вышка, овчарка.
А смерть — у всех одна.
Приготовлением к гибели
Жизнь

кто-то из них назвал.
Эту мысль не выбили
Из них
барак и подвал.

Не выбили — подтвердили:
Познавший был не дурак.
Философы осветили
Густой заполярный мрак.
Они были мыслью тундры.
От голоданыя легки,
Величественные, как туры,
Небритые, как босяки,
Торжественные, как монахи,
Плоские, как блины,
Но триумфальны, как арки
В Париже
до войны.

ПРОЗАИКИ

*Артему Веселому,
Исааку Бабелю,
Ивану Катаеву,
Александру Лебедежке*

Когда русская проза пошла в лагерь —
В землекопы,
А кто половчей — в лекаря,
В дровосеки, а кто потолковей — в актеры,
В парикмахеры
Или в шоферы,—
Вое немедля забыли свое ремесло:
Прозой разве утешись в горе?
Словно утлые щепки,
Вас влекло и несло,
Вас качало поэзии море.

По утрам, до поверки, смирны и тихи,
Вы на нарах слагали стихи.
От бескормиц, как палки, тощи и сухи,
Вы на марше творили стихи.
Из любой чепухи
Вы лепили стихи.

Весь барак, как дурак, бормотал, подбирал
Рифму к рифме и строчку к строке.
То начальство стихом до костей пробирал,
То стремился излиться в тоске.

Ямб рождался из мерного боя лопат,
Словно уголь он в шахтах копался,
Точно так же на фронте из шага солдат
Он рождался и в строфы слагался.

А хорей вам за пайку заказывал вор,
Чтобы песня была потягучей,
Чтобы длинной была, как ночной разговор,
Как Печора и Лена — текучей.

А поэты вам в этом помочь не могли,
Потому что поэты до шахт не дошли.

* * *

Как выглядела королева Лир,
по документам Королёва Лира,

в двадцатые — красавица, кумир,
в конце тридцатых — дребезги кумира?

Как серебрилась эта седина,
как набухали этих ног отеки,
когда явилась среди нас она,
размазав по душе кровоподтеки.

К трагедии приписан акт шестой:
дожитие. Не жизнь, а что-то вроде.
С улыбочкой, жестокой и простой,
она встает при всем честном народе.

У ней дела! У ней внучата есть.
Она за всю Европу отвечала.
Теперь ее величие и честь —
тянуть все то, что начато сначала.

Все дочери погибли. Но внучат
она не даст! Упрямо возражает!
Не славы чад, а просто кухни чад
и прачечной седины окружает.

Предательницы дочери и та,
что от нее тогда не отказалась,
погибли. Не осталось ни черта,
ни черточки единой не осталось.

Пал занавес, и публика ушла.
Не ведая и не подозревая,
что жизнь еще не вовсе отошла,
большая, трудовая, горевая.

Что у внучат экзамены, что им
ботинок надо, счастья надо вдоволь.
Какой пружиной живы эти вдовы!
Какие мы трагедии таим!

РАЗМОЛ КЛАДБИЩА

Главным образом ангелы, но
также Музы и очень давно,
давности девяностолетней,
толстощекий Амур малолетний,
итальянцем изящно изваянный
и теперь в кучу общую сваленный.
Этот мрамор валили с утра.

Завалили поверхность двора —
всю, от номера первой — квартиры
до угла, где смердели сортиры.
Странно выглядит вечность, когда
так ее извывает беда.

Это кладбище лютеранское,
петербургское, ленинградское
вырвали из родимого лона,
нагрузили пол-эшелона,
привезли как-то утром в наш двор,
где оно и лежало с тех пор.

Странно выглядит вечность вообще.
Но когда эта вечность вотще,
если выдрана с корнем, разрушена
и на пыльные лужи обрушена,—
жалко вечности, как старика,
побирающегося из-за куска.

Этот мрамор в ночах голубел,
но не выдержал и заробел,
и его, на заре розовеющего
и старинной поэзией веющего,
матерьял его и ореол
предназначили ныне в размол.

Этих ангелов нежную плоть
жернова будут долго молоть.
Эти важные грустные плиты
будут в мелкую крошку разбиты.
Будет гром, будет рев, будет пыль:
долго мелют забытую быль.

Миновало полвека уже.
На зубах эта пыль, на душе.
Ангела подхватив под крыло,
грузовик волочил тяжело.
Сыпал белым по белому снег.
Заметал — всех.
Заваливал — всех.

ПРИЗНАКИ ВЕЧНОСТИ

Еще лаяли псы и брехали,
еще были злей сатаны,
еще рвали штаны на нахале,
подставляющем им штаны!

Этот лай, этот брех пополуночи
и собачьих цепей перезвон
у меня, современного юноши,
создавали вечности тон.

В громком городе без окраин
бьет в глаза твои вечности свет,
если ты вороньем ограян,
если ты петухом воспет,

если над головою встанет
неожиданная звезда,
если в полночь
цепью грянет
пес,
не прекративший труда.

ЗВЕЗДНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Тишина никогда
не бывает вполне тишиной.
Слышишь звоны? Звезда
громыхает в ночи ледяной.

Зацепилась зубцом
за звезды проходящей обгон.
Вот и дело с концом —
происходит вселенский трезвон.

И набат мировой
объявляет пожар мировой
над моей головой,
от внимания еле живой.

Так и заведенó:
слышать звезд на осях оборот
никому не дано!
Каждый сам это право берет.

Посчастливилось мне —
я услышал совсем молодой
на родной стороне,
как звезда говорит со звездой.

РАССВЕТ В МУЗЕЕ

Я к Третьяковке шел в обход.
Я начал не сюжетом — цветом.
И молодость мне кажется рассветом
в музее.

Солнышко взойдет вот-вот,
и стены по сетчатке полоснут,
холсты заголосят и разъярятся,
и несколько пройдет минут,
которые не повторятся.

Музей моих друзей и мой!
В неделю раз, а может быть, и чаще
я приходил, словно домой,
к твоим кубам. К твоим квадратам.

В счастье.

И если звуки у меня звучат
и если я слога слагать обучен,
то потому, что по твоим зыбучим
пескам прошел,

вдохнул трясины чад.

Как учат алфавиту: «А» и «Б»,
сначала альфу, а потом и бету,
твой красный полыхал в моей судьбе
и твой зеленый обещал победу.

И ежели, как ныне говорят,
дает плоды наш труд упорный —
и потому,

что черный был квадрат
действительно — квадрат,
и вправду — черный.

Я реалист, но я встречал рассвет
в просторных залах этого музея,
в огромные глаза картин глаза,
где смыслы есть, хоть толку, верно, нет.

РАВНОДУШИЕ К ФУТБОЛУ

Расхождение с ровесниками

начиналось еще с футбола,
с той почти всеобщей болезни,

что ко мне не привилась,

поразив всех моих ровесников,
и притом обоего пола,
обошедшись в кучу времени,
удержав свою кроткую власть.

Сэкономлена куча времени и потеряна
куча счастья.

Обнаружив,
что в общежитии никого в час футбола нет,
отказавшись от сладкого бремени,
я обкладывался все чаще
горькой грудой книг
и соленой грудой газет.

И покуда там,
на поле —
ловкость рук,
никакого мошенства, —
позабывши о футболе,
я испытывал блаженства,
не похожие на блаженства,
что испытывал стадион,
непохожие, но не похуже,
а пожалуй, даже погуще.
От чего? От словесного жеста,
от испытанных идиом.

И пока бегучесть,
прыгучесть
восхищала друзей и радовала,
мне моя особая участь
тоже иногда награды давала,
и, приплясывая,
пританцовывая
и гордясь золотым пустяком,
слово в слово тихонько всовывая,
собирал я стих за стихом.

ДАВНЫМ-ДАВНО

Еще все были живы.
Еще все были молоды.
Еще ниже дома были этого города.
Еще чище вода была этой реки.
Еще на ноги были мы странно легки.

Стук в окно в шесть часов,
в пять часов
и в четыре,
да, в четыре часа.
За окном — голоса.
И проходишь в носках в коммунальной
квартире,
в город, в мир выходя
и в четыре часа.

Еще водка дешевой была. Но она
не желанной — скорее, противной казалась.
Еще шедшая в мире большая война
за границу шла,
нас еще не касалась.

Еще все были живы:
и те, кого вскоре
ранят; и те, кого вскоре убьют.
По колено тогда представлялось нам горе,
и мещанским тогда нам казался уют.

Светлый город
без старых и без пожилых.
Легкий голод
от пищи малокалорийной.
Как напорист я был!
Как уверен и лих
в ситуации даже насквозь аварийной!

Ямб звучал —
все четыре победных стопы!
Рифмы кошками под колеса бросались.
И поэзии нашей
шалые столпы
восхитительными
похвалами
бросались.

СОРОКОВОЙ ГОД

Сороковой год.
Пороховой склад.
У Гитлера дела идут на лад.
А наши как дела?
У пограничного столба,

где наш боец и тот — зольдат,—
судьбе глядит в глаза судьба.
С утра до вечера. Глядят!

День начинается с газет.
В них ни словечка — нет,
по все равно читаем между строк,
какая должность легкая — пророк!
И между строк любой судьбу прочтет,
а перспективы — все определяют:
сороковой год.

Пороховой склад.
Играют Вагнера со всех эстрад.
А я ему — не рад.
Из головы другое не идет:
сороковой год —
пороховой склад.

Мы скинулись, собрались по рублю,
все, с кем пишу, кого люблю,
и выпили и мелем чепуху,
но Павел вдруг торжественно встает:
— Давайте-ка напишем по стиху
на смерть друг друга. Год — как склад
пороховой. Произведем обмен баллад
на смерть друг друга. Вдруг нас всех убьет,
когда взорвет
пороховой склад
сороковой год...

* * *

Читали, взглядывая изредка
поверх читаемого, чтобы
сравнить литературу с жизнью.
И так — всю юность.

Жизнь, состоявшая из школы,
семьи и хулиганской улицы,
и хлеба, до того насущного,
что вспомнить тошно —

жизнь не имела отношения
к романам: к радости и радуге,
к экватору, что нас охватывал
в литературе.

Ломоть истории, доставшийся
на нашу долю,— черств и черен.
Зато нам историография
досталась вся.

С ее крестовыми походами,
с ее гвардейскими пехотами
и королевскими охотами —
досталась нам.

Поверх томов, что мы читали,
мы взглядывали, и мы вздрагивали:
сознание остерегалось,
не доверяло бытию.

Мы в жизнь свалились, оступившись
на скользком мраморе поэзии,
мы в жизнь свалились подготовленными
к смешной и невеселой смерти.

21 ИЮНЯ

Тот день в году, когда летает
Над всей Москвой крылатый пух
И, белый словно снег, не тает.

Тот самый длинный день в году,
Тот самый долгий, самый лучший,
Когда плохого я не жду.

Тот самый синий, голубой,
Когда близки и достижимы
Успех, и дружба, и любовь.

Не проходи, продлись, помедли.
Простри неспешные часы.
Дай досмотреть твои красы,

Полюбоваться, насладиться.
Дай мне испить твоей водицы,
Прозрачной, ключевой, живой.

Пусть пух взлетевший — не садится.
Пусть день еще, еще продлится.
Пусть солнце долго не садится.
Пусть не заходит над Москвой.

II. СУДЬБА НАРОДА

* * *

Палатка под Серпуховом. Война.
Самое начало войны.
Крепкий, как надолб, старшина
и мы вокруг старшины.

Уже июльский закат погасал,
почти что весь сгорел.
Мы знаем: он видал Хасан,
Халхин-Гол смотрел.

Спрашиваем, какая она,
война.
Расскажите, товарищ старшина.

Который день эшелона ждем.
Ну что ж — не под дождем.
Палатка — толстокожий брезент.
От кислых яблок во рту оскомины.
И старшина — до белья раздет —
задумчиво крутит в руках соломинку.

— Яка ж вона буде, ця війна,
а хто її зна.
Вот винтовка, вот граната.
Надо, значит, надо воевать.
Лягайте, хлопцы: завтра надо
в пять ноль-ноль вставать.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Первый день войны. Судьба народа
выступает в виде первой сводки.
Личная моя судьба — повестка
очереди ждет в военкомате.

На вокзал идет за ротой рота.
Сокращается продажа водки.
Окончательно, и зло, и веско
громыхают формулы команд.

К вечеру ближайший ход событий
ясен для пророка и старухи,
в комнате своей, в засохшем быте,
судорожно заламывающей руки:
пятеро сынов, а внуков восемь.
Ей, старухе, ясно. Нам — не очень.
Времени для осмысленья просим,
что-то неуверенно пророчим.

Ночь. В Москве учебная тревога,
и старуха призывает бога,
как зовут соседа на бандита:
яростно, немедленно, сердито.
Мы сидим в огромнейшем подвале
елисеевского магазина.
По тревоге нас сюда созвали.
С потолка свисает осетрина.

Пятеро сынов, а внуков восемь
получили в этот день повестки,
и старуха призывает бога,
убеждает бога зло и веско.

Вскоре объявляется: тревога —
ложная, готовности проверка,
и старуха, призывая бога,
возвращается в свою каморку.

Днем в военкомате побывали,
записались в добровольцы скопом.
Что-то кончилось.
У нас — на время.
У старухи — навсегда, навеки.

СОН

Утро брезжит,
а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале
в углу.

Я еще молодой и рыжий,
Мне легко
 на твердом полу.
Еще волосы не поседели
И товарищей милых
 ряды
Не стеснились, не поредели
От победы
 и от беды.

Засыпаю, а это значит:
Засыпает меня, как песок,
Сон, который вчера был начат,
Но остался большой кусок,

Вот я вижу себя в каптерке,
А над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают!

Девятнадцатый год рожденья —
Двадцать два в сорок первом году —
Принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду.

Выхожу, двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный, и последний,
И предсказанный песней бой.

Потому что так пелось с детства,
Потому что некуда деться
И по многим другим «потому».
Я когда-нибудь их пойму.

И товарищ Ленин мне снится:
С пьедестала он сходит в тиши
И, протягивая десницу,
Пожимает мою от души.

ОДИННАДЦАТОЕ ИЮЛЯ

Перематывает обмотку,
размотавшуюся обормотку,
сорок первого года солдат.
Доживет до сорок второго —
там ему сапоги предстоят,

а покудова он сурово
бестолковый поносит снаряд.

По ветру эта брань несется
и уносится через плечо.
Сорок первого года солнце
было, помнится, горячо.
Очень жарко солдату. Душно.
Доживи, солдат, до зимы!
До зимы дожить еще нужно,
нужно, чтобы дожили мы.

Сорок первый годок у века.
У войны — двадцатый денек.
А солдат присел на пенек
и глядит задумчиво в реку.
В двадцать первый день войны
о столетии двадцать первом
стоит думать солдатам?

Должны!

Ну, хотя б для спокойствия нервам.
Очень трудно до завтра дожить,
до конца войны — много легче.
А доживший сможет на плечи
груз истории всей возложить.

Посредине примерно лета,
в двадцать первом военном дне,
восседает солдат на пне,
и как точно помнится мне —
резь в глазах от сильного света.

* * *

Жаркий день, полдень летний.
И встает пред тобой
Старый гимн про последний
Решительный бой.

Этот гимн через год
Заменяли другим,
Но тогда пел народ
Старый гимн, милый гимн.

Немцы поднялись в рост,
Наступают на нас.

Песня слышится — Хорст
Вессель — тянется бас.

Раньше взводов и рот,
И солдат и зольдат
Песни поднялись в рост
И друг друга громят.

От солдат, от бойцов
Отвлекает удар
Песня наших отцов
Про всесветный пожар.

Гимн про братство рабочих
Гремит над землей,
Песню кружек и бочек
Вызывает на бой.

* * *

На спину бросаюсь при бомбежке —
по одежке протягиваю ножки.
Тем не менее мы поглядеть должны
в черные глаза войны.

На спину! А лежа на спине,
видно мне
самолеты, в облаках скрывающиеся,
и как бомба от крыла
спину грузную оторвала,
бомбы ясно вижу отрывающиеся.

И пока не стану горстью праха,
не желаю право потерять
слово гнева, а не слово страха,
говорить и снова повторять.

И покуда на спине лежу,
и покуда глаз не отвожу —
самолетов не слабей, не плоше!

Как на сцену,
как из царской ложи,
отстраняя смерть,
на смерть гляжу.

РККА

Кадровую армию: Егорова,
Тухачевского и Примакова,
отступавшую спокойно, здорово,
наступавшую толково,—
я застал в июле сорок первого,
но на младшем офицерском уровне.
Кто постарше — были срублены
года за три с чем-нибудь до этого.
Кадровую армию, имевшую
гордое именованье: Красная,—
лжа не замарала и напраслина,
с кривдою и клеветою смешанные.
Помню лето первое, военное.
Помню, как спокойные военные
нас — зеленых, глупых, необстрелянных —
обучали воевать и выучили.
Помню их, железных и уверенных.
Помню тех, что всю Россию выручили.
Помню генералов, свежевывшедших
из тюрьмы
и сразу в бой идущих,
переживших Колыму и выживших,
почестей не ждущих —
ждущих смерти или же победы,
смерти для себя, победы для страны.
Помню, как сильны и как умны
были, отложившие обиды
до конца войны,
этой самой РККА сыны.

ТЫЛЫ ПОРАЖЕНИЯ (1941 — фронтовой тыл)

Под нашим зодиаком
запахло аммиаком,
опять запахло хлоркою
в родном краю,
и кислую и горькую
вонь снова узнаю.

У счастья вкус арбуза.
Оно свежей криницы.
Беде краса — обуза.
Нет сил у ней чиниться,
нет сил, чтобы прибраться,

И хмурое, зябкое утро
Тихонько ее освещало.
К ней подъезжали танки,
К ней подходила пехота,
И погружали буханки.
Целые пароходы
Брали с собой, бывало.
Гора же не убывала
И снова высила к небу
Свои пеклеванные ребра.
Без жалости и без гнева.
Спокойно. Разумно. Добро.

Покуда солдата с тыла
Ржаная гора обстала,
В нем кровь еще не остыла,
Рука его не устала.
Не быть стране под врагами,
А быть ей доброй и вольной,
Покуда пшеница с нами,
Покуда хлеба довольно,
Пока, от себя отрывая
Последние меры хлеба,
Бабы пекут караваи
И громоздят их — до неба!

* * *

Последнею усталостью устав,
Предсмертным равнодушием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх — за совесть и за почесть.

ратные

продолжались

труды.

А ответственный за отступление,
главный по отступлению, большой
чин, в том мерном попятном стремленьи
все старался исполнить с душой:
ни неряшливости,
ни лени.

Истерия взрывала колонны.
Слухи вслед за походом ползли,
кто-то падал на хладное лоно
не выдавшей

такое

земли

и катался в грязи и пыли,
нестерпимо и иступленно.

Безответственным напоминая
об ответственности, о суде,
бога или же мать поминая,
шла колонна,
трусов сминая,
близ несчастья,
вдоль по беде.

Вспоминаю и разумею,
что без тех осенних дождей
и угрюмых ротных вождей
не сумел бы
того, что умею,
не дошел бы,
куда дошел,
не нашел бы
то, что нашел.

ПОЛИТРУК

Словно именно я был такая-то мать,
Всех всегда посылали ко мне.
Я обязан был все до конца понимать
В этой сложной и длинной войне.
То я письма писал,
То я души спасал,
То трофеи считал,
То газеты читал.

Я военно-неграмотным был. Я не знал
В октябре сорок первого года,
Что войну я, по правилам, всю проиграл
И стоит поражение у входа.
Я не знал,
И я верил: победа придет.
И хоть шел я назад,
Но кричал я: «Вперед!»

Не умел воевать, но умел я вставать,
Отрывать гимнастерку от глины
И солдат за собой поднимать
Ради Родины и дисциплины.
Хоть ругали меня,
Но бросались за мной.
Это было
Моей персональной войной.

Так от Польши до Волги дорогой огня
Я прошел. И от Волги до Польши.
И я верил, что Сталин похож на меня,
Только лучше, умнее и больше.
Комиссаром тогда меня звали.
Попом
Не тогда меня звали,
А звали потом.

* * *

Без Ленина Красная площадь — пустая
(Кремль и Блаженного я не считаю).
Пустая стояла она всю войну,
пустая, куда ни взгляну.

С Можайского, близкого фронта двукратно
меня отпускали, и я аккуратно
являлся на пару минут к Мавзолею,
стоял перед ним, словно космос, пустым,
упрямее становился и злее
и знал: не забудем,
не простим.

Я думал: меж множества целей войны
мы также и эту поставить должны,
чтоб Ленин вернулся в Москву из изгнания,
чтоб снова я в очередь длинную встал,
неслышно прошептывая признанья
о том, как я счастлив, о том, как устал.

* * *

Мне первый раз сказали: «Не болтай!» —
По полевому телефону.
Сказали: — Слуцкий, прекрати бардак,
Не то ответишь по закону.

А я болтал от радости, открыв
Причину, смысл большого неуспеха,
Болтал открытым текстом.

Было к спеху.

Покуда не услышал взрыв
Начальственного гнева
И замолчал, как тать.
И думал, застывая немо,
О том, что правильно, не следует болтать.

Как хорошо болтать, но нет, не следует.
Не забывай врагов, проныр, пролаз.
А умный не болтает, а беседует
С глазу на глаз. С глазу на глаз.

НЕМКА

Ложка, кружка и одеяло.
Только это в открытке стояло.
— Не хочу. На вокзал не пойду
с одеялом, ложкой и кружкой.
Эти вещи вещают беду
и грозят большой заварушкой.

Наведу им тень на плетень.
Не пойду.— Так сказала в тот день
в октябре сорок первого года
дочь какого-то шваба иль гота,
в просторечии немка; она
подлежала тогда выселению.
Все немецкое население
выселялось. Что делать, война.

Поначалу все же собрав
одеяло, ложку и кружку,
оросив слезами подушку,
все возможности перебрав:
— Не пойду! (с немецким упрямством)
Пусть меня волокут тягачом!
Никуда! Никогда! Нипочем!

Между тем, надежно упрятан
в клубы дыма,

Казанский вокзал
как насос высасывал лишних
из Москвы и окраин ближних,
потому что кто-то сказал,
потому что кто-то велел.
Это все исполнялось прятко.
И у каждого немца белел
желтоватый квадрат открытки.
А в открытке три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

Но, застлав одеялом кровать,
ложку с кружкой упрятав в буфете,
порешила не открывать
никому ни за что на свете
немка, смелая баба была.

Что ж вы думаете? Не открыла,
не ходила, не говорила,
не шумела, свету не жгла,
не храпела, печь не топила.
Люди думали — умерла.

— В этом городе я родилась,
в этом городе я и подохну:
стихну, онемею, оглохну,
не найдет меня местная власть.

Как с подножки, прыгнув с судьбы,
зиму всю перезимовала,
летом собирала грибы,
барахло на толчке продавала
и углы в квартире сдавала.
Между прочим, и мне.

Дабы
в этой были не усумнились,
за портретом мужским хранились
документы. Меж них желтел
той открытки прямоугольник.

Я его в руках повертел:
об угонах и о погонях
ничего. Три слова стояло:
ложка, кружка и одеяло.

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ

За маленькие подвиги даются
медали небольшой величины.

В ушах моих разрывы отдаются.
Глаза мои пургой заметены.

Я кашу съел. Была большая миска.
Я водки выпил. Мало: сотню грамм.
Кругом зима. Шоссе идет до Минска.
Лежу и слушаю вороний гай.

Здесь, в зоне автоматного огня,
когда до немца метров сто осталось,
выкапывает из меня усталость,
выскакивает робость из меня.

Высвобождает фронт от всех забот,
выталкивает маленькие беды.

Лежу в снегу, как маленький завод,
производящий скорую победу.
Теперь сниму и выколочу валенки,
поставлю к печке и часок сосну.
И будет сниться только про войну.

Сегодняшний окончен подвиг маленький.

КАЗАХИ ПОД МОЖАЙСКОМ

С непривычки трудно на фронте,
А казаху трудно вдвойне:
С непривычки ко взводу, к роте,
К танку, к пушке, ко всей войне.

Шли машины, теснились моторы,
А казахи знали просторы,
И стары, и тишь, и степь.
А война полыхала домной,
Грохотала, как цех огромный,
Била, как железная цепь.

Но врожденное чувство чести
Удержало казахов на месте.
В Подмосковье в большую пургу
Не сдавали рубеж врагу.

Постепенно привыкли к стали,
К громышанию и к огню.

Пастухи металлистами стали.
Становились семь раз на дню.

Постепенно привыкли к грохоту
Просоводы и чабаны.
Приросли к океанскому рокоту
Той Великой и Громкой войны.

Механизмы ее освоили
Степные, южные войны,
А достоинство и джигитство
Принесли в снега и леса,
Где тогда громыхала битва,
Огнедышащая полоса.

ДЕКАБРЬ 41-го ГОДА

Памяти М. Кульчицкого

Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули —
Кратчайшим расстоянием была.
Недаром за полгода до начала
Войны

мы написали по стиху
На смерть друг друга.

Это означало,

Что *знали* мы.

И вот — земля в пуху.
Морозы лужи накрепко стеклят,
Трещат, искрятся, как в печи поленья:
Настали дни проверки исполненья,
Проверки исполненья наших клятв.

Не ждите льгот, в спасение не верьте:
Стучит судьба, как молотком бочар.
И Ленин учит нас презренью к смерти,
Как прежде воле к жизни обучал

РАНЕН

Словно хлопнули по плечу
Стопудовой горячей лапой.
Я внезапно наземь лечу,
Неожиданно тихий, слабый.

Убегает стрелковая цепь,
Словно солнце уходит на запад.
Остается сожженная степь,
Я

и крови горячей запах.
Я снимаю с себя наган —
На боку носить не сумею.
И ремень, как большой гайтан,
Одеваю себе на шею!
И — от солнца ползу на восток,
Приминая степные травы.
А за мной ползет кровавый
След.

Дымящийся и густой.
В этот раз, в этот первый раз
Я еще уползу к востоку
От германцев, от высших рас.
Буду пить в лазарете настойку,
Буду сводку читать, буду есть
Суп-бульон, с петрушкой для запаха.
Буду думать про долг, про честь.
Я еще доползу до запада.

РОМАН ТОЛСТОГО

Нас привезли, перевязали,
Суть сводки нам пересказали.
Теперь у нас надолго нету дома.
Дом так же отдален, как мир.
Зато в палате есть четыре тома
Романа толстого «Война и мир».

Роман Толстого в эти времена
Перечитала вся страна.
В госпиталях и в блиндажах военных,
Для всех гражданских и для всех

военных

Он самый главный был роман,
любимый:

В него мы отступали из войны.
Своею стойкостью непобедимой
Он обучал, какими быть должны.

Роман Толстого в эти времена
Страна до дыр глубоких залистала.
Мне кажется, сама собою стала,
Глядясь в него, как в зеркало, она.

Не знаю, что б на то сказал Толстой,
Но добродушье и великодушье
Мы сочетали с формулой простой:
Душить врага до полного удушья.
Любили по Толстому; по нему,
Одoleвая смертную истому,
Докапывались, как и почему.
И воевали тоже по Толстому.
Из четырех томов его

косил

На Гитлера

фельдмаршал престарелый
И, не щадя умения и сил,
Устраивал засады и обстрелы.

С привычкой славной

вылущить зерно

Практического

перечли со вкусом

Роман. Толстого знали мы давно.

Теперь он стал победы

кратким курсом.

ЛЕС ЗА ГОСПИТАЛЕМ

Я был ходячим. Мне было лучше,
чем лежачим. Мне было проще.
Я обходил огромные лужи.
Я уходил в соседнюю рощу.

Больничное здание белело
в проемах промежду белых берез.
Плечо загипсованное болело.
Я его осторожно нес.

Я был ходячим. Осколок мины
моей походки пронесся мимо,
но заливающе горячо
другой осколок ударил в плечо.

Но я об этом не вспоминал.
Я это на послевойны откладывал,
а просто шел и цветы сминал,
и ветки рвал, и потом обгладывал.

От обеда и до обхода
было с лишком четыре часа.

Вел,
и слушали его живые,
и к погибшим
залетал во сны.
Заглушив оркестры духовые,
стал он
главной музыкой
войны.

* * *

У офицеров было много планов,
Но в дымных и холодных блиндажах
Мы говорили не о самом главном,
Мечтали о деталях, мелочах,—
Нет, не о том, за что сгорают танки
И движутся вперед, пока сгорят,
И не о том, о чем молчат в атаке,—
О том, о чем за водкой говорят!

Нам было мило, весело и странно,
Следя коптилки трепетную тень,
Вообразать все люстры ресторана
Московского!

В тот первый мира день
Все были живы. Все здоровы были.
Все было так, как следовало быть,
И даже тот, которого убили,
Пришел сюда,
чтоб с нами водку пить.

Официант нес пиво и жаркое,
И все, что мы в грядущем захотим,
А музыка играла —

что такое? —

О том, как мы в блиндажике сидим,
Как бьет в накат свинцовый дождик частый,
Как рядом ходит орудийный гром,
А мы сидим и говорим о счастье.
О счастье в мелочах. Не в основном.

«В БОРЬБЕ ЗА ЭТО...»

Под эту музыку славно
воевать на войне.
Когда ее заиграют
оркестры полковые,

прекрасные пробелы
являются вдруг в огне
и рвутся в бой офицеры,
сержанты и рядовые.

Весело

 надо делать
грустное дело
 свое.

Под музыку надо делать
свое печальное дело.
Ведь с музыкою — житуха.
Без музыки — не житье.
Без музыки — нету хода,
а с музыкой — нету предела.

Какой капельмейстер усатый
когда ее сочинил?

Во время которой осады
перо он свое очинил
и вывел на нотной бумаге
великие закорючки?
А в них — штыки, и флаги,
и проволоки-колючки!

Ее со слуха учили
чапаевские трубачи,
и не было палаты,
и не было лазарета,
где ветеран новобранцу
не говорил: «Молчи!
Мне кажется, заиграли
где-то
«В борьбе за это...».

ДВЕСТИ МЕТРОВ

Мы бы не доползли бы,
Ползи мы хоть ползимы.
Либо случай, либо —
Просто счастливые мы.

Ровно двести метров
Было того пути,
Длинных, как километры...
Надо было ползти!

Надо — значит, надо!
(Лозунг той войны.)
Сжав в руках гранаты,
Мы ползти должны.

Белые маскхалаты
Тихо берут подъем.
Словно ели, мохнаты,
Оползнями ползем.

Оползнями, пловунами
Плыли мы по снегам.
Что же станется с нами,
Взвод не постигал.

Взвод об этом не думал:
Полз, снег вороша.
И как пену сдунул
Немцев с рубежа.

ВОЛОКУША

Вот и вспомнилась мне волокуша
и девчонки лет двадцати:
ими раненые волокутся,
умирая по пути.

Страшно жалко и просто страшно:
мины воют, пули свистят.
Просто так погибнуть, зряшно,
эти девушки не хотят.

Прежде надо раненых выволочь,
может, их в медсанбате вылечат,
а потом чайку согреть,
а потом — хоть умереть.

Натаскавшись, належавшись,
кипяточку поглотаю,
в сыроватый блиндажик залезши,
младший крепко спит комсостав.

Три сержантки — мала куча —
вспоминаются нынче мне.
Что же снится им?
Волокуша.
Тянут раненых и во сне.

МОРОЗ

Совершенно окоченелый
в полушерстяных галифе,
совершенно обледенелый,
сдуру выскочивший
на январь налегке,
неумелый, ополоумелый,

на полуторке, в кузове,
сутки я пролежал,
и покрыл меня иней.
Я сначала дрожал,
а потом — не дрожал:
ломкий, звонкий и синий.

Двадцать было тогда мне,
пускай с небольшим.
И с тех пор тридцать с лишком
привыкаю к невеселым мыслишкам,
что пришли в эти градусы
в сорок,
пускай с небольшим.

Между прочим, все это
случилось на передовой.
До противника — два километра.
Кое-где полтора километра.
Но от резкого и ледовитого ветра,
от неясности, кто ты, —
замерзший или живой,

даже та, небывалая в мире война
отступила пред тем,
небывалым на свете морозом.
Ну и времечко было!
Эпоха была!
Времена!

Наконец мы доехали.
Ликом курносым
посветило нам солнышко.
Переваливаясь через борт
и вываливаясь из машины,

я был бортом проезжей машины —
сантиметра на четверть —
едва не растерт.

Ну и времечко было!
Эпоха была!
Времена!
Впрочем, было ли что-нибудь
лучше и выше,
чем то правое дело,
справедливое наше,
чем Великая Отечественная война?

Даже в голову нам бы
прийти не могло
предпочесть или выбрать
иное, другое —
не метели крыло,
что по свету мело,
не мороз,
нас давивший
тяжелой рукою.

ГОСПИТАЛЬ

Еще скребут по сердцу «мессера»,
Еще
 вот здесь
 безумствуют стрелки,
Еще в ушах работает «ура»,
Русское «ура-рарара-рарара!» —
На двадцать
 слов
 строки.

Здесь
 ставший клубом
 бывший сельский храм —
Лежим
 под диаграммами труда,
Но прелым богом пахнет по углам —
Попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы лядащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!

Здесь
ад
ревмя
ревет!

На глиняном истоптанном полу
Лежит диавол,
раненный в живот.
Под фресками в нетопленном углу
Лежит подбитый унтер на полу.

Напротив,
на приземистом топчане,
Кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!

(Шепотом — как мертвые кричат.)

Он требует, как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зеленый,

рыжий,
ржавый
унтер прусский

Не помирал меж нас!

Он гладит, гладит, гладит ордена,
Оглаживает,

гладит гимнастерку

И плачет,

плачет,

плачет

горько,

Что эта просьба не соблюдена.

А в двух шагах, в нетопленном углу,
Лежит подбитый унтер на полу.

И санитар его, покорного,

Уносит прочь, в какой-то дальний зал,

Чтоб он

своею смертью черной

Комбата светлой смерти

не смущал.

И снова ниспадает тишина.

ЧЕТВЕРТЫЙ АНЕКДОТ

За три факта, за три анекдота
вынут пулеметчика из дота,
вытащат, рассудят и засудят.
Это было, это есть и будет.

За три анекдота, за три факта
с применением разума и такта,
с применением чувства и закона
уберут его из батальона.

За три анекдота, факта за три
никогда ему не видеть завтра.
Он теперь не сеет и не пашет,
анекдот четвертый не расскажет.

Я когда-то думал все уладить,
целый мир облагородить,
трибуналы навсегда отводить
за три факта человека гробить.

Я теперь мечтаю, как о пире
духа,
чтобы меньше убивали.
Чтобы не за три, а за четыре
анекдота
со свету сживали.

МОЙ КОМБАТ НАЗАРОВ

Мой комбат Назаров, агроном,
Высшее имел образование,
Но обрел свое призвание
В батальоне,
в том, где был он «ком».

Поле, паханная им земля,
Мыслилось теперь как поле боя,
До Берлина шли теперь поля
Битвы. Понимал комбат любое.

Разбирался в долах и горах,
Очень точно применялся к местности,
Но не понимал, что честность
Иногда не исключает страх.

— Труса расстреляю лично я! —
Говорил он пополненью.

Сдерживая горькое волнение,
Слышали также сыновья
Разных наций и племен различных,
Понимая: расстреляет лично.

Мой комбат Назаров разумел,
Что комбатов часто убивают,
Но спокойно говорил: «Бывает».
Ничего не требовал взамен.

Дело правое была война.
Для него же
 прежде всего — дело,
Лучшего не ведал он удела
Для себя в такие времена.

А солдат берег. Солдат любил.
И не гарцевал. Не красовался,
Да и сам без дела не совался
Под обстрел. Толковый был.
И доныне сердце заболит,
Если вспомню.

 Было здорово
В батальоне у Назарова,
В том, где был я замполит.

НАДО, ЗНАЧИТ, НАДО

Стокилометровый переход.
Батальон плывет, как пароход,
через снега талого глубины.
Не успели выдать нам сапог.
В валенках же до костей промок
батальон и до гемоглобина.

Мы вторые сутки на ходу.
День второй через свою беду
хлюпаем и в талый снег ступаем.
Велено одну дыру заткнуть.
Как заткнем — позволят отдохнуть.
Мы вторые сутки наступаем.

Хлюпает однообразный хлюп.
То и дело кто-нибудь как труп
падает в снега и встать не хочет.

И немедля Выставкин над ним,
выдохшимся,
над еще одним
вымотавшимся
яростно хлопочет.

— Встать! (Молчание.) — Вставай!
(Молчок.)
— Ведь застынешь! (И — прикладом в бок.)
— Встань! (Опять прикладом.) Сучье
семя! —

И потом простуженный ответ:

— Силы нет!
— Мочи нет.
— Встань!
— Отстань! —

Нет, встал. Побрел со всеми.

Я все аргументы исчерпал.
Я обезголосел, ночь не спал.
Я б не смог при помощи приклада.
Выставкин, сердитый старшина,
лучше понимает, что война —
это значит: надо, значит, надо.

ВЕДРО МЕРТВЕЦКОЙ ВОДКИ

...Паек и водка.
Водки полагалось
сто грамм на человека.
Итак, паек и водка
выписывались старшине
на списочный состав,
на всех, кто жил и потому нуждался
в пайке и водке
для жизни и для боя.
Всем хотелось съесть
положенный паек
и выпить
положенную водку
до боя,
хотя старшины
распространяли слух,
что при раненьи
в живот
умрет скорее тот, кто съел паек.

Все то, что причиталось мертвецу
и не было востребовано им
при жизни,—
шло старшинам.
Поэтому ночами, после боя,
старшины пили.

По должности, по званию и по
веселому характеру
я мог бы
рассчитывать на приглашение
в землянку, где происходили
старшинские пиры.
Но после боя
очень страшно
слышать то, что говорят старшины,
считая мертвецов и умножая
их цифру на сто,
потому что водки
шло по сто грамм на человека.

...До сих пор
яснее голова
на то ведро
мертвецкой водки,
которую я не распил
в старшинском
блиндажике
зимой сорок второго года.

НЕМЕЦКИЕ ПОТЕРИ

(Рассказ)

Мне не хватало широты души,
Чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
Для вас, бойцы,
Для вас, карандаши,
Вы, спички-палочки (так это называлось),
Я вас жалел, а немцев не жалел,
За них душой несколько не болел.
Я радовался цифрам их потерь:
Нулям,
раздувшимся немецкой кровью.
Работай, смерть!

Не уставай! Потей
Рабочим потом!
Бей их на здоровье!
Круши подряд!

Но как-то в январе,
А может, в феврале, в начале марта
Сорок второго,
 утром на заре,
Под звуки переливчатого мата
Ко мне в блиндаж приводят «языка».

Он все сказал:
Какого он полка,
Фамилию,
Расположение сил,
И то, что Гитлер им выходит боком.
И то, что жинка у него с ребенком,
Сказал,
 хоть я его и не спросил.
Веселый, белобрысый, добродушный,
Голубоглаз, и строен, и высок,
Похожий на плакат про флот воздушный,
Стоял он от меня наискосок.

Солдаты говорят ему: «Спляши!»
И он плясал.
Без лести.
От души.

Солдаты говорят ему: «Сыграй!»
И вынул он гармошку из кармашка
И дунул вальс про голубой Дунай:
Такая у него была замашка.

Его кормили кашей целый день
И целый год бы не жалели каши,
Да только ночью отступили наши —
Такая получилась дребедень.

Мне — что!
Детей у немцев я крестил?
От их потерь ни холодно, ни жарко!
Мне всех — не жалко:
Одного мне жалко:
Того,
 что на гармошке
 вальс крутил.

все они в тучах не пропадут,
даже когда в облаках пропадают,
лопнуть — не лопнут,
не вовсе растают.
Все они
к летчикам мертвым придут.

Летчикам наших воздушных флотов,
испепеленным,
сожженным,
спаленным,
детские шарики вместо цветов.
Там, в небесах, собирается пленум,
форум,
симпозиум
разных цветов.
Разных раскрасок и разных сортов.

Там получают летнабы шары,
и бортрадисты,
и бортмеханики:
все, кто разбился,
все, кто без паники
переселился в иные миры.

Все получают по детскому шару,
с ниткой
оборванною
при нем:
все, кто не вышел тогда из пожара,
все, кто ушел,
полая огнем.

КРОПОТОВО

Кроме крыши рейхстага, брянских лесов,
севастопольской канонады,
есть фронты, не подавшие голосов.
Эти тоже выслушать надо.
Очень многие знают, где оно,
безымянное Бородино:
это — Кропотово, возле Ржева,
от дороги свернуть налево.
Там домов не более двадцати
было.

Сколько осталось — не знаю.
У советской огромной земли — в груди
то село, словно рана сквозная.
Стопроцентно выбыли политруки.
Девяносто пять — командиры.
И село (головешки да угольки)
из рук в руки переходило.
А медали за Кропотово нет? Нет,
за него не давали медали.
Я пишу, а сейчас там, конечно, рассвет
и ржаные желтые дали,
и, наверно, комбайн идет по ржи
или трактор пни корчует,
и свободно проходят все рубежи,
и не знают, не слышат, не чуют.

РЕЙД

У кавкорпуса в дальнем рейде —
ни тылов, ни перспектив.
Режьте их, стригите, брейте —
так приказывает командир.
Вот он рвется, кавалерийский
корпус —
сабель тысячи три.
Все на удали, все на риске,
на безумстве, на «черт побери!».
Вот он режет штаб дивизии
и захватывает провизию.
Вот районный город берет
и опять, по снегам, вперед!
Край передний, им разорванный,
много дней как сомкнулся за ним.
Корпусные особые органы
жгут архивы, пускают дым.
Что-то ухаает, бухает глухо —
добивают выстрелом в ухо
самых лучших, любимых коней:
так верней.
Корпус, в снег утюгом вошедший,
застревает, как пуля в стене.

Он гудит заблудившимся шершнем,
обивающим крылья в окне.

Иссякает боепитание.
Ежедневное вычитание
молча делают писаря.

Корпус, словно прибой, убывает.
Убивают его, добивают,
но недаром, не так, не зазря.

Он уже свое дело сделал.
Песню он уже заслужил.
Красной пулей в теле белом
он дорогу себе проложил.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПАВЛЕ КОГАНЕ

Разрыв-травой, травую повиликой
мы прорастем по горькой, по великой,
по нашей кровью политой земле.
*(Из несохранившегося стихотворения
Павла Когана).*

Павел Коган, это имя
Уложилось в две стопы хоря.
Больше ни во что не уложилось.

Головою выше всех ранжиров
на голову возвышался.
Из литературы, из окопа
вылезала эта голова.

Вылезала и торчала
с гневными вселыми глазами,
с черной, ухарской прической,
с ласковым презрением к друзьям.

Павел Коган взваливал на плечи
на шестнадцать килограммов больше,
чем выдерживал его костяк,
а несвоевременные речи —
гордый, словно Польша —
это почитал он за пустяк.

Вечно преждевременный, навечно
современный и послевременный Павел
не был своевременным, конечно.

Впрочем, это он и в грош не ставил.
Мало он ценил все то, что ценим,
мало уважал, что уважаем.
Почему-то стал он этим ценен
и за это обожаем.

Пиджачок. Рубашка нараспашку.
В лейтенантской форме не припомню...

В октябре, таща свое раненье
на плече (сухой и жесткой коркой),
прибыл я в Москву, а назначение
новое, на фронт,— не приходило.
Где я жил тогда и чем питался,
по каким квартирам я скитался,
это — не припомню.

Ничего не помню, кроме сводок.
Бархатистый голос,
годный для приказов о победах,
сладостно вещал о поражениях.
Государственная глотка
объявляла горе государству.
Помню список сданных нами градов,
княжеских, тысячелетних...

В это время встретились мы с Павлом
и полночи с ним проговорили.
Вспоминали мы былое,
будущее предвкушали
и прощались, зная: расстаемся
не на день-другой,
не на год-другой,
а на век-другой.

Он писал мне с фронта что-то вроде:
«Как лингвист, я попадаю:
полное отсутствие объектов».
Не было объектов, то есть пленных.
Полковому переводчику
(должность Павла)
не было работы.

Вот тогда-то Павел начал лазать
по ночам в немецкие окопы
за объектами допроса.
До сих пор мне неизвестно,
сколько языков он приволок.

До сих пор мне неизвестно,
удалось ему поупражняться
в формулах военного допроса
или же без видимого толка
Павла Когана убило.

В сумрачный и зябкий день декабрьский
из дивизии я был отпущен на день
в городок Сухиничи
и немедля заказал по почте
все меню московских телефонов.

Перезябшая телефонистка
раза три устало сообщила:
«Ваши номера не отвечают»,
а потом какой-то номер
вдруг ответил строчкой из Багрицкого:
«...Когана убило».

КЕЛЬНСКАЯ ЯМА

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим,

безмолвно и дерзновенно.

Мрем с голодухи

в Кельнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.

Раз в день

на площадь

выводят лошадь,

Живую

сталкивают с обрыва.

Пока она свергается в яму,

Пока ее делим на доли

неравно,

Пока по конине молотим зубами,—

О бюргеры Кельна,

да будет вам срамно!

О граждане Кельна, как же так?

Вы, трезвые, честные, где же вы были,

Когда, зеленее, чем медный пятак,

Мы в Кельнской яме

с голоду выли?

Собрав свои последние силы,
Мы выскребли надпись на стенке отвесной,
Короткую надпись над нашей могилой —
Письмо

солдату страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,
Над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за родину в Кельнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партицы шептали: «Ни шагу, ни шагу...»

Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.

О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладони выев,
Кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,
скребем ногтями,
Стоном стонем
в Кельнской яме,
Но все остается — как было, как было! —
Каша с вами, а души с нами.

* * *

Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.

Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.

Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.

Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.

До речки не дойдя Днепра,
он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане жара была в то лето.

НАШИ

Все, кто пали — геройской смертью,
даже тот, кого на бегу
пуля в спину хлестнула плетью,
опрокинулся и ни гугу.
Даже те, кого часовой
застрелил зимней ночью сдуру
и кого бомбежкой сдуло, —
тоже наш, родимый и свой.
Те, кто, не переехав Урал,
не видав ни разу немцев,
в поездах от ангина умирал,
тоже наши — душою и сердцем.
Да, большое хозяйство — война!
Словно вьюга, она порошила,
и твоя ли беда и вина,
как тебя там расположило?
До седьмого пота — в тылу,
до последней кровинки — на фронте,
сквозь войну, как звезды сквозь мглу,
лезут наши цехи и роты.
Продирается наша судьба
в минном поле четырехлетнем
с отступленьем, потом с наступленьем.
Кто же ей полноправный судья?
Только мы, только мы, только мы,
только сами, сами, сами,
а не бог с его небесами,
отделяем свет ото тьмы.
Не историк-ученый,
а воин,
шедший долго из боя в бой,
что Девятого мая доволен
был собой и своею судьбой.

* * *

Я был учеником у Маяковского
Не потому, что краски растирал,
А потому, что среди ржанья конского
Я человеческим голосом орал.
Не потому, что сиживал на парте я,
Копируя манеры, рост и пыл,
А потому, что в сорок третьем в партию
И в сорок первом в армию вступил.

* * *

Мы — посреди войны. Еще до берега,
наверно, год. Быть может, полтора.
Но плохо помогает нам Америка,
всё думают: не время, не пора.

А блиндажи, как дети, взявшись за руки,
усталые от ратного труда,
сквозь заморозки, зарева и заросли
плывут в свое неведомо куда,
плывут в свое невидано, неслыхано,
в незнаемо, в невесть когда, куда.
И плещется в них зябкая вода.
И мир далек, как в облаке — звезда.

А мы — живем. А мы обеда ждем.
И — споры, разговоры, фигли-мигли.
Нам хорошо, что мы не под дождем.
А то, что под огнем, — так мы привыкли.

ВОЕННЫЙ УЮТ

На войну билеты не берут,
на войне романы не читают,
на войне болезни не считают,
но уют возможный создают.

Печка в блиндаже, сковорода,
сто законных грамм,
кусоч колбаски,
анекдоты, байки и побаски.
Горе — не беда!

— Кто нам запретит роскошно жить? —
говорит комвзвода,

вычерпавший воду
из сырого блиндажа.—
Жизнь, по сути дела, хороша!

— Кто мешает нам роскошно жить? —
Он плеснул бензину в печку-бочку,
спичку вытащил из коробочка,
хочет самокрутку раскурить.

Если доживет — после войны
кем он станет?
Что его обяжут и заставят
делать?
А покуда — хоть бы хны.

А пока за целый километр
Западного фронта
держит он немедленный ответ
перед Родиной и командиром роты.

А пока за тридцать человек
спросит, если что, и мир и век
не с кого-нибудь, с комвзвода,
только что повыплеснувшего воду
из сырого блиндажа.

Жизнь, по сути дела, хороша.
Двадцать два ему, из них на фронте — два,
два похожих на два века года,
дорога и далека Москва,
в повзрослевшем только что,
едва,
сердце — полная свобода.

* * *

Тылы стрелкового полка:
три километра от противника,
два километра от противника,
полкилометра от противника.
Но все же ты в тылу пока.

И кажется, не долетают
сюда ни бомба, ни снаряд,
а если даже долетят,
то поклониться не заставят.

* * *

— Хуже всех на фронте пехоте!

— Нет! Страшнее саперам.

В обороне или в походе

Хуже всех им, без спора!

— Верно, правильно! Трудно и склизко

Подползать к осторожной траншее.

Но страшней быть девчонкой-связисткой,

Вот кому на войне

всех страшнее.

Я встречал их немало, девчонок!

Я им волосы гладил,

У хозяйственников ожесточенных

Добывал им отрезы на платье.

Не за это, а так

отчего-то,

Не за это,

а просто

случайно

Мне девчонки шептали без счета

Свои тихие, бедные тайны.

Я слышал их немало секретов,

Что слезами политы,

Мне шептали про то и про это,

Про большие обиды!

Я не выдам вас, будьте спокойны.

Никогда. В самом деле,

Слишком тяжело даются вам войны.

Лучше б дома сидели.

* * *

Он просьбами надоедал.

Он жалобами засыпал

О том, что он недоедал,

О том, что он недосыпал.

Он обижался на жену —

Писать не раскачается.

Еще сильнее — на войну,

Что долго не кончается.

И жил меж нас, считая дни,

Сырой, словно блиндаж, толстяк.

Поди такому объясни,
Что не у тещи он в гостях.
В атаки все же он ходил,
Победу все же — добывал.
В окопах немца находил.
Прикладом фрица — добывал.
Кому какое дело,
Как выиграна война.
Хвалите его смело,
Выписывайте ордена.
Ликуйте, что он уцелел.
Сажайте за почетный стол.
И от сырых полен горел,
Пылал, не угасал костер.

ЦЕЛАЯ НЕДЕЛЯ

Госпиталь дизентерийный
добрым словом помяну.

Дом помещичий, старинный.
Пышно жили в старину.

Простыня! Какое счастье.
Одеяло! Идеал.

В этот госпиталь при части
на неделю я попал.

На неделю — с глаз долой!
С глаз войны и с глаз мороза.

Молодой и удалой,
я — лежу, читаю прозу.

Чистота и теплота.
Нравов, правда, простота.

Но простые эти нравы
в здешнем госпитале — правы.

Позже я в дворцах живал.
Позже я попал в начальство.

Как себя именовал
этот госпиталь при части!

Как смеялся над собой!
Языком молол, Емеля!
Но доволен был судьбой:
все же — целая неделя.

* * *

Все, что положено майору —
медали, раны, ордена,
с лихвою выдала война
и только сапоги не впору.

Мне сорок третий номер жал,
болтался я в сорок четвертом.
И — наступал или бежал —
я числился всегда «потертым».

Но сорок третий год прошел,
сорок четвертый надвигался,
и на портянки — даже шелк
с трофейных складов выдавался.

Мне сочиняли сапоги,
мне строили такие пары,
что линии моей ноги
обволокли воздушной пара.

На них пошел трофейный хром
и, надобно признаться, много,
и я, который вечно хром
казался, шел со всеми в ногу.

Со всеми вместе наступал
и, под собою ног не чуя,
пешком, как на коне, кочуя,
врагу на пятки наступал.

БЕСПЛАТНАЯ СНЕЖНАЯ БАБА

Я заслужил признательность Италии,
Ее народа и ее истории,
Ее литературы с языком.
Я снегу дал. Бесплатно. Целый ком.

Вагон перевозил военнопленных,
Пленных на Дону и на Донце,
Некормленных, непоеных военных,
Мечтающих о скоростном конце.

Гуманность по закону, по конвенции
Не применялась в этой интервенции
Ни с той, ни даже с этой стороны.
Она была не для большой войны.

Нет, применялась. Сволочь и подлец,
Начальник эшелона, гад ползучий,
Давал за пару золотых колец
Ведро воды теплушке невезучей.

А я был в форме, я в погонах был
И сохранил, по-видимому, тот пыл,
Что образован чтением Толстого
И Чехова, и вовсе не остыл,
А я был с фронта и заехал в тыл
И в качестве решения простого
В теплушку — бабу снежную вкатил.

О, римлян взоры черные, тоску
С признательностью пополам мешавшие
И долго засыпать потом мешавшие!

А бабу — разобрали по куску.

ТРИДЦАТКИ

Вся армия Андерса — с семьями,
с женами и с детьми,
сомненьями и опасеньями
гонимая, как плетьюми,
грузилась в Красноводске
на старенькие суда,
и шла эта перевозка,
печальная, как беда.

Лились людские потоки,
стремясь излиться скорей.
Шли избранные потомки
их выборных королей
и шляхтичей, что на сейме
на компромиссы не шли,
а также бедные семьи,
несчастные семьи шли.

Желая вовеки больше
не видеть нашей земли,
прекрасные жены Польши
с детьми прелестными шли.
Пленительные полячки!

В совсем недавние дни
как поварихи и прачки
использовались они.

Скорее, скорее, скорее!
Как пену несла река
еврея-брадобрея,
буржуя и кулака,
а все гудки с пароходов
не прекращали гул,
чтоб каждый из пешеходов
скорее к мосткам шагнул.

Поевши холодной каши,
болея тихонько душой,
молча смотрели наши
на этот исход чужой,
и было жалко поляков,
детей особенно жаль,
но жребий неодинаков,
невысказана печаль.

Мне видится и сегодня
то, что я видел вчера:
вот восходят на сходни
худые офицера,
выхватывают из кармана
тридцатки и тут же рвут,
и розовые
за кормами
тридцатки
плывут, плывут.

О, мне не сказали больше,
сказать бы могли едва
все три раздела Польши,
восстания польских два,
чем

в радужных волнах мазута
тридцаток рваных клочки,
покуда, раздета, разута
и поправляя очки,
и кутаясь во рванину,
и женщин пуская вперед,
шла польская лавина
на английский пароход.

СЕБАСТЬЯН

Сплю в обнимку с пленным эсэсовцем,
мне известным уже три месяца,
Себастьяном Барбье.
На ничейной земле, в проломе
замка старого, на соломе,
в обгорелом лежим тряпье.

До того мы оба устали,
что анкеты наши — детали
незначительные в той большой,
в той инстанции грандиозной,
окончательной и серьезной,
что зовется судьбой и душой.

До того мы устали оба,
от сугроба и до сугроба
целый день пробродив напролет,
до того мы с ним утомились,
что пришли и сразу свалились.
Я прилег. Он рядом прилег.

Верю я его антифашизму
или нет — ни силы, ни жизни
ни на что. Только б спать и спать.
Я проснусь. Я вскочу среди ночи —
Себастьян храпит что есть мочи.
Я заваливаюсь опять.

Я немедленно спать заваливаюсь.
Тотчас в сон глубокий проваливаюсь.
Сон — о Дне Победы, где пьян
от вина и от счастья полного
до полуночи, да, до полночи
он ликует со мной, Себастьян.

МЕТР ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА

Женский рост — метр восемьдесят два!
Многие поклонники, едва
доходя до плеч,
соображали,
что смешно смотреть со стороны,
что ходить за нею — не должны.
Но, сообразивши, продолжали.

КАК УБИВАЛИ МОЮ БАБКУ

Как убивали мою бабушку?
Мою бабушку убивали так:
Утром к зданию горбанка
Подошел танк.
Сто пятьдесят евреев города,
Легкие
 от годовалого голода,
Бледные
 от предсмертной тоски,
Пришли туда, неся узелки.
Юные немцы и полицаи
Бодро теснили старух, стариков
И повели, котелками бряцая,
За город повели,
 далеко.

А бабушка, маленькая, словно атом,
Семидесятилетняя бабушка моя
Крыла немцев,
Ругала матом,
Кричала немцам о том, где я.
Она кричала: — Мой внук на фронте,
Вы только посмейте,
Только троньте!
Слышите,
 наша пальба слышна! —
Бабушка плакала и кричала
И шла.

 Опять начинала сначала
Кричать.
Из каждого окна
Шумели Ивановны и Андреевны,
Плакали Сидоровны и Петровны:
— Держись, Полина Матвеевна!
Кричи на них. Иди ровно! —
Они шумели:

 — Ой, що робить
З отым нимцем, нашим ворогом! —
Поэтому бабушку решили убить,
Пока еще проходили городом.

Пуля взметнула волоса.
Выпала седенькая коса,
И бабушка наземь упала.
Так она и пропала.

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.

«Глория» по-русски значит «Слава»,—
Это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далекó-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотях?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и все. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

СПРАВКИ

Фронт отодвинулся на запад,
и спешно догоняю я,
но в брошенной избенке запах
давно немытого людья.

В избушке, вставшей на пути,
враждебным человеком пахнет.
А что, если гранатой жажнет?
Даю команду: Выходи!

Мне тотчас под ноги летят
противогаз и автомат,
патроны — весь набор безделиц,
не нужный больше никому.
Потом выходит их владелец —
солдат немецкий. Как ему,

должно быть, страшно! Но выходит,
израненный, полуживой,
с руками вверх — над головой,
и взглядом пристальным обводит
меня. Наверно, спал: разут.
И говорит: Гитлер капут.

Несчастен, грязен и небрит,
во всех своих движеньях скован,
как будто в землю был зарыт
надолго и сейчас откопан,
но он бумажки достает
и мне почтительно сует.

Читаю:

«Этот фриц — добрый»,
«Этот немец жил у нас один месяц
и людей не обижал»,
«Дана ефрейтору Мюллеру в том, что он
такой, как все»,
«Дана ефрейтору Мюллеру в том, что он
добрый»,

и снова:

«Дана Мюллеру в том, что он добрый».

Пока все это я читал,
пока товарищ под прицелом
того ефрейтора держал,
он думал и соображал:
довоевал живым и целым,
людей не очень обижал
и до конца войны достал.

А я проглядываю даты,
что под бумажками стоят:
предусмотрительны солдаты

Германии, а сей солдат
года за три и даже больше,
давным-давно, в Восточной Польше
предвидел этот вариант.
Какой пророческий талант!

Покуда в мировом масштабе
считали в генеральном штабе,
покуда Гитлер собирал
дивизии, ефрейтор этот
избрал куда надежней метод:
по избам справки собирал.

Ну что ж, пока его отправлю
в плен. Много там уже таких.
А через тридцать лет отправлю
в ретроспективный этот стих.

НЕМЕЦКИЕ МОРСКИЕ СВИНКИ

Вспоминаю брошюру трофейную: набор пищевых
рационов

для военных зверей и военных людей,
для танкистов, для летчиков, для шпионов,
для собак, для лошадей.

Вспоминаю особо страницы брошюры такие,
где питаются свинки морские,
вдохновенные речи,

что не надо жалеть им ни проса, ни гречи.

Отработали кони и сено свое, и овес:

и тянули, как танки, и глядели орлино.

Бранденбургский битюг свою фуру провез
от Берлина до Волги и от Волги затем до Берлина.

Отработали псы кровяную свою колбасу.

Помню минное поле и взрывы немецких овчарок.

Но я странную радость доселе в сознании несу,
что немецкая свинка морская не сработала

в дьявольских чарах.

Даром жрали фураж только свинки морские одни:

вибрионов холерных питали, рационов для них не

жалели.

Я, наверное, лишь потому продолжаю отсчитывать

дни,

что немецкие свинки морские без научных отдач

околели.

* * *

Пред наших танков трепеща судом,
Навстречу их колоннам подходящим
Горожане города Содом
Единственного праведника ташат.

Не признанный отечеством пророк,
Глас, вопиющий бестолку в пустыне,
Изломанный и вдоль и поперек,—
Глядит на нас глазами пустыми.

В гестапо бьют в челюсть. В живот.
В молодость. В принципы. В совесть.
Низводят чистоту до нечистот.
Вгоняют человеческое в псовость.

С какой закономерностью он выжил!
Как много в нем осталось от него!
Как из него большевика не выжал,
Не выбил лагерь многолетней!

Стихает гул. Смолкают разговоры.
Город ожидают приговоры.

Вот он приподнялся на локтях,
Вот шепчет по-немецки и по-русски:
Ломайте! Перестраивайте! Рушьте!
Здесь нечему стоять! Здесь все не так!

ИЗ ПЛЕНА

По базару тачка ехала,
Двухколесная и грязная.
То ли с плачем, то со смехом ли
Люди всякие и разные
На нее смотрели пристально,
Шеи с любопытством выставя,
А потом крестились истово
Или гневались неистово:

Мальчики мал мала меньше
В тачке той лежат притихшие.
А толкает тачку женщина,
Этих трех мужчин родившая.
По кривой базарной улице
Поступью проходит твердою.
Не стыдится, не сутулится,
А серьезная и гордая.

Мы, фашизма победители,
Десять стран освобождавшие,
Эту бабу не обидели,
Тачку мимо нас толкавшую.
Мы поздравили с победою
Эту женщину суровую
И собрали ей как следует —
Сухарями и целковыми.

ПО РАССКАЗУ Л. ВОЛЫНСКОГО

Генерал Петров смотрел картины,
выиграл войну, потом смотрел.
Все форты, фашины и куртины,
все сраженья позабыв, смотрел.
Это было в Дрездене. В дыму
город был еще. Еще дымился.
Ставили холст за холстом ему.
Потрясался генерал, дивился.
Ни одной не допустив промашки,
называл он имена творцов —
Каналетто за ряды дворцов
и Ван Гога за его ромашки.
Много генерал перевидал,
защищал Одессу, Севастополь,
долго в облаках штабных витал,
по грязи дорожной долго топал.
Может быть, за все четыре года,
может быть, за все его бои
вышла

первая

Петрову льгота,
отпускные получил свои.
Первый раз его ударил хмель,
в жизни в рот не бравшего хмельного.
Он сурово молвит: «Рафаэль.
Да, Мадонна.
Да, поставьте снова».

В ГЕРМАНИИ

Слепые продавцы открыток
Близ кирхи, на углу сидят.
Они торгуют не в убыток:
Прохожий немец кинет взгляд,

«Цветок» или «Котенка» схватит,
Кредиткой мятою заплатит,
Сам сдачи мелочью возьмет,
Кивнет и, честный, прочь идет.

О честность, честность без предела!
О ней, наверное, хотела
Авторитетно прокричать
Пред тем, как в печь ее стащили,
Моя слепая бабка Циля,
Детей четырнадцати мать.

БУХАРЕСТ

Капитан уехал за женой
в тихий городок освобожденный,
в маленький, запущенный, ржаной,
в деревянный, а теперь сожженный.

На прощанье допоздна сидели,
карточки глядели.
Пели. Рассказывали сны.

Раньше месяца на три недели
капитан вернулся — без жены.

Пироги, что повара пекли,—
выбросить велит он поскорее,
и меняет мятые рубли
на хрустящие, как сахар, леи.

Белый свет валит над Бухарестом.
Проститутки мерзнут по подъездам.
Черноватых девушек расспрашивая,
ищет он, шатаясь день-деньской,
русую или хотя бы крашеную,
но глаза чтоб серые, с тоской.

Русая или, скорее, крашеная
понимает: служба будет страшная.
Денег много и дают — вперед.
Вздрагивая, девушка берет.

На спине гостиничной кровати
голый, словно банщик, купидон.

— Раздевайтесь. Глаз не закрывайте,—
говорит понуро капитан.
— Так ложитесь. Руки — так сложите.

Голову на руки положите.
— Русский понимаешь? — Мало очень.
— Очень мало,— вот как говорят.
Черные испуганные очи
из-под черной челки не глядят.
— Мы сейчас обсудим все толково.
Если не поймете — не беда.
Ваше дело — не забыть два слова:
слово «нет» и слово «никогда».
Что я ни спрошу у Вас, в ответ
говорите: «никогда» и «нет».

Белый снег всю ночь валом валит,
только на рассвете затихает.
Слышно, как газеты выкликает
под окном горластый инвалид.
Слишком любопытный половой,
приникая к щелке головой,
снова,
снова,
снова

 слышит ворох
всяких звуков, шарканье и шорох,
возгласы, названия газет
и слова, не разберет которых —
слово «никогда» и слово «нет».

КРЫЛЬЯ

Солдатская гимнастерка зеленовата цветом.
В пехоте она бурее, бурее корки на хлебе.
Но если ее стирают зимою, весною и летом —
После двухсотой стирки она бела как лебедь.

Не белые лебеди плещут
Студеной метелью крыльев —
Девчонки из роты связи
Прогнали из замка графа.
Они размещают вещи.
Они все окна открыли.
Они не потерпят грязи.
Они метут из-под шкафа.

Армейских наших девчонок
В советских школах учили,
Плевать им на графский титул.

Знакомо им это слово.
Они ненавидят графов.
Они презирают графов.
Не уважают графов,
Кроме графа Толстого.

Здесь все завоевано нами.
За все заплачено кровью.
Замки срываются с мясом.
Дубовые дверцы — настезь.
Тяжелые, словно знамя,
Одежды чудного покроя,
Шурша старинным атласом,
Надела Певцова Настя.

Дамы в парадном зале,
Мечите с портретов громы.
Золушки с боем взяли
Ваши дворцы и хоромы.
— Если в корсетах ваших
На вас мы не очень похожи,
Это совсем не важно —
Мы лучше вас и моложе!

— Скидай барахло, девчонки!
— На что мы глаза раскрыли! —
И снова все в белых,
В тонких,
Раз двести стиранных
крыльях.

Замки на петельках шкафа,
Темнеют на стенках графы.
Девчонки лежат на койках,
Шелков им не жаль нисколько.

* * *

Газетные киоски, близ которых
я ждал решения тяжёб и судеб, —
мне каждый по-особенному дорог.
Я узнавал про всех и про себя,
про похороны, встречи и обеды,
про пром-, культур-, сельхозпобеды.
Но новость, ту, что кончилась война,
я услышал совсем не у киоска,
не с заголовка, явленного броско,
а просто я в блиндажике сидел.

И письма шли в глубокий тыл,
где знак вопроса гнулся и кружился,
как часовой, в снегах сомненья стыл,
знак восклицанья клялся и божился.

Покуда же послание летело
на крыльях медленных, тяжелых от войны,
вблизи искали для души и тела.
Все были поголовно влюблены.

Надев захваченные в плен убранства
и натянув трофейные чулки,
вдруг выделились из фронтового братства
все девушки, прозрачны и легки.

Мгновенная, военная любовь
от смерти и до смерти без подробности
приобрела изящества, и дробности,
терзания, и длительность и боль.

За неиспользованием фронт вернул
тела и души молодым и сильным
и перспективы жизни развернул
в лесу зеленом и под небом синим.

А я когда еще увижу дом?
Когда отпустят, демобилизуют?
А ветры юности свирепо дуют,
смирятся с большим трудом.

Мне двадцать пять, и молод я опять:
четыре года зрелости промчались,
и я из взрослости вернулся вспять.
Я снова молод. Я опять в начале.

Я вновь недоучившийся студент
и вновь поэт с одним стихом печатным,
и китель, что на мне еще надет,
сидит каким-то армяком печальным.

Я денег на полгода накопил
и опыт на полвека сэкономил.
Был на пиру. И мед и пиво пил.
Теперь со словом надо выйти новым.

И вот, пока распахивает ритм
всю залежь, что на душевом наделе,
я слышу, как товарищ говорит:
— Вернись домой —
женюсь через неделю.

* * *

Как залпы оббивают небо,
так водка обжигает небо,
а звезды сыплутся из глаз,
как будто падают из тучи,
а гром, гремучий и летучий,
звучит по-матерну меж нас.

Ревет на пианоле полька.
Идет четвертый день попойка.
А почему четвертый день?
За каждый трезвый год военный
мы сутки держим кубок пенный.
Вот почему нам пить не лень.

Мы пьем. А немцы — пусть заплатят.
Пускай устроят и наладят
все, что разбито, спесено.
Пусть взорванное строят снова.
Четвертый день без останова
за их труды мы пьем вино.

Еще мы пьем за жен законных,
что ходят в юбочках суконных
старошинельного сукна.
Их мы оденем и обуем
и мировой пожар раздуем,
чтобы на горе всем буржуям
согрелась у огня жена.

За нашу горькую победу
мы пьем с утра и до обеда
и снова — до рассвета — пьем.
Она ждала нас, как солдатка,
нам горько, но и ей не сладко.
Ну, выпили?
Ну — спать пойдём...

ШКОЛА ВОЙНЫ

Школа многому не выучила —
не лежала к ней душа.
Если бы война не выручила,
не узнал бы ни шиша.

Жизни, смерти, счастья, боли
я не понял бы вполне,
если б не учеба в поле —
не уроки на войне.

Объяснила, вразумила,
словно за руку взяла,
и по самой сути мира,
по разрезу, провела.

Кашей дважды в день кормила,
водкой потчевала и
вразумила, объяснила
все обычаи свои.

Был я юным, стал я мудрым,
был я сер, а стал я сед.
Встал однажды рано утром
и прошел насквозь весь свет.

III. БЫЛЬЕМ НЕ ПОРАСТАЕТ

ВЫБОР

Выбираешь, за кем на край света,
чья верней, справедливей стезя,
не затем, что не знаешь ответа,
а затем, что иначе нельзя.

Выбираешь, не требуя выгод,
не желая удобств или льгот,
словно ищешь единственный выход,
как находишь единственный вход.

Выбираешь, а выбор задолго
сделан, так же и найден ответ —
смутной, темной потребностью долга,
ясной, как ежедневный рассвет.

С той поры, как согрела планету
совесть
и осветила мораль,
никакого выбора нету.
Выбирающий не выбирал.

Он прислушивался и — решался,
долей именовал и судьбой.
Сам собой этот выбор свершался.
Слышишь, как?
Только так.
Сам собой.

ПОСЛЕВОЕННОЕ БЕСПТИЧЬЕ

Оттрепетали те тетерева,
перепелов война испепелила.
Безгласные, немые деревья
в лесах от Сталинграда до Берлина.

В щелях, в окопах выжил человек,
зверье в своих берлогах уцелело,
а птицы все ушли куда-то вверх,
куда-то вправо и куда-то влево.

И лиственные не гласят леса,
и хвойные не рассуждают боры.
Пронзительные птичьи голоса
умолкли.

Смолкли птичьи разговоры.

И этого уже нельзя терпеть.

Бесптичье это хуже казни.

О, если соловей не в силах петь —
ты, сойка, крикни
или, ворон, каркни!

И вдруг какой-то редкостный и робостный,
какой-то радостный,
забытый много лет назад звук:
какой-то «чок»,
какой-то «чок-чок-чок».

КВАДРАТИКИ

В части выписывали «Вечерки»,
зная: вечерние газеты
предоставляют свои страницы
под квадратики о разводах.

К чести этой самой части
все разводки получали
по изысканному посланию
с предложением любви и дружбы.

Было не принято ссылаться
ни на «Вечерки», ни на мужа,
сдуру бросившего адресатку.
Это считалось нетактичным.

Было тактично, было прилично,
было даже совсем отлично
рассуждать об одиночестве
и о сердце, жаждущем дружбы.

Кроме затянувшейся шутки
и соленых мужских разговоров,
сердце вправду жаждало дружбы
и любви и всего такого.

Не выдавая стрижки короткой,
фотографировались в фуражках
и обязательно со значками
и обаятельной улыбкой.

Некоторые знакомые дамы
мне показывали со смехом
твердые квадратики фото
с мягкими надписями на обороте.

Их ответов долго ждали,
ждали и не дождались в части.
Так не любили писать повторно:
не отвечаешь — значит, не любишь.

Впрочем, иные счастливые семьи
образовались по переписке,
и, как семейная святыня,
корреспонденция эта хранится:

в треугольник письма из части
вложен квадратик о разводе
и еще один квадратик —
фотографии твердой, солдатской.

ВОЗВРАЩАЕМ ЛЕНДЛИЗ

Мы выкрасили их, отремонтировали,
Мы попрощались с ними, как могли,
С машинами, что с нами Днепр форсировали,
От Волги и до Эльбы с нами шли.

Пресс бил по виллису. Пресс
мял
сталь.

С какой-то злобой сплющивал,
коверкал.
Не как металл стучит в другой металл —
Как зверь калечит
человека.

Автомобиль для янки — не помеха.
Но виллис — не годится наотрез.
На виллисах в Берлин
с Востока
въехали.

За это их растаптывает пресс.

пусть хоть на миг, но не давал покою
тот крик

и настроенье отравлял.

А мы не обходили, подходили,
роняли мятые рубли в платок.
Потом, стыдясь и мучась, отходили.

— Спасибо, что не обошел, браток.

В то лето засуха сожгла дожди
и в закромах была одна полова,
но инвалидам пригодилось слово:

— Не обойди!

СКАНДАЛ СОРОК ШЕСТОГО ГОДА

— Где же вы были в годы войны?

Что же вы делали в эти годы?

Как вы использовали бронь и льготы,
ах, вы, сукины вы сыны!

В годы войны, когда в деревнях
ни одного мужика не осталось,
как вам елось, пилось, питалось?
Как вы использовали свой верняк?

В годы войны, когда отпусков
фронтовикам не полагалось,
вы входили без пропусков
в женскую жалость, боль и усталость.

В годы войны, а тех годов
было, без небольшого, четыре,
что же вы делали в теплой квартире?
Всех вас передушить готов!

— Наша квартира была холодна.
Правда, мы там никогда не бывали.
Мы по цехам у станков ночевали.
Дорого нам доставалась война.

ТЕРПЕНЬЕ

Сталин взял бокал вина
(может быть, стаканчик коньяка),
поднял тост — и мысль его должна
сохраниться на века:
за терпенье!

Это был не просто тост
(здравицам уже пришел конец).
выпрямившись во весь рост,
великанам воздавал малец
за терпенье.

Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть.

Вытерпели вы меня,— сказал
вождь народу. И благодарил.
Это молча слушал пьяных зал.
Ничего не говорил.
Только прокричал: «Ура!»
Вот каковская была пора.
Страстотерпцы выпили за страсть,
выпили и закусили всласть.

* * *

Чужие люди почему-то часто
Рассказывают про свое: про счастье
И про несчастье. Про фронт и про любовь.
Я так привык все это слышать, слышать!
Я так устал, что я кричу: — Потише! —
При автобиографии любой.

Все это было. Было и прошло.
Так почему ж быльем не порастает?
Так почему ж гудит и не смолкает?
И пишет мной!
Какое ремесло
У човековеда, у поэта,
У следователя, у политрука!
Я — ухо мира! Я — его рука!
Он мне диктует. Ночью до рассвета
Я не пишу — записываю. Я
Не сочиняю — излагаю были,
А опытность досрочная моя
Твердит уныло: это было, было...

Душа людская — это содержимое
Солдатского кармана, где всегда
Одно и то же: письмецо (любимая!),
Тридцатка (деньги!) и труха-руда —
Пыль неопределенного состава.
Табак? Песок? Крошенный рафинад?

Вы, кажется, не верите? Но, право,
Поройтесь же в карманах у солдат!

Не слишком ли досрочно я узнал,
Усвоил эти старческие истины?
Сегодня вновь я вглядываюсь пристально
В карман солдата, где любовь, казна,
Война и голод оставляли крохи,
Где все истерлось в бурый порошок —
И то, чем человеку

хорошо,

И то, чем человеку

плохо.

МАЛЬЧИШКИ

Все спали в доме отдыха,
Весь день — с утра до вечера.
По той простой причине,
Что делать было нечего.
За всю войну впервые,
За детство в первый раз
Им делать было нечего —
Спи
хоть день, хоть час!

Все спали в доме отдыха
Ремесленных училищ.
Все спали и не встали бы,
Хоть что бы ни случилось.
Они войну закончили
Победой над врагом,
Мальчишки из училища,
Фуражки с козырьком.

Мальчишки в форме ношеной,
Шестого срока минимум.
Они из всей истории
Учили подвиг Минина
И отдали отечеству
Не золото-серебро —
Единственное детство,
Все свое добро.
На длинных подоконниках
Цветут цветы бумажные.
По выбеленным комнатам
Проходят сестры важные.

Идут неслышной поступью.
Торжественно молчат:
Смежив глаза суровые,
Здесь,
 рядом,
 дети спят.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ШИК

Все принцессы спят на горошинах,
на горошинах,
без перин.
Но сдается город Берлин.

Из шинелей, отцами сброшенных
или братьями недоношенных,
но — еще ничего — кителей,
перешитых, перекореженных,
чтобы выглядело веселей,
создаются вон из ряду
выдающиеся наряды,
создается особый шик,
получается важная льгота
для девиц сорок пятого года,
для подросших, уже больших.

— Если пятнышко, я замою.
Длинное — обрезать легко,
лишь бы было тепло зимою,
лишь бы летом было легко...

В этот карточный и лимитный
год

 не очень богатых
 нас,
перекрашенный цвет защитный,
защити! Хоть один еще раз.

Вещи, бывшие в употреблении,
полиявшие от войны,
послужите еще раз стремлению
к красоте.

Вы должны, должны
посуществовать, потрудиться
еще раз, последний раз,
чтоб смогли принарядиться
наши девушки

 в первый раз!

* * *

Руины — это западное слово.
Руины — если бьют, не добивая.
Но как сказать: руины Украины?
На ней доска лежала гробовая.

Советские развалины развалены
как следует: разваливали с толком.
Как будто бы в котле каком разваривали.
Как будто сожжены жестоким током.

Да, города моей отчизны били,
как и людей моей отчизны, насмерть,
стирали их до состоянья пыли,
разумно, с расстановочкой, не наспех.

И выросли на превращенных в поле
сраженья

городах и весях

с названьями, знакомыми до боли,
строенья незнакомые, чужие.

Хотя и лучше прежнего — не прежние.
Хотя и краше старого — не старые.
И только имена, как воды вешние,
журчат по картам старые мелодии.

* * *

Война порассыпала города,
поразмягчила их былую твердость,
взорвала древность, преклонила гордость
военная гремучая беда.

В те времена, когда антибиотики
по рублику за единицу шли,
кто мог подумать про сохранность готики.
И готика склонилась до земли.

Осыпались соборы и дворцы,
как осыпались некогда при гуннах,
и Ленинград сожег свои торцы
в огне своих буржук и чугунок.

А Сталинград до остова сгорел,
и с легкой неприязнью я смотрел
на города, которые остались,
спаслись и уцелели. Отмотались.

На города, которые беда
не тронула, на смиренных и спокойных.
Хотя, конечно, кто-нибудь всегда
и что-нибудь уцелевает в войнах.

ХАРЬКОВСКИЙ ИОВ

Ермилов долго писал альфреско.
Исполненный мастерства и блеска,
лучшие харьковские стены
он расписал в двадцатые годы,
но постепенно сошел со сцены
чуть позднее, в тридцатые годы.

Во-первых, украинскую столицу
перевели из Харькова в Киев —
и фрески перестали смотреться:
их забыли, едва покинув.
Далее. Украинский Пикассо —
этим прозвищем он гордился —
в тридцатые годы для показа
чем дальше, тем больше не годился.

Его не мучили, не карали,
но безо всякого визгу и треску
просто завешивали коврами
и даже замазывали фреску.

Потом пришла война. Большая.
Город обстреливали и бомбили.
Взрывы росли, себя возвышая.
Фрески — все до одной — погибли.

Непосредственно, самолично
рассмотрел Ермилов отлично,
как все расписанные стены,
все его фрески до последней
превратились в руины, в тени,
в слухи, воспоминанья, сплетни.

Взрывы напоминали деревья.
Кроны упирались в тучи,
но осыпались все скорее —
были они легки, летучи,
были они высоки, гремучи,
расцветали, чтобы поблекнуть.

Глядя, Ермилов думал: лучше,
лучше бы мне ослепнуть, оглохнуть.

Но не ослеп тогда Ермилов,
и не оглох тогда Ермилов.
Богу, кулачища вскинув,
он угрожал, украинский Иов.

В первую послевоенную зиму
он показывал мне корзину,
где продолжали эскизы блёкнуть,
и позволял руками потрогать,
и бормотал: лучше бы мне ослепнуть —
или шептал: мне бы лучше оглохнуть.

* * *

Черта под чертою. Пропала оседлость:
Шальное богатство, веселая бедность.
Пропало. Откочевало туда,
Где призрачно счастье, фантомна беда.
Селедочка — слава и гордость стола,
Селедочка в Лету давно уплыла.

Он вылетел в трубы освенцимских топок,
Мир скатерти белой в субботу и стопок.
Он — черный. Он — жирный. Он — сладостный
дым.

А я его помню еще молодым.
А я его помню в обновах, шелках,
Шуршащих, хрустящих, шумящих, как буря,
И в будни, когда он сидел в дураках,
Стянув пояса или брови нахмурия.
Селедочка — слава и гордость стола,
Селедочка в Лету давно уплыла.

Планета! Хорошая или плохая,
Не знаю. Ее не хвалю и не хаю.
Я знаю не много. Я знаю одно:
Планета сгорела до пепла давно.
Сгорели мелаamedы в драных пальто.
Их нечто оборотилось в ничто.
Сгорели партийцы, сгорели путейцы,
Пропойцы, паршивцы, десница и шуйца,
Сгорели, утопи в потоках Летейских,
Исчезли, как семьи Мстиславских и Шуйских.
Селедочка — слава и гордость стола,
Селедочка в Лету давно уплыла.

В СОРОК ШЕСТОМ

Крестьяне спали на полу.
Их слышно сквозь ночную мглу
в любой из комнатенок дома.
А дом был — окна на майдан
и всюду постлана солома
для тех крестьянок и крестьян.

Пускали их по три рубля
за ночь. Они не торговались.
Все пригородные поля
в наш ветхий дом переселялись.

Сложивши все мешки в углу,
поставив на сенцо дерюги,
крестьяне спали на полу,
под голову сложивши руки.

Картошку выбрав из земли,
они для нашего квартала
ее побольше привезли,
хотя им тоже не хватало.

Победа полная была.
Берлин — в разрухе и развале.
Недавно демобилизовали
того, кто во главе угла.

Еще шинель не износил,
еще подметки не стоптались,
но начинают братья Даллес
очередную пробу сил.

Не долго пребывать в углу
освободителю Европы!..
Величественны и огромны,
крестьяне спали на полу.

* * *

Туристам показываю показательное:
Полную чашу, пустую тюрьму.
Они проходят, как по касательной,
Почти не притрагиваясь ни к чему.
Я все ожидаю, что иностранцев
Поручат мне: показать, объяснить.
В этом случае — рад стараться.
Вот она, путеводная нить.

Шел октябрь сорок первого года.
На восток увозил пароход
Столько горя и столько народа,
Столько будущих вдов и сирот.

Я не помню, что беженка пела,
Скоро голос солдатки затих.
Да и в этой ли женщине дело?
Дело в женщинах! Только — в других.

Вы, в кого был несчастно влюбленным,
Вы, кого я счастливо любил,
В дни, когда молодым и зеленым
На окраине Харькова жил!

О девчонки из нашей школы!
Я вам шлю свой сердечный привет,
Позабудьте про факт невеселый,
Что вам тридцать и более лет.

Вам еще блистать, красоваться!
Вам еще сердца потрясать!
В оккупациях, в эвакуациях
Не поблекла ваша краса!

Не померкла, нет, не поблекла!
Безвозвратно не отошла,
Под какими дождями ни мокла,
На каком бы ветру ни была!

ФОТОГРАФИИ МОИХ ДРУЗЕЙ

Фотографии стоили денег
и по тем временам — больших.
При тогдашних моих убеждениях,
фотографии — роскошь и шик.

Кто там думал тогда, что сроки,
нам отпущенные, — невелики.
Шли с утра до вечера строки,
надо было сгрести в стихи.

Только для паспортов —
базарным
кустарем
запечатлены,
мы разъехались по казармам,
а потом по фронтам войны.

Лучше я глаза закрою,
и друзья зашумят навзрыд,
и счастливым взглядом героя
каждый

память мою
одарит.

БОЛЕЗНЬ

Досрочная ранняя старость,
похожая на поражение,
а кроме того — на усталость.
А также — на отраженье
лица

в сероватой луже,
в измытой водице ванной:
все звуки становятся глуше,
все краски темнеют и вянут.

Куриные вялые крылья
мотаются за спиною.
Все роли мои — вторые! —
являются передо мною.

Мелькают, а мне — не стыдно.
А мне — все равно, все едино.
И слышно, как волосы стынут
и застывают в седины.

Я выдохся. Я — как город,
открывший врагу ворота.
А был я — юный и гордый
солдат своего народа.

Теперь я лежу на диване.
Теперь я хожу на вдуваньях.
А мне — приказы давали.
Потом — ордена давали.

Все, как ладонью, прикрыто
сплошной головною болью —
разбито мое корыто.
Сиж у него сам с собою.
Так вот она, середина
жизни.

Возраст успеха.
А мне — все равно. Все едино.
А мне — наплевать. Не к спеху.

Забыл, как спускаться с лестниц.
Не открываю ставен.
Как в комнате,
я в болезни
кровать и стол поставил.
И ходят в квартиру нашу
дамы второго разряда,
и я сочиняю кашу
из пшеничного концентрата.
И я не читаю газеты,
а книги — до середины.
Но мне наплевать на это,
мне все равно. Все едино.

* * *

Казенное благожелательство:
выделенная месткомом
женщина для посещения
тех тяжелобольных,
чьи жизненные обстоятельства
не дали быть знакомым
хоть с кем-нибудь.

Госчеловеколюбие:
сложенные в кулек
три апельсина, купленные
на собранное в учреждении —
примерно четыре полтинника.

Все-таки лучше, чем ничего.
Я лежал совсем без всего
на сорок две копейки в сутки
(норма больничного питания),
и не было слаще мечтания,
чтобы хотя бы на три минуты,
чтоб хоть на четыре полтинника
одна женщина
принесла бы
один причитающийся мне кулек.

КАК Я СНОВА НАЧАЛ ПИСАТЬ СТИХИ

Как ручные часы — всегда с тобой,
тихо тикают где-то в мозгу.
Головная боль, боль, боль,
боль, боль — не могу.

Слабая боль головная,
тихая, затухающая,
словно тропа лесная,
прелью благоухающая.
Скромная боль, невидная,
словно дождевка летняя,
словно девица на выданьи,
тридцати — с чем-нибудь — летняя.

Я с ней просыпался,
с ней засыпал,
видел ее во сне,
ее сыпучий песок засыпал
пути-дорожки
мне.

Но вдруг я решил написать стих,
тряхнуть стариной.
И вот головной тик — стих,
что-то случилось со мной.

Помню, как ранило: по плечу
хлопнуло.
Наземь лечу.

А это — как рана наоборот,
как будто зажило вдруг:
падаешь вверх,
отступаешь вперед
в сладостный испуг.

Спасибо же вам, стихи мои,
за то, что, когда пришла беда,
вы были мне вместо семьи,
вместо любви, вместо труда.
Спасибо, что прощали меня,
как бы плохо вас ни писал,
в тот год, когда, выйдя из огня,
я от последствий себя спасал.
Спасибо вам, мои врачи,
за то, что я не замолк, не стих.

Теперь я здоров! Теперь — ворчи,
если в чем совру,
мой стих.

* * *

Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.

Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.

Господствовала прямота,
и вскользь сообщалось людям,
что заняты ваши места
и освобождать их не будем,

а звания ваши, и чин,
и все ордена, и медали,
конечно, за дело вам дали.
Все это касалось мужчин.

Но в мир не допущен мужской,
к обузам его и одежам,
я слабою женской рукой
обласкан был и обнадёжен.

Я вдруг ощущал на себе
то черный, то синий, то серый,
смотревший с надеждой и верой
взор.

И перемену судьбе

пророчествовали и гласили
не опыт мой и не закон,
а взгляд,
и один только он —
то карий, то серый, то синий.

Они поднимали с земли,
они к небесам увлекали,
и выжить они помогли —
то синий, то серый, то карий.

КАК МЕНЯ НЕ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ

Очень долго прения длились:
Два, а может быть, три часа.
Голоса обо мне разделились.
Не сошлись на мне голоса.

Седоусая секретарша,
Лет шестидесяти и старше,
Вышла, ручками развела,
Очень ясно понять дала:

Не понравился, не показался —
В общем, не подошел, не дорос.
Я стоял, как будто касался
Не меня

весь этот вопрос.

Я сказал «спасибо» и вышел.
Даже дверью хлопать не стал.
И на улицу Горького вышел.
И почувствовал, как устал.

Так учителем географии
(Лучше в городе, можно в район)
Я не стал. И в мою биографию
Этот год иначе внесен.

Так не взяли меня на работу.
И я взял ее на себя.
Всю неволю свою, всю охоту
На хорен и ямбы рубя.

На анапесты, амфибрахии,
На свободный и белый стих.
А в учителя географии
Набирают совсем других.

БАЛЛАДА

В сутках было два часа — не более,
но то были правильные два часа!
Навзничь опрокидываемый болью,
он приподнимался и писал.
Рук своих уродливые звезды
сдавливая в комья-кулаки,
карандаш ловя, как ловят воздух,
дело доводил он до строки.

Никогда еще так не писалось,
как тогда, в ту старость и усталость,
в ту болезнь и боль, в ту полусмерть!
Все казалось: две строфы осталось,
чтоб в лицо бессмертью посмотреть.
С тихой и внимательною злобой
глядя в торопливый циферблат,
он, как сталь выдерживает пробу,
выдержал балладу из баллад.
Он загнал на тесную площадку —
в комнатенку с видом на Москву —
двух противников, двух беспощадных,
ненавидящих друг друга двух.
Он истратил всю свою палитру,
чтобы снять подобие преград,
чтоб меж них была одна политика —
этот новый двигатель баллад.
Он к такому темпу их принудил,
что пришлось скрести со всех закут
самые весомые минуты —
в семьдесят и более секунд.
Стих гудел, как самолет на старте,
весь раскачиваемый изнутри.
Он скомандовал героям: «Шпарьте!»
А себе сказал: «Смотри!»
Дело было сделано. Балладу
эти двое доведут до ладу.
Вот они рванулись вперед!
Точка. Можно на подушки рухнуть,
можно свечкой на ветру потухнуть.
А баллада — и сама дойдет!

ЗНАКОМСТВО С НЕЗНАКОМЫМИ ЖЕНЩИНАМИ

Выполнив свой ежедневный урок —
тридцать плюс минус десять строк,
это примерно полубаллада,—
я приходил в состояние лада,
строю и мира с самим собой.
Я был настолько доволен судьбой,
что — к тому времени вечерело —
в центр уезжал приниматься за дело.

Улицы Горького южную часть
мерил ногами я, мчась и мечась.

Улицу Горького после войны
вы, поднатужась, представить должны.
Было там людно, и было там стадно.
Было там чудно бродить неустанно,
всю ее вечером поздним пройти,
женщин разглядывая по пути,
женщин разглядывая и витрины.
Молодость! Ты ведь большие смотрины!

Мой аналитический ум,
пара штиблет и трофейный костюм,
ног молодых беспардонная резвость,
вечер свободный, трофейная дерзость —
много Амур мне одалживал стрел!
Женщинам прямо в глаза я смотрел.
И подходил. Говорил: — Разрешите!
В дружбе нуждаетесь вы и в защите.
Вечер желаете вы провести?
Вы разрешите мне с вами — пойти!

Был я почти что всегда отшиваем.
Взглядом презрительным был обдаваем
и критикуем по части манер.
Был даже выкрик: — Милиционер!

Внешность была у меня выше средней.
Среднего ниже были дела.
Я отшивался без трений и прений.
Вновь пришивался: была не была!

Чем мы, поэты, всегда обладаем,
если и не обладаем ничем?
Хоть не читал я стихи никогда им —
совестно, думал, а также — зачем? —
что-то иное во мне находили
и не всегда от меня отходили.
Некоторые, накуражившись всласть,
годы спустя говорили мне мило:
чем же в тот вечер я увлеклась?
Что же такое в вас все-таки было?

Было ли, не было ли ничего,
кроме отчаянности или напора, —
задним числом не затею я спора
после того, что было всего.

Матери спрашивали дочерей:
— Кто он? Рассказывай поскорей.
Кто он?—Никто.— Где живет он?—Нигде.
— Где он работает? — Тоже нигде.—
Матери всплескивали руками.
Матери думали: быть ей в беде —
и объясняли обиняками,
что это значит: никто и нигде.

Вынес из тех я вечерних блужданий
несколько неподдельных страданий.
Был я у бездны не раз на краю,
уничтожаясь, пылая, сгорая,
да и сейчас я иных узнаю,
где-нибудь встретившись, и — обмираю.

* * *

Своим стильком плетения словес
не очарован я, не околдован.
Зато он гожд, чтобы подать совет,
который будет точным и толковым.

Как к медсестринской гимнастерке брошка,
метафора к моей строке нейдет.
Любитель порезвиться понарошку
особого профиту не найдет.

Но все-таки высказываю кое-что,
чем отличились наши времена.
В моем стихе,
как на больничной койке,
к примеру,
долго корчилась война.

О ней поют, конечно, тенорами,
но и басами хрипылыми поют,
я — слово, а не пропуск в телеграмме,
которую грядущему дают.

* * *

Похожее в прозе на ерунду
В поэзии иногда
Напомнит облачную череду,
Плывущую на города.

Похожее в прозе на анекдот,
Пройдя сквозь хорей и ямб,
Напоминает взорванный дот
В соцветье воронок и ям.

Поэзия, словно разведчик, в тиши
Просачивается сквозь прозу.
Наглядный пример: «Как хороши,
Как свежи были розы».

И проза, смиренная пахота строк,
Сбивается в елочку или лесенку.
И ритм отбивает какой-то срок.
И строфы сползаются в песенку.

И что-то входит, слегка дыша,
И бездыханное оживает:
Не то поэзия, не то душа,
Если душа бывает.

* * *

А я не отвернулся от народа,
С которым вместе
голодал и стыл.

Ругал баланду,
Обсуждал природу,
Хвалил
далекий, словно звезды,
тыл.

Когда
годами делишь котелок
И вытираешь, а не моешь ложку —
Не помнишь про обиды.
Я бы мог.
А вот — не вспомню.
Разве так, немножко.

Не льстить ему,
Не ползать перед ним!
Я — часть его.
Он — больше, а не выше.
Я из него действительно не вышел.
Вошел в него —
И стал ему родным.

БАНЯ

Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск,
как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которыми
Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких
спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Исчеркали
война
и труд.

Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.

Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний
матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край
занес.

Там я, волнуясь и ликуя,
Читал,
забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!» —
У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
За деревянной стеной.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.
Там
с поднятою головой
Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги — горновой.

Там всяческих удобств — немножко
И много всяческой воды.
Там не с довольства, а с картошки
Иным раздуло животы.

Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.

Вы же были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В той бане
 парились иль нет?
Там два рубля любой билет.

* * *

Которые историю творят,
они потом об этом не читают
и подвигом особым не считают,
а просто иногда поговорят.

Которые историю творят,
лишь изредка заглядывают в книги
про времена, про тернии, про сдвиги,
а просто иногда поговорят.

История, как речка через сеть,
прошла сквозь них. А что застряло?
Шрамы.
Свинца немногочисленные граммы.
Рубцы инфарктов и морщинок сечь.

История калится, словно в тигле,
и важно слушает пивной притихший зал:
«Я был. Я видел. (Редко: «Я сказал».)
Мы это совершили. Мы достигли».

* * *

Инвалиду войны спешить нечего.
День да ночь, снова день опять.
Утром вечера ждешь, а вечером —
ждешь, пока захочется спать.

По ночам, притомясь от бессонницы,
вспоминает он действия конницы

и пехоты — царицы полей,
и от этого — веселей.

Он под самое утро окатывается
в сны, в которых нет тишины,
а всё катится да раскатывается
грандиозное эхо войны,

изувечившей, искалечившей,
не разжавшей своих клещей,
как вскочившей тогда на плечи —
до сих пор не соскакивающей.

ФУТБОЛ

Я дважды в жизни посетил футбол
И оба раза ничего не понял:
Все были в красном, белом, голубом,
Все бегали.

А больше я не помню.

Но в третий раз...

Но, впрочем, в третий раз

Я нацепил гремучие медали,

И ордена, и множество прикрас,

Которые почти за дело дали.

Тяжелый китель на плечах влача,

Лицом являя грустную солидность,

Я занял очередь у врача,

Который подтверждает инвалидность.

А вас комиссовали или нет?

А вы в тех поликлиниках бывали,

Когда бюджет,

Как танк на перевале:

Миг — и по скалам загремел бюджет?

Я не хочу затягивать рассказ

Про эту смесь протеза и протеста,

Про кислый дух бракованного теста,

Из коего повылепили нас.

Сидевший рядом тряся и дрожал.

Вся плоть его переливалась часто,

Как будто киселю он подражал,

Как будто разлетался он на части.

В любом движении этой дрожью связан,

Как крестным знаком верующий черт,

Он был разбит, раздавлен и размазан

Войной, не только сплюснут,

но — растерт.

— И так всегда?
Во сне и наяву?
— Да. Прыгаю, а все-таки живу!
(Ухмылка молнией кривой блеснула,
Запрыгала, как дождик, на губе.)
— Во сне получше. Ничего себе.
И на футболе.—
Он привстал со стула,
И перестал дрожать,
И подошел
Ко мне
С лицом, застывшим на мгновенье
И свежим, словно после омовенья.
(По-видимому, вспомнил про футбол.)
— На стадионе я — перестаю! —
С тех пор футбол я про себя таю.
Я берегу его на черный день.
Когда мне плохо станет в самом деле,
Я выберу трибуну,
Чтобы — тень,
Чтоб в холодке болельщики сидели,
И пусть футбол смиряет дрожь мою!

* * *

Ордена теперь никто не носит.
Планки носят только чудаки.
И они, наверно, скоро бросят,
Сберегая пиджаки.
В самом деле, никакая льгота
Этим тихим людям не дана,
Хоть война была четыре года,
Длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было и выдуманно.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война — была.
Четыре года.
Долгая была война.

То, что мужу была Евдокия верна,
никогда ему не изменяла,
точно знала Елена. Какого ж рожна
брань такую она применяла?

Я их помню молоденькими, в двадцать лет,
бус и лент перманент, фигли-мигли.
Денег нет у обеих, мужей тоже нет.
Оба мужа на фронте погибли.

И поэтому Ленка, седая как лунь,
Дуньку, тоже седую, ругает,
и я, тоже седой, говорю Ленке: «Плюнь,
на-ко, выпей — берет, помогает!»

ПАМЯТЬ

Я носил ордена.
После — планки носил.
После — просто следы этих планок носил.
А потом гимнастерку до дыр износил
И надел заурядный пиджак.
А вдова Ковалева все помнит о нем,
И дорожки от слез — это память о нем,
Столько лет не забудет никак!
И не надо ходить. И нельзя не пойти.
Я иду. Покупаю букет по пути.

Ковалева Мария Петровна, вдова,
Говорит мне у входа слова.
Ковалевой Марии Петровне в ответ
Говорю на пороге: — Привет! —
Я сажусь, постаравшись к портрету спиной,
Но бессменно висит надо мной
Муж Марии Петровны,
Мой друг Ковалев,
Не убитый еще, жив-здоров.

В глянцевиный стакан наливается чай.
А потом выпивается чай. Невзначай.
Я сижу за столом,
Я в глаза ей смотрю,
Я пристойно шучу и острою.
Я советы толково и веско даю —
У двух глаз,
У двух бездн на краю.
И, утешив Марию Петровну как мог,
Ухожу за порог.

О. Ф. Берггольц

Все слабели, бабы — не слабели,—
В глад и мор, войну и суховой
Молча колыхали колыбели,
Сберегая наших сыновей.

Бабы были лучше, были чище
И не предали девичьих снов
Ради хлеба, ради этой пищи,
Ради орденов или обнов,—

С женотделов и до ранней старости,
Через все страдания земли
На плечах, согбенных от усталости,
Красные косынки пронесли.

МАТЕРИ С МЛАДЕНЦАМИ

Беременели несмотря
на злые нравы,
на сумасшествие царя,
на страх расправы.

Наверно, понимали: род
продолжить должно.
Наверно, понимали: нить
тянуться все-таки должна.
Христа-младенца лишь затем
изобразил художник,
что в муках родила его
та, плотника жена.

Беременели и несли,
влачили бремя
сквозь все страдания земли
в лихое время
и в неплохие времена
и только спрашивали тихо,
добро ли сверху, или лихо?
Что в мире,
мир или война?

ТЕМП

В общем, некогда было болеть,
выздоровливать же — тем более.
Неустанная, как балет,
утомительная, как пятиборье,
жизнь летела, как под откос,
по путям, ей одной известным,
а зачем и куда — вопрос
представляется неуместным.

Ветер, словно от поездов,
пролетающих без остановки,
дул в течение этих годов
и давал свои установки.

Как единожды налетел,
так с тех пор и не прекращался,
и быстрее всех небесных тел
шар земной на оси вращался.

Слово «темп» было ясно всем,
даже тем, кто слабы и мелки.
И не мерили раз по семь —
сразу резали без примерки.

Задавался темп — из Москвы,
расходился же он кругами,
не прислушивался, если вы
сомневались или ругали.

Потому что вы все равно,
как опилки в магнитном поле,
были в воле его давно,
в беспощадной магнитной воле.

Был аврал работ и торжеств.
Торопыги устроили спешку.
Торопливый ораторский жест
мир поспешно сдвигал, как пешку.

Торопливо оркестр играл,
настроение вызвать силясь.
Это был похоронный аврал:
речи скомканно произносились.

С этих пор на всю жизнь вперед
накопилась во мне и осталась —
ничего ее не берет —
окончательная усталость.

МУЗЫКА НА ЗАТЫЧКУ

Когда, нарушая программу,
Срывая доклад и статью,
Орган выкладает упрямо
Гудящую песню свою,
Когда вместо пошлого крика
Ревет, как хозяин, тромбон
И речь заменяется скрипкой,
Проигранной в магнитофон,
Когда мириад барабанов
Внезапно в эфире звучит
И хор в девятьсот сарафанов
Народные песни рычит,
Спасайся, кто может, бегите,
Не стихнет, не смолкнет пока.
Вы в центре циклона событий,
Оркестром прикрытых слегка.
Мы здешние, мы привычные.
Поймем, разберем,
Что сдвинуты темпы обычные
И новый рубеж берем.

* * *

Ведомому неведом
ведущего азарт:
бредет лениво следом.
Дожди глаза слезят.

В уме вопрос ютится,
живет вопрос жильцом:
чего он суетится?
Торопится куда?

Ведущий обеспечит
обед или ночлег,
и хворого излечит,
и табаку — на всех.

Ведомый лениво
ест, пьет, спит.
Ведущий пашет ниву,
ведомый глушит спирт.

Ведущий отвечает.
Ведомый — ни за что.
Ведущий получает
свой допнаек за то:

коровье масло — 40 грамм
и папиросы — 20 грамм,
консервы в банках — 20 грамм,
все это ежедневно,
а также пулю — 9 грамм —
однажды в жизни.

* * *

Образовался недосып.
По часу, по два собери:
за жизнь выходит года три.
Но скуки не было.

Образовался недоед
из масел, мяс и сахаров.
Сочтешь и сложишь — будь здоров!
Но скуки не было.

Образовался недобор:
покоя нет и воли нет,
и ни бумажек, ни монет.
Но скуки не было.

Газет холодное вранье,
статей напыщенный обман
и то читали, как роман.
Но скуки не было.

Как будто всю ее смели,
как листья в парке в ноябре,
и на безлюдье, на заре,
собрали в кучу и сожгли,
чтоб скуки не было.

* * *

Иллюзия давала стол и кров,
родильный дом и крышку гробовую,

зато взамен брала живую кровь,
не иллюзорную. Живую.

И вот на нарисованной земле
живые зашумели ели,
и мы живого хлеба пайку ели
и руки грели в подлинной золе.

СТРАННОСТИ

Странная была свобода:
делай все, что хочешь,
говори, пиши, печатай
все, что хочешь.
Но хотеть того, что хочешь,
было невозможно.
Надо было жаждать
только то, что надо.

Быт был тоже страшный:
за жилье почти и не платили.
Лучших в мире женщин
покупали по дешевке.
Небольшое, мелкое начальство
сплошь имело личные машины
с личными водителями.
Хоть прислуга
называлась домработницей,
но прислуживала неуклонно.

Лишь котлеты дорого ценились
без гарнира
и особенно с гарниром.
Легче было
победить, чем пообедать.
Победитель гитлеровских полчищ
и рубля не получил на водку,
хоть освободил полмира.

Удивительней всего законы были.
Уголовный кодекс
брали в руки осторожно,
потому что при нажиме
брызгал кровью.
На его страницах смерть встречалась
много чаще, чем в балладах.

Странная была свобода!
Взламывали тюрьмы за границей
и взрывали. Из обломков
строили отечественные тюрьмы.

* * *

С Алексеевского равелина
Голоса доносятся ко мне:
Справедливо иль несправедливо
В нашей стороне?

Нет, они не спрашивают: сыто ли?
И насчет одежды и домов,
И чего по карточкам не выдали —
Карточки им вовсе невдомек.

Черные, как ночь, плащи-накидки,
Блузки, белые, как снег,
Не дают нам льготы или скидки —
Справедливость требуют для всех.

ЗЛЫЕ СОБАКИ

Злые собаки на даче.
Ростом с волка. С быка!
Эту задачу
мы не решили пока.

Злые собаки спокойно
делают дело свое:
перевороты и войны
не проникают в жильё,
где благодушный владелец
многих безделиц,
слушая лай,
кушает чай.

Да, он не пьет, а вкушает
чай.
За стаканом стакан.
И — между делом — внушает
людям, лесам и стогам,
что заработал
этот уют,
что за работу
дачи дают.

Он заслужил, комбинатор,
мастер, мастак и нахал.
Он заработал, а я-то?
Я-то руками махал?
Просто шатался по жизни?
Просто гулял по войне?
Скоро ли в нашей Отчизне
дачу построят и мне?

Что-то не слышу
толков про крышу.
Не торопиться
мне с черепицей.
Исподволь лес не скупаты!
В речке телес не купаты!
Да, мне не выйти на речку,
и не бродить меж лесов,
и не повесить дощечку
с уведомленьем про псов.
Елки зеленые,
грузди соленые —
не про меня.

Дачные псы обозленные,
смело кусайте меня.

СПЕКУЛЯНТ

Барахолка, толкучка,
здоровенная кучка
спекулянтов, людья.
В поисках ботинок здесь и я.
Что там продают? Что покупают?
Что хулят и хают?
Как людье обводит спекулянт,
этот мастер, хам, нахал, талант?
В черном шлеме, проданном танкистом.
Собранный. Не человек — кистень.
Вот он тень наводит на плетень,
вот он выпускает бюллетень
слухов. Вот — сосредоточен, истов,
то сбывает заваль мужикам,
то почти неношенные брюки
покупает, хлопнув по рукам,
применив обман, и лесть, и трюки.

Вот он у киоска у пивного
с кружкой рассуждает снова.

Я его медальное лицо,
профиль, вырезанный на металле,
не забуду.— Ну, чего вы стали?

Или: — Посмотрите бельецо.

Или: — Что суешься, ты, деревня,
пету у тебя таких деньжат!

Или: — Что за сапоги, сержант? —
Точно расставляет ударенья.

Года два тот голос раздавался.

Года два к нему доходы шли.

А потом куда-то задевался:
барахолку извели.

* * *

Скользили лыжи. Летали мальчики.
Повсюду распространялся спорт.
И вот появились мужчины-мальчики.
Особый — вам доложу я — сорт.
Тяжелорукие. Легконогие.
Бутцы — трусы. Майки — очки.
Я многих знал. Меня знали многие —
Играли в шахматы и в дурачки.
Все они были легки на подъем:
Меня чаровала ихняя легкость.
Выпьем? Выпьем! Споем? Споем!
Натиск. Темп. Сноровистость. Ловкость!
Словно дым от чужой папиросы
Отводишь, слегка потрясая рукой,
Они отводили иные вопросы,
Свято храня душевный покой.
Пуда соли я с ними не съел.
Пуд шашлык — пожалуй! Не менее!
Покуда в гордости их рассмотрел
Соленое, словно слеза, унижение.
Оно было потное, как рубаха,
Сброшенная после пробежки длинной,
И складывалось из дисциплины и страха —
Половина на половину.
Унизились и прошли сквозь казармы.
Сквозь курсы прошли. Сквозь чистки прошли.
А прочие сгнули, словно хазары.
Ветры прах давно замели.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

- А на что вы согласны?
- На все.
- А на что вы способны?
- На многое.
- И на то, что ужасно?
- Да.
- То, что подло и злобно?
- Конечно.

От решимости вот такой,
раздирающей смело действительность,
предпочтешь и вялый покой,
и ничтожную нерешительность.

- Как же так на все до конца?
- Это нам проще простого.
- И отца?
- Если надо — отца.
- Сына?
- Да хоть духа святого.

* * *

Проводы правды не требуют труб.
Проводы правды — не праздник, а труд!

Проводы правды оркестров не требуют:
музыка — брезгует, живопись — гребует.

В гроб ли кладут или в стену вколачивают,
бреют, стригут или укорачивают:

молча работают, словно прядут,
тихо шумят, словно варежки вяжут.

Сделают дело, а слова не скажут.
Вымоют руки и тотчас уйдут.

* * *

Догма справедливцев,
жалости в ней — ни шиша.
Каторжников, равелинцев
выветренная душа.
Вымерзшая, отсыревшая.
Вымершая, отгоревшая,
бедная, бездушная,
душная душа.

Кто не знал пощады,
многого не знал.
Комната — гроб дощатый,
книг и бумаг навал.
Теплый супец в кухмистерской
тряпкой отдает,
но отдавало мистикой
все его житие.

Мистикой, схоластикой,
магией черной несло.
Паспортный штамп из пластика —
это его ремесло.
Это его призвание,
это его война —
судьбам давать названия,
людям — имена.

Прочили в аспиранты,
выучили языкам,
все забыл — эсперанто
помнил, излагал.
Мог бы стать ученым,
стал толченым, моченым,
купанным в ста кровях,
в ста водах кипяченным.
А мог бы стать ученым,
таким, что просто «Ах!».

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Полуподвал, в котором проживал,
где каждый проезжавший самосвал
такого нам обвалу набивал,
насовывал нам в уши или в душу!
Но цепь воспоминания нарушу:
ведь я еще на выставках бывал.

Музейно было и полутемно
на выставках тогда, давным-давно,
но это, в общем, все равно:
любая полутемная картина,
как двери в полутемную квартиру,
как в полусвет чужой души окно.

Душа людская! Чудный полумрак,
в котором затаились друг и враг,
мудрец, ученый, рядовой дурак.

Все — люди! Человеки, между прочим.
Я в человековеды себя прочил
и разбирался в темных колерах.

На выставках сороковых годов
часами был простаивать готов
пред покорителями городов,
портретами, написанными маслом
в неярком освещении, неясном,
и перед деятелями всех родов.

Какая тропка в души их вела?
Какая информация была
в тех залах из бетона и стекла,
где я, почти единственный их зритель,
донашивал свой офицерский китель
и думал про себя: ну и дела!

Вот этот! Он не импрессионист,
и даже не экспрессионист,
и уж, конечно, не абстракционист.
Он просто лгун. Он искажитель истин.
Нечист он пред своей мохнатой кистью
и пред натурою своей нечист.

Зачем он врет? И что дает ему,
что к свету он подмешивает тьму?
Зачем, зачем? Зачем и почему?
Зачем хорошее держать в подвале,
а это вешать в самом лучшем зале —
неясно было смыслу моему.

Все это было и давно прошло,
и в залах выставочных светло,
но я порой вздыхаю тяжело
и думаю про тот большой запасник,
куда их сволокли, пустых, неясных,
писавших муторно и тяжело.

НОВАЯ КВАРТИРА

Я в двадцать пятый раз после войны
На новую квартиру перебрался,
Отсюда лязги буферов слышны,
Гудков пристанционных перебранка.

Я жил у зоопарка и слышал
Орлиный клекот, лебедей плесканье.

Я в центре жил. Неоном полыхал
Центр надо мной.

Я слышал полосканье
В огромном горле неба. Это был
Аэродром, аэрогром и грохот.

И каждый шорох, ропот или рокот
Я записал, запомнил, не забыл.

Не выезжая, а переезжая,
Перебираясь на своих двоих,
Я постепенно кое-что постиг,
Коллег по временам опережая.

А сто или сто двадцать человек,
Квартировавших рядышком со мною,
Представили двадцатый век
Какой-то очень важной стороною.

С НАШЕЙ УЛИЦЫ

Не то чтобы попросту шлюха,
Не то чтоб со всеми подряд,
Но все-таки тихо и глухо
Плохое о ней говорят.
Но вот она замуж решает,
Бросает гулять наконец
И в муках ребенка рождает —
Белесого,

точно отец.

Как будто бы

содою с мылом,

Как будто отребья сняла,
Она отряхнула и смыла
Все то, чем была и слыла.
Гордясь красотой жестокой,
Она по бульвару идет,
А рядышком

муж синеокий

Блондина-ребенка несет.

Злорадный, бывалый, прожженный

И хитрый

бульвар

приуныл:

Чтоб снова вот эдак чудесить,
Желания большего нет —
Меняю
на трижды по десять
Все тридцать пережитых лет.

ВЗРОСЛЫЕ

Смотрите! Вот они пирожные едят!
Им стыдно, и смешно, и сладко.
Украдкой приподнимая взгляд,
Они жуют с улыбкой и с оглядкой!

Помногу! По четыре! И по шесть!
А дети думают: зачем им столько?
Наверно, трудно сразу это съесть,
Не отходя от магазинной стойки.

Им — 35. Им — 40. 45.

Им стыдно. Но они придут опять:
От этого им никуда не деться.
За то, что недоели в детстве,
За «не на что!», за «ты ведь не один!»,
За «не проси!», за «это не для бедных!».
Они придут в сладчайший магазин
И будут есть смущенно и победно!

9-го МАЯ

Замполит батальона энского,
Капитан Моторов Гурьян
От бифштекса сыт деревенского,
От вина цымлянского — пьян,
Он сидит с расстегнутым воротом
Над огромным и добрым городом,
Над столицей своей, Москвой:
Добрый, маленький и живой.

Рестораны не растеряли
Довоенной своей красоты.
Все салфетки порасстилали,
Вилки, ложек поманесли.

Хорошо на душе Моторову,
Даже раны его не томят.
Ловко, ладно, удобно, здорово:
Ест салат, заказал томат.

Сколько лет не пробовал сока,
Только с водки бывал он пьян.
Хорошо он сидит, высоко.
Высоко забрался Гурьян.

ХУДОЖНИК

— Мне бы только комнату и зеркало,
хоть бы это государство выдало! —
так его ломало и коверкало,
что мечты другие — все повыбило.

— Комнату!

Хоть не свою — чужую.

Зеркало!

Я б сам себя писал.

Ни единому буржую
ни за что б завидовать не стал.

Это говорил мне живописец,
может, из больших и настоящих,
говорил и словно торопился:
— Может быть, сыграю скоро в ящик.

Вот продам пальто, добуду комнату,
пить не буду, удержусь.
Вы меня услышите и вспомните!
Может быть, на что-нибудь сгожусь!

РЕБЕНОК ДЛЯ ОЧЕРЕДЕЙ

Ребенок для очередей,
которого берут взаймы
у обязательных людей,
живущих там же, где и мы:
один малыш на целый дом!

Он поднимается чуть свет,
но управляется с трудом.

Зато у нас любой сосед,
тот, что за сахаром идет,
и тот, что за крупной стоит,
ребеночка с собой берет
и в очереди говорит:

— Простите, извините нас.
Я рад стоять хоть целый час,

да вот малыш, сыночек мой.
Ребенку хочется домой.

Как будто некий чародей
тебя измазал с детства лжой,
ребенок для очередей —
ты одинаково чужой
для всех, кто говорит: он мой.

Ребенок для очередей
в перелицованном пальто,
ты самый честный из людей!
Ты не ответишь ни за что!

БАЛЛАДА О ТРЕХ НИЩИХ

Двурукый нищий должен быть
Весьма красноречивым:
Ну, скажем, песню сочинить
С неслышанным мотивом,
Ну, скажем, выдумать болезнь
Мудреного названья,
А без болезни хоть не лезь,
Не сыщешь пропитанья.

Совсем не так себя ведет
С одной рукою нищий:
Он говорит, а не поет
Для приисканья пищи —
Мол, это был кровавый бой,
Мол, напирали танки,
Когда простился я с рукой —
Пожертвуйте, гражданки!

Безрукий нищий молчалив —
В зубах зажата шапка.
Башку по-бычьи наклонив,
Идет походкой шаткой:
Мол, кто кладет, клади сюда!
И шапкой вертит ловко.
А мы без всякого труда
Суем туда рублевки.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

По телефону из Москвы в Тагил
Кричала женщина с какой-то чудной силой:

— Не забывай! Ты помнишь, милый, милый!
Не забывай! Ты так меня любил.

А мы — в кабинах, в зале ожидания,
В Москве, в Тагиле и по всей земле —
Безмолвно, как влюбленные во мгле,
Вдыхали эту радость и страданье.

Не забывай ее, не забывай!
Почаще вести подавай!

ОТДЕЛЬНОСТЬ

Плохо жить в проходной, но хуже
проходить через хозяев,
утонувших в финансовой луже,
иногда из нее вылезая
только вследствие вашей квартплаты,
и терпящих ваши проходы.
Плохо видеть чужие заплаты.
Плохо видеть чужие заботы.
И чужие несчастья учат.
Обрывается сердце и вчуже,
когда целые семьи, скучась
на берегах финансовой лужи,
ждут, когда вы пройдете мимо,
отворачиваясь и смолкая,
и напоминают мима —
выразительность вон какая!
Я, снимавший восьмушки дачек,
ощущал до дрожи по коже:
не счастливей квартиросдатчик,
чем квартиросъемщик его же.
Я, снимавший угол квадрата
комнаты в коммунальной квартире,
знал, что комната мне не рада —
все углы ее, все четыре.
Правда, были и чаепитья,
кофепитья, бесед извитья,
поздравленья к Восьмому марта,
домино и лото, и карта.
Компенсировало едва ли
это всё холодные взгляды,
что соседи нам выдавали,
и подтекста: не рады, не рады,
сколько вы бы нам ни платили!

Уважаю душевную цельность.
Изо всех преимуществ квартиры
я особо ценю отдельность.
Надо строить дома. Побольше.
Люди дорого заплатили
и достойны жить по-божески.
Бог живет в отдельной квартире.

НАГЛЯДНАЯ СУДЬБА

Мотается по универмагу
потерянное дитя.
Еще о розыске бумагу
не объявляли.
Миг спустя
объявят,
мать уже диктует
директору набор примет,
а ветер горя дует, дует,
идет решительный момент.
Засматривает тете каждой
в лицо:
не та, не та, не та! —
с отчаянной и горькой жаждой.
О, роковая пустота!
Замотаны платочком ушки,
чернеет родинка у ней:
гремят приметы той девчухи
над этажами все сильней.
Сейчас ее найдут, признают,
за ручку к маме отведут
и зацелуют, заругают.
Сейчас ее найдут, найдут!
Быть может, ей и не придется
столкнуться больше никогда
с судьбой, что на глазах прядется:
нагая, наглая беда.

СТАРУХИ БЕЗ СТАРИКОВ

В. Сякину

Старух было много, стариков было мало:
То, что гнуло старух, стариков ломало.
Старики умирали, хватаясь за сердце,

А старухи, рванув гардеробные дверцы,
Доставали костюм выходной, суконный,
Покупали гроб дорогой, дубовый
И глядели в последний, как лежит законный,
Прижимая лацкан рукой пудовой.
Постепенно образовались квартиры,
А потом из них слепились кварталы,
Где одни старухи молитвы твердили,
Боялись воров, о смерти болтали.
Они болтали о смерти, словно
Она с ними чай пила ежедневно,
Такая же тощая, как Анна Петровна,
Такая же грустная, как Марья Андревна.
Вставали рано, словно матросы,
И долго, темные, словно индусы,
Чесали гребнем редкие косы,
Катали в пальцах старые бусы.
Ложились рано, словно солдаты,
А спать не спали долго-долго,
Катая в мыслях какие-то даты,
Какие-то вехи любви и долга.
И вся их длинная,
Вся горевая,
Вся их радостная,
Вся трудовая —
Вставала в звонах ночного трамвая,
На миг
бессонницы не прерывая.

ЛЮБОВЬ К СТАРИКАМ

Я любил стариков и любви не скрывал.
Я рассказов их длительных не прерывал,
понимая,
что витиеватая фраза —
не для красного, остренького словца,
для того,
чтобы высказать всю, до конца,
жизнь,
чтоб всю ее сформулировать сразу.

Понимавшие все, до конца, старики,
понимая любовь мою к ним,
не скрывали

из столбцов
и из свитков своих
ни строки:
то, что сам я в те годы узнал бы едва ли.

Я вопросом благодарил за ответ,
и катящиеся,
словно камни по склону,
останавливались,
вслушивались благосклонно
и давали совет.

* * *

Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем не сложно,—
только погода бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь оплошно.
Кто они, мои четыре пуда
мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.

Хорошо быть педагогом школьным,
иль сидельцем в книжном магазине,
иль судьей... Каким судьей?

Футбольным:

быть на матчах пристальным разиней.
Если сны приснятся этим судьям,
то они во сне кричать не станут.
Ну, а мы? Мы закричим, мы будем
вспоминать былое неустанно.

Опыт мой особенный и скверный —
как забыть его себя заставить?
Этот стих — ошибочный, неверный.
Я не прав.
Пускай меня поправят.

* * *

У меня было право жизни и смерти.
Я использовал наполовину,
злоупотребляя правом жизни,
не применяя право смерти.
Это моральный образ действий
в эпоху войн и революций.

Не убий, даже немца,
если есть малейшая возможность.
Даже немца, даже фашиста,
если есть малейшая возможность.
Если враг не сдается,
его не уничтожают.
Его пленяют.
Его сажают
в большой и чистый лагерь.
Его заставляют работать
восемь часов в день — не больше.
Его кормят. Его обучают;
врага обучают на друга.
Военнопленные рано или поздно
возвращаются до дому.
Послевоенный период
рано или поздно
становится предвоенным.
Судьба шестой мировой зависит
от того, как обращались
с пленными предшествующей, пятой.
Если кроме права свободы,
печати, совести и собраний
вы получите большее право:
жизни и смерти,—
милуйте чаще, чем карайте.
Злоупотребляйте правом жизни,
пока не атрофируется право смерти.

* * *

Маловато думал я о боге.
Видно, он не надобился мне
Ни в миру, ни на войне,
И ни дома, ни в дороге.
Иногда он молнией сверкал,
Иногда он грохотал прибоем.
Я к нему не призывал.
Нам обоим
Это было не с руки.
Бог мне как-то не давался в руки.
Думалось: пусть старики
И старухи
Молятся ему.
Мне куда ни к чему.

Он же свысока глядел
На плоды усилий всех отчаянных.
Без меня ему хватало дел —
И очередных, и чрезвычайных.
Много дел: прощал, казнил,
Слушал истовый прибой оваций.
Видно, так и разминемся с ним,
Так и не придется стыковаться.

* * *

Я, умевший думать, — не думал.
Я, приученный мыслить, — не смел.
Прирученный, домашний, как турман,
На чужие полеты глядел.
А полеты были только
Сверху вниз, с горы в подвал,
Словно уголь в горящую топку,
В тот подвал людей подавал
Кто-то очень известный, любимый,
Кто-то маленький, рыжий, рябой,
Тридцать лет бывший нашей судьбиной,
Нашей общей и личной судьбой.

* * *

Равнение — как на парадах.
Железная дисциплина.
Полный порядок
От Клина до Сахалина.
Разъятые на квадраты,
А после сбитые в кубы,
Все были довольны, рады
И не разжимали губы.
Пожары — и те не горели,
С рельс не сходили трамваи,
Птицы на юг летели
По графику — не срывая.
Дети ходили в школу
В этом углу мирозданья
Быстро! Поспешно! Скоро!
Ни одного опозданья.
Извержений не было.
Землетрясений не было.
Караблекрушений не было.
О них не писали в газетах.

Когда начинались войны,
Они утонули в победах.
Все были сыты, довольны.
Кроме самых отпетых.

* * *

Пляшем, как железные опилки
во магнитном поле
по магнитной воле,
по ее свирели и сопилке.

То попляшем, то сойдемся в кучки
я и остальные.
Полюса стальные
довели до ручки.

Слишком долго этот танец,
это действие длилось.
Как ни осознай необходимость,
все равно свободой не станет.

То, что то заботой, то работой
было в бытии, в сознании,
даже после осознания
не становится свободой.

Известкует кости или вены,
оседает, словно пыль на бронхи,
а свобода — дальняя сторонка,
как обыкновенно.

* * *

Конец сороковых годов —
сорок восьмой, сорок девятый —
был весь какой-то-смутный, смятый.
Его я вспомнить не готов.

Не отличался год от года,
как гунн от гунна, гот от гота
во вшивой сумрачной орде.
Не вспомню, ЧТО, КОГДА И ГДЕ.

В том веке я не помню вех,
но вся эпоха в слове «плохо».
Чертополох переполоха
проткнул забвенья белый снег.

Года, и месяцы, и дни
в плохой период слиплись, сбились,
стеснились, скучились, слепились
в комок. И в том комке — они.

ГОВОРIT ФОМА

Сегодня я ничему не верю:
глазам — не верю,
ушам — не верю.
Пощупаю — тогда, пожалуй, поверю:
если на ощупь — все без обмана.

Мне вспоминаются хмурые немцы,
печальные пленные 45-го года,
стоявшие — руки по швам — на допросе.
Я спрашиваю — они отвечают.

— Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю.
— Вы верите Герингу? — Нет, не верю.
— Вы верите Геббельсу? — О, пропаганда!
— А мне вы верите? — Минута молчанья.
— Господин комиссар, я вам не верю.
Все пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Если бы я превратился в ребенка,
снова учился в начальной школе,
и мне бы сказали такое:
Волга впадает в Каспийское море!
Я бы, конечно, поверил. Но прежде
нашел бы эту самую Волгу,

спустился бы вниз по течению к морю,
умылся его водой мутноватой
и только тогда бы, пожалуй, поверил.

Лошади едят овес и сено!
Ложь! Зимой 33-го года
я жил на тощей, как жердь, Украине.
Лошади ели сначала солому,
потом — худые соломенные крыши,
потом их гнали в Харьков на свалку.
Я лично видел своими глазами
суровых, серьезных, почти что важных
гнедых, каракowych и буланых,
молча, неспешно бродивших по свалке.

Они ходили, потом стояли,
а после падали и долго лежали,
умирали лошади не сразу...
Лошади едят овес и сено!
Нет! Неверно! Ложь, пропаганда.
Все — пропаганда. Весь мир — пропаганда.

* * *

Бог был терпелив, а коллектив
требователен, беспощаден
и считался солнцем, пятен,
впрочем, на себе не выводив.

Бог был перегружен и устал.
Что ему все эти пятна.
Коллектив взошел на пьедестал
только что; ему было приятно.

Бог был грустен. Коллектив — ретив.
Богу было ясно: все неясно.
Коллектив считал, что не опасно,
взносы и налоги заплатив,
ввязываться в божии дела.
Самая пора пришла.

Бог, конечно, мог предотвратить,
то ли в шутку превратить,
то ли носом воротить,
то ли просто запретить.

Видно, он подумал: поглядим,
как вы сами, без меня, и, в общем,
устранился бог,
пока мы ропщем,
глядя,
как мы в бездну полетим.

* * *

Несподручно писать дневники.
Разговоры записывать страшно.
Не останется — и ни строки.
Впрочем, это неважно.

Верно, музыкой передадут
воплъ одухотворенного праха,
как был мир проэквожен и продут
бурей страха.

Выдувало сначала из книг,
а потом из заветной тетради
все, что было и не было в них,
страха ради.

Задувало за Обь, за Иртыш,
а потом и за Лету за реку,
Задавала пиры свои тишь
говорливому веку.

Задевало бесшумным крылом.
Свеивало, словно полову.
Несомненно, что сей миролом —
музыке, а не слову.

* * *

Страхи растут, как малые дети.
Их, например, обучают в школе
Никого не бояться в целом свете,
Никого не бояться, всех опасаться.

Страхи с утра читают газеты.
Они начинают с четвертой страницы.
Им сообщает страница эта
О том, что соседям стало хуже.

Страхи потом идут на службу.
Там начальство орет на страхи:
«Чего вы боитесь! Наша дружба
Обеспечена вам до гроба!»

Страхи растут, мужаают, хиреют.
Они, как тучи, небо кроют.
Они, как флаги, над нами реют.
И все-таки они умирают.

* * *

Все телефоны не подслушаешь,
все разговоры — не запишешь.
И люди пьют, едят и кушают,
и люди понемногу дышат,
и понемногу разгибаются,

и даже тихо улыбаются.
А телефон — ему подушкой
заткни ушко,
и телефону станет душно,
и тяжело, и нелегко,
а ты — вздыхаешь глубоко
с улыбкою нескромною
и вдруг «Среди долины ровныя»
внезапно начинаешь петь,
не в силах более терпеть.

* * *

Николе Вапцарову

Полиция исходит из простого
И вечного. Пример: любовь к семье.
И, только опираясь на сие,
Выходит на широкие просторы.

Полиция учена и мудра.
И знает: человек — комочек праха.
И невысокий бугорок добра
Полузасыпан в нем пургою страха.

Мне кажется, что человек разбит
В полиции на клетки и участки.
Нажмут — и человека ознобит.
Еще нажмут — и сердце бьется чаще.

Я думаю, задолго до врача
И до ученых, их трактатов ранних,
Нагих и теплых по полу влача,
Все органы и члены
 знал охранник.

Но прах не замечается пургой,
А лагерная пыль заносит плаху.
И человек,
 не этот, так другой,
Встает превыше ужаса и страха.

* * *

Человек уходит со двора
добрым и веселым.
 Ранним утром.
А вернется — грустным или мудрым.

Недели, месяцы и года я
Шел, не думая, не гадая,
Как акробат по канату идет,
Планируя жизнь на сутки вперед.

На сутки. А дальше была безвестность.
Но я никогда не думал о ней.
И в том была храбрость, и в том была честность
Для тех годов, и недель, и дней.

ГОЛОС ДРУГА

*Памяти поэта
Михаила Кульчицкого*

Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!

В ЯНВАРЕ 53-го

Я кипел тяжело и смрадно,
словно черный асфальт в котле.
Было стыдно. Было срамно.

Было тошно ходить по земле.
Было тошно ездить в трамвае.
Все казалось: билет отрывая,
или сдачу передавая,
или просто проход давая
и плечами задевая,
все глядят с молчаливой злобой
и твоих оправданий ждут.

Оправдайся — пойди, попробуй,
где тот суд и кто этот суд,
что и наши послушает доводы,
где и наши заслуги учтут.

Все казалось: готовятся проводы
и на тачке сейчас повезут.

Нет, дописывать мне не хочется.
Это все не нужно и зря.
Ведь судьба — толковая летчица —
всех нас вырулила из января.

* * *

Тяжелое время — зима!
В квартире теплей, чем в окопе,
в Москве веселей, чем в Европе,
но все-таки холод и тьма.
Но все-таки мгла, и метель,
и мрак — хладнокровный убийца.
И где же он, тот Прометей,
чтоб мне огоньком раздобыться.

Но где-то в конце февраля
по старому стилю, и в марте
по новому стилю, земля
дрожит в непонятном азарте,
и тянется к солнцу сосна,
хвоинки озябшие грея,
и легкое время — весна
сменяет тяжелое время,
и купол небесный высок,
и сладко сосулькам растаять,
и грянет березовый сок —
успей только банки расставить.

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В то утро в мавзолее был похоронен Сталин.
А вечер был обычен — прозрачен и хрустален.
Шагал я тихо, мерно
наедине с Москвой
и вот что думал, верно,
как парень с головой:
эпоха зрелищ кончена,
пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
у штурмовавших небо.
Перемотать портянки
присел на час народ,
в своих ботинках спящий
невесть который год.

Нет, я не думал этого,
а думал я другое:
что вот он был — и нет его,
гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?
Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без устали.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
неистово мели,
как будто рвали корни и
скребли из-под земли,
как будто выдирали из перезабшей почвы
его приказов окрик, его декретов почерк:
следы трехдневной смерти
и старые следы —
тридцатилетней власти
величья и беды.

Я шел все дальше, дальше,
и предо мной предстали
его дворцы, заводы —
все, что воздвигнул Сталин:

высотных зданий башни,
квадраты площадей..
Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

* * *

Не пуля была на излете, не птица —
мы с нашей эпохой ходили проститься.

Ходили мы глянуть на нашу судьбу,
лежавшую тихо и смиренно в гробу.
Как слабо дрожал в светотрубках неон.
Как тихо лежал он — как будто не он.
Не черный, а рыжий, совсем низкорослый,
совсем невысокий — седой и рябой,
лежал он — вчера еще гордый и грозный,
и слывший и бывший всеобщей судьбой.

1953



IV. ЧЕЛОВЕК НА РАЗВИЛКЕ ДОРОГ

* * *

На шинелке безлунной ночью
засыпаешь, гонимый судьбой,
а едва проснешься — воочью
чудный город перед тобой.

Всех религий его соборы,
всех монархий его дворцы,
клубов всех якобинские споры,
все начала его и концы —

все, что жаждал ты, все, что алкал,
ждал всю жизнь. До сих пор не устал.
Словно перед античностью варвар,
ты пред чудным городом встал.

Словно сухопутный кочевник
в первый раз видит вал морской,
на смешенье красок волшебных
смотришь, смотришь с блаженной тоской.

* * *

Не забывай незабываемого,
пускай давно былшем заваленного,
но все же, несомненно, бывшего,
с тобою евшего и пившего
и здесь же, за стеною, спавшего
и только после запропавшего:
не забывай!

* * *

Я рос при Сталине, но пристально
не вглядывался я в него.
Он был мне маяком и пристанью.

И все. И больше ничего.
О том, что смертен он, не думал я,
не думал, что едва жива
неторопливая и умная,
жестокая та голова,
что он давно под горку катится,
что он не в силах — ничего,
что черная давно он пятница
в неделе века моего.

Не думал, а потом — подумал.
Не знал, и вдруг — сообразил
и, как с пальто пушинку, сдунул
того, кто мучил и грозил.
Печалью о его кондрашке
своей души не замарал.
Снял, словно мятую рубашку,
того, кто правил и карал.

И стало мне легко и ясно,
и видимо — во все концы земли.
И понял я, что не напрасно
все двадцать девять лет прошли.

БОГ

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На мавзолее.
Он был умнее и злее
Того — иного, другого,
По имени Йегова,
Которого он низринул,
Извел, пережег на уголь,
А после из бездны вынул
И дал ему стол и угол.
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.

Однажды я шел Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
В своих пальтишках мышиных
Рядом дрожала охрана.

Порядок поротых и гнутых,
в часах, секундах и минутах,
в годах — везде большой порядок.

Он длился б век и вечность длился,
но некий человек свалился
и весь порядок развалился.

* * *

Всё то, что не додумал гений,
Всё то, пророк ошибся в чем,
Искупят десять поколений,
Оплатят кровью и трудом.

Так пусть цари и полководцы,
Князей и королей парад
Руководят не как придется,—
Как следует руководят.

А ежели они не будут —
Так их осудят и забудут.

Я помню осень на Балканах,
Когда рассерженный народ
Валил в канавы, словно пьяных,
Весь мраморно-гранитный сброд.

Своих фельдмаршалов надменных,
Своих бездарных королей,
Жестоких и высокомерных,
Хотел он свергнуть поскорей.

Свистала в воздухе веревка,
Бросалась на чугун петля,
И тракторист с большой сноровкой
Валил в канаву короля.

А с каждым сбитым монументом,
Валявшимся у площадей,
Все больше становилось места
Для нас — живых. Для нас — людей.

«Ура! Ура!» — толпа кричала.
Под это самое «ура!»
Жизнь начиналася сначала,
И песня старая звучала
Так, будто сложена вчера:

«Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой».

* * *

Товарищ Сталин письменный —
газетный или книжный —
был благодетель истинный,
отец народа нежный.

Товарищ Сталин устный —
звонком и телеграммой —
был душегубец грустный,
угрюмый и упрямый.

Любое дело делается
не так, как сказку сказывали.
А сказки мне не требуются,
какие б ни навязывали.

* * *

Генерала легко понять,
если к Сталину он привязан, —
многим Сталину он обязан.
Потому что тюрьму и суму
выносили совсем другие.
И по Сталину ностальгия,
как погоны, к лицу ему.

Довоенный, скажем, майор
в сорок первом или покойник,
или, если выжил, полковник.
Он по лестнице славы пер.
До сих пор он по ней шагает,
в мемуарах своих излагает,
как шагает по ней до сих пор.

Но зато на своем горбу
все четыре военных года
он тащил в любую погоду
и страны и народа судьбу
с двуединым известным кличем.
А из Родины Сталина вычтя,
можно вылететь. Даже в трубу!

Кто остался тогда? Никого.
Всех начальников пересажали.
Немцы шли, давили и жали
на него, на него одного.
Он один, он один. С начала
до конца. И его осеняло
знаменем вождя самого.

Даже и в пятьдесят шестом,
даже после двадцатого съезда
он портрета не снял, и в том
ни его, ни его подъезда
обвинить не могу жильцов,
потому что в конце концов
Сталин был его честь и место.

Впереди только враг. Позади
только Сталин. Только Ставка.
До сих пор закипает в груди,
если вспомнит. И ни отставка,
ни болезни, ни старость, ни пенсия
не мешают; грозною песнею,
сорок первый, звучи, гуди.

Ни Егоров, ни Тухачевский —
впрочем, им обоим поклон, —
только он, бесстрашный и честный,
только он, только он, только он.
Для него же — свободой, благом,
славой, честью, гербом и флагом
Сталин был. Это уж как закон.

Это точно. «И правду эту, —
шепчет он, — никому не отдам».
Не желает отдать поэту.
Не желает отдать вождям.
Пламенем безмолвным пылает,
но отдать никому не желает.
И за это ему — воздам!

СЛАВА

Художники рисуют Ленина,
как раньше рисовали Сталина,
а Сталина теперь не велено:
на Сталина все беды взвалены.

Их столько, бед, такое множество!
Такого качества, количества!
Он был не злобное ничтожество,
скорей — жестокое величество.

Холстины клетками расписаны,
и вот сажают в клетки тесные
большие ленинские лысины,
глаза раскосые и честные.

А трубки, а погоны Сталина
на бюстах, на портретах Сталина?
Все, гамузом, в подвалы свалены,
от пола на сажень навалены.

Лежат гранитные и бронзовые,
написанные маслом, мраморные,
а рядом гипсовые, бросовые,
дешевые и необрамленные.

Уволенная и отставленная
лежит в подвале слава Сталина.

Осень 1956

* * *

Ни за что никого никогда не судили.
Всех судили за дело.
Например, за то, что латыш,
и за то, что не так летишь
и крыло начальство задело.

Есть иная теория, лучшая —
интегрального и тотального,
непреодолимого случая,
беспардонного и нахального.

Есть еще одна гипотеза —
злого гения Люцифера,
коммуниста, который испортился —
карамзинско-плутархова сфера.

Почему же унес я ноги,
как же ветер меня не потушил?
Я не знаю, хоть думал много.
Я решал, но еще не решил.

РАЗГОВОР

— Выпускают, всех выпускают,
распускают все лагеря,
а товарища Сталина хают,
обижают его зазря.

Между тем товарищ Сталин
обручом был — не палачом,
обручом, что к бочке приставлен
и не кем-нибудь — Ильичом.

— Нет, Ильич его опасался,
перед смертью он отписал,
чтобы Сталин ушел с должности,
потому что он кнут и бич.

— Дошлый был он.

— Этой дошлости
опасался, должно быть, Ильич.

ПАЯЦ

Не боялся, а страшился
этого паяца:
никогда бы не решился
попросту бояться.

А паяц был низкорослый,
рябоватый, рыжий,
страха нашего коростой,
как броней, укрытый.

А паяц был уstraшенный:
чтобы не прогнали,—
до бровей запорошенный
страхом перед нами.

Громко жил и тихо помер.
Да, в своей постели.
Я храню газетный номер
с датой той потери.

Эх, сума-тюрьма, побудка,
авоськи-котомки.
Это все, конечно, в шутку
перечтут потомки.

* * *

Как входят в народную память?
Добром. И большим недобром.
Сияющими сапогами.
Надменных седин серебром.
Победами в длительных войнах.
Остротами вовремя, в срок,
и казнями беспокойных,
не ценящих этих острот.

Убитые прочно убиты,
забыты на все времена.
Убийцами память — забита.
Истории чаша — полна.
Студенты и доценты,
историки нашей страны,
исправить славы проценты
вы можете и должны.

Раскапывайте захороненья,
засыпанные враньем,
поступки, подвиги, мненья,
отпетые вороньем.

* * *

Госудáри должны государить;
государство должно есть и пить
и должно, если надо, ударить,
и должно, если надо, убить.

Понимаю, вхожу в положение,
и хотя я трижды не прав,
но как личное поражение
принимаю списки расправ.

* * *

Списки расправ.
Кто не прав,
тот попадает в списки расправ.
Бóенный чад
и чад типографский,
аромат
царский и рабский,
колорит

белый и черный,
четкий ритм
и заключенный.
Я читал
списки расправ,
я считал,
сколько в списке.
Это было одно из прав
у живых, у остающихся
читать списки расправ
и видеть читающих рядом, трясущихся
от ужаса, не от страха,
мятущихся
вихрей праха.

* * *

Подумайте, что звали высшей мерой
Лет двадцать или двадцать пять назад.
Добро? Любовь?
Нет. Свет рассвета серый
И звук расстрела.
Мы будем мерить выше этой высшей,
А мера будет лучше и верней.
А для зари, над городом нависшей,
Употребленье лучшее найдем.

СЧАСТЬЕ

Л. Мартынову

Словно луг запáх
В самом центре городского быта.
Человек прошел, а на зубах
Песенка забыта.
Гляньте-ка ему вослед —
Может, пьяный, а скорее нет.

Все решили вдруг:
Так поют после большой удачи,—
Скажем, выздоровел друг,
А не просто выстроилась дача.
Так поют, когда вернулся брат,
В плен попавший десять лет назад.

Так поют,
Разойдясь с женою нелюбимой,

* * *

Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.

БОЛЬШОЙ ПОРЯДОК

Двадцать лет я жил всухомятку —
В общежитиях и на войне —
И привык к большому порядку.
Он понравился даже

мне.

Я привык, что храп соседа
Надо выслушать и пережить,
Что мечту о жизни оседлой
Надо на полужизнь отложить.

Что в бараке и что в окопе,
Несмотря на шум и на чад,
Хорошо, приятно, толково!
То, что это люди звучат.

То, что рядом едят и дышат,
Руки под головы кладут,
То, что слово твое услышат,
Руку помощи подадут.

Трудно было всем. Помогали
Все — всем. От зари до зари.
И в один котелок макали
Твердокаменные сухари.

Вместе, заодно, всем миром,
Скопом всем, колхозом всем.
Потому-то моральным жиром
Обрастать не могу совсем.

* * *

Я был молод. Гипотезу бога
с хода я отвергал, с порога.
Далеко глаза мои видели.

Руки-ноги были сильны.
В мировой войне, в страшной гибели
не признал я своей вины.

Значит, молодость и здоровье —
это первое и второе.

Бог — убежище потерпевших,
не способных идти напролом,
бедных, сброшенных с поля, пешек.
Я себя ощущал королем.

Как я шествовал! Как я властвовал!
Бог же в этом ничуть не участвовал.

Идеалы теряя и волосы,
изумляюсь, что до сих пор
не услышал я божьего голоса,
не рубнул меня божий топор.

Видно, власть, что вселенной правила,
исключила меня из правила.

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС

На равенство работать и на братство.
А за другое — ни за что не браться.
На мир трудиться и на труд,
все прочее — напрасный труд.
Но главная забота и работа
поденно и пожизненно — свобода.

ДОБАВКА

Добавить — значит ударить побитою.
Побил и добавил. Дал и поддал.
И это уже не драка и битва,
а просто бойня, резня, скандал.

Я понимал: без битья нельзя,
битым совсем другая цена.
Драка — людей возвышает она.
Такая у нее стезя.

Но не любил, когда добавляли.
Нравиться мне никак не могли,
не развлекали, не забавляли
морда в крови и рожа в пыли.

Слушая, как трещали кости,
я иногда не мог промолчать
и говорил: — Ребята, бросьте,
убьете — будете отвечать.

Если гнев отлютовал,
битый, топтанный молча вставал,
харкал или сморкался кровью
и уходил, не сказав ни слова.

Еще называлось это: «В люди
вывести!» — под всеобщий смех.
А я молил, уговаривал: — Будя!
Хватит! Он уже человек!

Покуда руки мои хватают,
покуда мысли мои витают,
пока в родимой стороне
еще прислушиваются ко мне,

я буду вмешиваться, я буду
мешать добивать, а потом добавлять,
бойцов окровавленную грудь
призывами к милости забавлять.

* * *

Я доверял, но проверял,
как партия учила,
я ковырял, кто привирал,
кто лживый был мужчина.

Но в первый раз я верил всем,
в долг и на слово верил.
И резал сразу. Раз по семь
я перед тем не мерил.

В эпоху общего вранья,
влюбленности во фразу
я был доверчив. В общем, я
не прогадал ни разу.

* * *

У беспричинной радости
причин не сосчитать —
к примеру, хоть бы радуга,
ее цвета и стать,
к примеру, туч орава
и облаков полотна,
закат совсем кровавый,
рассвет совсем холодный —
и душу душем счастья
окатывает вдруг:
ты каждой малой частью
всему на свете друг.
И никакой причины
не надо, кроме той,
что, вот, рассвет пречистый
с холодной прямоюй,
что, вот, закат горячий
и теплый, как слеза,
и я, глаза не пряча,
гляжу ему в глаза.

* * *

Криво, косо, в полосочку, в клетку.
Трудно жить и дышать тяжело,
а потом хоть редко, да метко,
а потом пошло, повело.

То ли ветром подуло попутным,
то ли крови сменился состав,
чем-то личным, глубоким, подспудным
опозданья твои наверстав.

То ли так, то ли, может быть, эдак,
то ли эдак, а может быть, так.
Словно скиф, словно яростный предок,
скачешь в топоте конных атак.

Я беду обойду! Неудачу
я оставлю легко за спиной.
Я решаю любую задачу,
что мне лично поставлена мной.

Отрицая, не признавая
самую возможность судьбы,

верстовые столбы задевая,
временами сшибая столбы,
мчу. Размотанная, как проволока,
косоватая кривизна
высока, как небесное облако,
и натянута, как струна.

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

В девятнадцатом я родился,
но не веке — просто году.
А учился и утвердился,
через счастье прошел и беду
все в двадцатом, конечно, веке
(а в году — я был слишком мал).
В этом веке все мои вехи,
все, что выстроил я и сломал.

Век двадцатый! Моя ракета,
та, что медленно мчит меня,
человека и поэта,
по орбите каждого дня!

Век двадцатый! Моя деревня!
За околицу — не перейду.
Лес, в котором мы все деревья,
с ним я буду мыкать беду.

Век двадцатый! Рабочее место!
Мой станок! Мой письменный стол!
Мни меня! Я твое тесто!
Бей меня! Я твой стон.

* * *

Интеллигенция была моим народом,
была моей, какой бы ни была,
а также классом, племенем и родом —
избой! Четыре все ее угла.

Я радостно читал и конспектировал,
я верил больше сложным, чем простым,
я каждый свой поступок корректировал
Львом чувства — Николаичем Толстым.

Работа чтения и труд писания
была святей Священного писания,

а день, когда я книги не прочел,
как тень от дыма, попусту прошел.

Я чтил усилъя токаря и пекаря,
шлифующих металл и минерал,
но уровень свободы измерял
зарплатою библиотекаря.

Те земли для поэта хороши,
где — пусть экономически нелепо —
но книги продаются за гроши,
дешевле табака и хлеба.

А если я в разоре и распыле
не сник, а в подлинную правду вник,
я эту правду вычитал из книг:
и, видно, книги правильные были!

* * *

Романы из школьной программы,
На ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.

Не курский, не псковский, не тульский,
Не лезущий в вашу родню,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я все-таки в сердце храню.

Не молью побитая совесть,
А Пушкина твердая повесть.
И Чехова честный рассказ
Меня удержали не раз.

А если я струсил и сдался,
А если пошел на обман,
Я, значит, некрепко держался
За старый и добрый роман.

Вы родина самым безродным,
Вы самым бездомным нора,
И вашим листкам благородным
Кричу троекратно «ура!».

С пролога и до эпилога
Вы мне и нора и берлога,
И, кроме старинных томов,
Иных мне не надо домов.

* * *

Неинтересно, как я воевал,
как я сперва позиции сдавал,
а после возвращал, с трудом и кровью.
Неинтересен я с моей любовью
и ненавистью, с узким кругом тем.
Да, я совсем неинтересен тем,
кому еще все это предстоит —
позиции, победы, пораженья.
Я на трибуне. Темный зал таит
полтыщи смутных лиц без выраженья,
во мне не находящих выраженья.
И в горле горький ком стоит.
Я — прошлое и будущее ваше,
и зlobится напрасно злоба дня
на невпопад пришедшего меня,
а те, кто не едал солдатской каши,
прикуривают от моего огня.

* * *

Снова нас читает Россия,
а не просто листает нас.
Снова ловит взгляды косые
и намеки, глухие подчас.

Потихоньку запели Лазаря,
а теперь все слышнее слышны
горе госпиталя, горе лагеря
и огромное горе войны.

И неясное, словно движение
облаков по ночным небесам,
просыпается к нам уважение,
обостряется слух к голосам.

М. В. КУЛЬЧИЦКИЙ

Одни верны России
потому-то,
Другие же верны ей
оттого-то,
А он — не думал, как и почему.
Она — его поденная работа.
Она — его хорошая минута.
Она была отечеством ему.

Они вспоминают: очи,
Блестящие из-под чуба,
И пьянки в летние ночи,
И ощущение чуда,
Когда атакою газовой
Перли на них стихи.
А я объясняю, доказываю:
Заметку б о нем. Три строки.

Писатели вышли в писатели.
А ты никуда не вышел,
Хотя в земле, в печати ли
Ты всех нас лучше и выше.
А ты никуда не вышел.
Ты просто пророс травую,
И я, как собака, вою
Над бедной твоей головою.

* * *

Я учитель школы для взрослых,
Так оттуда и не уходил —
От предметов точных и грозных,
От доски, что черней чернил.

Даже если стихи слагаю,
Все равно — всегда между строк —
Я историю излагаю,
Только самый последний кусок.

Все писатели — преподаватели.
В педагогах служит поэт.
До конца мы еще не растратили
Свой учительский авторитет.

Мы не просто рифмы нанизывали —
Мы добьемся такой строки,
Чтоб за нами слова записывали
После смены ученики.

* * *

Поэзия — не мертвый столб.
Поэзия — живое древо.
А кроме того — чистый стол,
А кроме того — окна слева.
Чтоб слева падал белый свет

И серый, темный, вечеровый,—
Закаты, полдень и рассвет,
Когда, смятен и очарован,
Я древо чудное рашу
И кроной небу угрожаю,
И скудную свою пращу
Далеким камнем заряжаю.

* * *

*Владиславу Броневскому
в последний день его рождения
были подарены эти стихи*

Покуда над стихами плачут,
Пока в газетах их порочат,
Пока их в дальний ящик прячут,
Покуда в лагеря их прочат,—

До той поры не оскудело,
Не отзвенело наше дело.
Оно, как Польша, не згинело,
Хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,
Я точности не знаю большей,
Чем русский стих сравнить с поляком,
Поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала,
Заламывая руки в страхе,
Еще вчера она лежала
Почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит
И наглым хохотом хохочет.
А то, что было,
То, что будет,—
Про это знать она не хочет.

* * *

Все правила — неправильны,
законы — незаконны,
пока в стихи не вправлены
и в ямбы — не закованы.

Период станет эрой,
столетье — веком будет,
когда его поэмой
прославят и рассудят.

Пока на лист не ляжет
«Добро!» поэта,
пока поэт не скажет,
что он — за это,
до этих пор — не кончен спор.

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОЦЕНКИ

Прощая неграмотность и нахрап,
читатель на трусость, как на крап
на картах в разгар преферанса,
указывать нам старался.

Он только трусости не прощал
и это на книгах возмещал:
кто смирностью козыряли,
прочно на полках застряли.

Забыв, как сам он спины гнул,
читатель нас за язык тянул,
законопослушными брезгал
и аплодировал резким.

Хотя раздражала многих из нас
читательская погонялка,
хотя от нажима рассерженных масс
себя становилось жалко,—
но этот повышенный интерес
сработал на литературный процесс.

* * *

Начинается длинная, как мировая война,
начинается гордая, как лебединая стая,
начинается темная, словно кхмерские письмена,
как письмо от родителей, ясная и простая
деятельность.

В школе это не учат,
в книгах об этом не пишут,
этим только мучат,
этим только дышат:
стихами.

Гул, возникший в двенадцать и даже
в одиннадцать лет,
не стихает, не смолкает, не умолкает.
Ты — актер. На тебя взят бессрочный билет.
Публика целую жизнь не отпускает
со сцены.

Ты — строитель. Ты выстроишь — люди живут
и клянут, обнаружив твои недоделки.
Ты — шарманщик. Из окон тебя позовут,
и крути и крутись, словно рыжая белка
в колесе.

Из профессии этой, как с должности
председателя КГБ,
много десятилетий не уходили живыми.
Ты — труба. И судьба исполняет свое на тебе.
На важнейших событиях ты ставишь фамилию, имя,
а потом тебя забывают.

* * *

Народ за спиной художника
И за спиной Ботвинника,
Громящего остороженько
Талантливого противника.
Народ,
за спиной мастера
Нетерпеливо дышащий,
Но каждое слово
внимательно
Слушающий
и слышащий,
Побудь с моими стихами,
Постой хоть час со мною,
Дай мне твое дыханье
Почувствовать за спиною.

ОБОИ

Я в этот сельский дом заеду,
как уж не раз случалось мне,
и прошлогоднюю газету
найду — обоим — на стене.

Как новость преобразовалась!
Когда-то юная была
и жизнью интересовалась,
а ныне на стену пошла.

Приклеена или прибита,
как ни устроили ее,
она пошла на службу быта
без перехода в бытие.

Ее захваты и поджоги,
случившиеся год назад,
уже не вызывают шоки,
смешат скорее, чем страшат.

Совсем недавно было это:
горит поджог, вопит захват.
Захлебываясь, газеты
об этом правду говорят.

Но уши мира — привыкают,
и очи мира — устают,
и вот уже не развлекают
былые правды их уют,

и вот уже к стене тесовой
или какой другой любой
приклеен мир, когда-то новый,
а ныне годный на обой.

* * *

Какие споры в эту зиму шли
во всех углах и закутах земли!

Что говорили, выпив на троих
и поправляя походя треух,
за столиками дорогих пивных
и попросту — за стойками пивнух!

Собрания гудели, как мотор
летательного
сверхаппарата,
и мысли выходили на простор
для стычки, сшибки, а не для парада.
На старенькой оси скрипя, сопя,
земля обдумывала самое себя.

* * *

Нужно ли выполнять приказы,
шумные, как проказы,
но смертельные, как проказа?
Нужно ли подчиняться закону,
нависяющему, как балконы,
но с мясным ароматом бекона?
Нужно ли проводить решенья,
не дающие разрешенья
даже на легкое возраженье?
Старый лозунг — «Надо так надо!»
нужно ли приветствовать, надо?
А может, не нужно и не надо?
Современники, товарищи, братцы,
хочется сперва разобраться,
а после с новой силой браться.

* * *

Пришла пора, брады уставя,
о новом рассудить уставе,
а если ныне кто без брад,
того я также слушать рад.

Старинное названье «Дума»
и слово новое «Совет»,
где всяк, кто не дурак, не дура,
обязан подавать совет.

Восстановим значенье слов,
в стране Советов — власть советову,
обдуманно начав для этого
дискриминацию ослов.

* * *

Интеллигенты получали столько же
и даже меньше хлеба и рублей
и вовсе не стояли у рулей.

За макинтош их звали макинтошники,
очкариками звали — за очки.
Да, звали. И не только дурачки.

А макинтош был старый и холодный,
и макинтошник — бедный и голодный,
гриппозный, неухоженный чужак.

Тот верный друг естественных и точных
и ел не больше, чем простой станочник,
и много менее, конечно, пил.

Интеллигент! В сем слове колокольцы
опять звенят! Какие бубенцы!
И снова нам и хочется и колется
интеллигентствовать, как деды и отцы.

* * *

Знак был твердый у этого времени.
Потому, облегчившись от бремени
ижицы и фиты,
твердый знак оно сохранило
и грамматика не обронила
знак суровости и прямоты.

И грамматика не утерjala,
и мораль не отбросит никак
из тяжелого материала
на века сработанный знак.

Признавая все это, однако
в барабан не желаю бряцать,
преимущества мягкого знака
не хочу отрицать.

* * *

Ответы пока получены только на второстепенные
вопросы.

На первостепенные
ответов нет до сих пор.
Вскипает горячей пеною
по каждому случаю спор.

Еще начать и кончить!

Еще работы столько!

Небо теперь не ближе, чем тысячу лет тому.

Надо думать и делать, осознавая стойко,
что конца истории не увидать никому.

ПРОЩАНИЕ

Добро и Зло сидят за столом.
Добро уходит, и Зло встает...
(Мне кажется, я получил талон
На яблоко, что познание дает.)

Добро надевает мятый картуз.
Фуражка форменная на Зле.
(Мне кажется, с плеч моих сняли груз
И нет неясности на всей земле.)

Я слышу, как громко глаголет Зло:
— На этот раз тебе повезло.—
И руку протягивает Добру
И слышит в ответ: — Не беру.

Зло не разжимает сведенных губ.
Добро разевает дырявый рот,
Где сломанный зуб и выбитый зуб,
Руина зубов встает.

Оно разевает рот и потом
Улыбается этим ртом.
И счастье охватывает меня:
Я дожил до этого дня.

ОТЛОЖЕННЫЕ ТАЙНЫ

Прячет история в воду концы.
Спрячут, укроют и тихо ликуют.
Но то, что спрятали в воду отцы,
дети выживают и публикуют.

Опыт истории ей показал:
прячешь — не прячешь,
топишь — не топишь,
кто бы об этом ни приказал,
тайну не замедляешь — торопишь.

Годы проходят, быстрые годы,
медленные проплывают года —
тайны выводят на чистую воду,
мутная их не укрыла вода.

И не в законы уже,
а в декреты,
криком кричащие с каждой стены,

тайны отложенные
и секреты
скрытые
превратиться должны.

ДОМИК ПОГОДЫ

Домик на окраине.

В стороне
От огней большого города.
Все, что знать занудилось мне
Относительно тепла и холода,
Снега, ветра, и дождя, и града,
Шедших, дувших, бивших

в этот век,
Сложено за каменной оградой
К сведенью и назиданью всех.

В двери коренастые вхожу.
Томы голенастые гляжу.
Узнаю с дурацким изумленьем:
В День Победы — дождик был!
Дождик был? А я его — забыл.

Узнаю с дурацким изумленьем,
Что шестнадцатого октября
Сорок первого, плохого года,
Были: солнце, ветер и заря,
Утро, вечер и вообще — погода.
Я-то помню — злобу и позор:
Злобу, что зияет до сих пор,
И позор, что этот день заполнил.
Больше ничего я не запомнил.

Незаметно время здесь идет.
Как романы, сводки я листаю.
Достаю пятьдесят третий год —
Про погоду в январе читаю.
Я вставал с утра пораньше — в шесть.
Шел к газетной будке поскорее,
Чтобы фельетоны про евреев
Медленно и вдумчиво прочесть.
Разве нас пургою остановишь?
Что бураны и метели все,
Если трижды имя Рабинович
На одной сияет полосе?

Оказалось, человечности
родственно понятие бесконечности.
Нет окончательных концов.
Не бывает!
А кого решают —
в новом поколении воскрешают.
Воскрешают сыновья отцов.

ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Гамарнику, НачПУРККА, по чину
не улицу, не площадь, а — бульвар.
А почему? По-видимому, причина
в том, что он жизнь удачно оборвал:

в Сокольниках. Он знал — за ним придут.
Гамарник был особенно толковый.
И вспомнил лес, что ветерком продут,
веселый, подмосковный, пустьяковый.

Гамарник был подтянут и высок
и знаменит умом и бородою.
Ему ли встать казанской сиротою
перед судом?
Он выстрелил в висок.

Но прежде он — в Сокольники! — сказал.
Шофер рванулся, получив задание.
А в будни утром лес был пуст, как зал,
зал заседанья после заседанья.

Гамарник был в ремнях, при орденах.
Он был острей, толковей очень многих,
и этот день ему приснился в снах,
в подробных снах, мучительных и многих.

Член партии с шестнадцатого года,
короткую отбрасывая тень,
шагал по травам, думал, что погода
хорошая

в его последний день.

Шофер сидел в машине развалясь:
хозяин бледен. Видимо, болеет.
А то, что месит сапогами грязь,
так он сапог, наверно, не жалеет.

Погода занимала их тогда.
История — совсем не занимала.
Та, что Гамарника с доски снимала
как пешку
и бросала в никуда.

Последнее, что видел комиссар
во время той прогулки бесконечной:
какой-то лист зеленый нависал,
какой-то сук желтел остроконечный.

Поэтому-то двадцать лет спустя
большой бульвар навек вручили Яну:
чтоб веселилось в зелени дитя,
чтоб в древонасаждениях — ни изъяну,
чтоб лист зеленый нависал везде,
чтоб сук желтел и птицы чтоб вешали.

И чтобы люди шли туда в беде
и важные поступки совершали.

ПОДЛЕСОК

Настоящего леса не знал, не застал:
я, мальчишкой, в московских газетах читал,
как его вырубали под корень.
Удивляло меня, поражало

тогда,

до чего он покорен.
Тихо падал, а как величаво шумел!
Разобраться я в этом тогда не сумел.

Между тем проходили года, не спеша.
Пересаженный в тундру подлесок
вылезал из-под снега, тихонько дыша,
тяжело.

Весь в рубцах и порезах.

Я о русской истории от сыновей
узнавал — из рассказов печальных:
где какого отца посушил суховей,
где который отец был начальник.
Я часами, не перебивая, внимал,
кто кого назначал, и судил, и снимал.

Начинались истории эти в Кремле,
а кончались в Нарыме, на Новой Земле.

Года два или больше выслушивал я
то, что мне излагали и сказывали
невеселые дочери и сыновья,
землекопы по квалификации.

И решил я в ту пору, что есть доброта,
что имеется совесть и жалость,
и не виделось более мне ни черта,
ничего мне не воображалось.

ОРФЕЙ

Не чувствую в себе силы
для этого воскресения,
но должен сделать попытку.

Борис Лебский.
Метр шестьдесят восемь.
Шестьдесят шесть килограммов.
Сутулый. Худой. Темноглазый.
Карие или черные — я не успел запомнить.

Борис был, наверное, первым
вернувшимся из тюрьги:
в тридцать девятый
из тридцать седьмого.
Это стоило возвращения с Марса
или из прохладного античного ада.

Вернулся и рассказывал.
Правда, не сразу.
Когда присмотрелся.

Сын профессора,
бросившего жену
с двумя сыновьями.
Младший — слесарь.

Борис — книгочей. Книгочий,
как с гордостью именовались
юные книгочей,
прочитавшие Даля.

Читал всех.
Знал все.
Точнее, то немногое,
что книгочей

по молодости называли
длинным словом «Все».

Любил задавать вопросы.
В эпоху кратких ответов
решался задавать длиннейшие вопросы.

Любовь к истории,
особенно российской,
особенно двадцатого века,
не сочеталась в нем с точным
чувством современности,
необходимым современнику
ничуть не менее,
чем чувство правостороннего автомобильного движения.

Девушкам не нравился.
Женился по освобождению
на смуглой, бледной, маленькой —
лица не помню, —
жившей
в Доме Моссельпрома на Арбатской площади,
того, на котором ревели лозунги Маяковского.
Ребенок (мальчик? девочка?) родился перед войною.
Сейчас это тридцатилетний или тридцатилетняя.
Что с ним или с нею, не знаю, не узнавал.

Глаза пришельца из ада
сияют пламенем адовым.
Лицо пришельца из ада
покрыто загаром адовым.
Смахнув разговор о поэзии,
очистив место в воздухе,
он улыбнулся и начал рассказывать:

— Я был в одной камере
с главкомом Советской Венгрии,
с профессором Амфитеатровым,
с бывшим наркомом Амосовым!
Мы все обвинялись в заговоре.
По важности содеянного,
или, точнее, умышленного,
или, точнее, приписанного,
нас сосредотачивали
в этой адовой камере.

Орфей возвратился из ада,
и не было интереснее

для нас, поэтов из рая,
рассказов того путешественника.

В конце концов, Эвридика —
миф, символ, фантом — не более.
А он своими руками
трогал грузную истину,
обведенную, как у Ван Гога, толстой черной линией.

В аду — интересно.

Это

мне
на всю жизнь запомнилось.

Покуда мы околачивали
яблочки с древа познания,
Орфея спустили в ад,
пропустили сквозь ад
и выпустили.

Я помню строки Орфея:

«вернулся под осень,
а лучше бы к маю».

Невидный, сутулый, маленький —

Сельвинский, всегда учитывавший
внешность своих последователей,
принял его в семинар,
но сказал: — По доверию
к вашим рекомендаторам,
а также к их красноречию.
В таком поэтическом возрасте
личность поэта значит
больше его поэзии.—

Сутулый, невидный, маленький.

В последнем из нескольких писем,
полученных мною на фронте,
было примерно следующее:

«Переводят из роты противотанковых ружей
в стрелковую!»

Повторное возвращение
ни одному Орфею
не удавалось ни разу еще.

Больше меня помнят
и лучше меня знают

художник Борис Шахов,
товарищ Орфеевой юности,
а также брат — слесарь
и, может быть, смуглая, бледная
маленькая женщина,
ныне пятидесятилетняя,
вышедшая замуж
и сменившая фамилию.

КОМИССИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДСТВУ

Что за комиссия, создатель?
Опять, наверное, прощен
И поздней похвалой польщен
Какой-нибудь былой предатель,
Какой-нибудь неловкий друг,
Случайно во враги попавший,
Какой-нибудь холодный труп,
Когда-то весело писавший.

Комиссия! Из многих вдов
(Вдова страдальца — лестный титул!)
Найдут одну, заплатят долг
(Пять тысяч платят за маститых),
Потом романы перечтут
И к сонму общему причтут.

Зачем тревожить долгий сон?
Не так прекрасен общий сонм,
Где книжки переиздадут,
Дела квартирные уладят,
А зуб за зуб — не отдадут,
За око око — не уплатят!

МУЗЕЙ ОБЩИХ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

Помню все! Замусорил мозги.
Сам не разберусь, как память
так успел засыпать и захламить.

Вижу положительное, вижу:
рост людей, домов, цветов.
Все хорошее видеть я готов.

Помню отрицательное, помню
и совсем не с тем, чтоб очернить.
Упускать не надо эту нить.

Эта нить в такую ткань спрядется,
что не только мне, а всем
станет отвратительно совсем,
очень отрицательно придется.

Надо помнить и — не забывать,
узелки завязывать для памяти,
гвоздики на память — забивать.

Или вот что предложить хочу:
всем бы принести по кирпичу,
домик поместительный построить
и музей в том домике — устроить.
Общих неприятностей музей.

* * *

Цель оправдывала средства
и — устала.
Обсудила дело трезво,
перестала.

Средства, брошенные целью,
полны грусти,
как под срубленной елью
грибы — грузди.

Средства стонут, пропадают,
зной их морит.
Цель же, рук не покладает:
руки моет.

* * *

Громкий разговор на улице —
это тоже признак
некоторой, небольшой свободы.

Не весьма великая свобода
все же лучше
грандиозного величья рабства,
пирамид его и колоннад.

Впрочем, если громкий разговор
спрограммирован в муниципалитете
вместе с гитаристом на бульваре
и цветами перед памятником, —

это для туристов.
Это — не считается свободой.

МЕШАНЕ

Скажите, кто такие мещане?
За что на них писатели злы?
Какое зло на них вымещали?
Кому они отпущенья козлы?

Мещане, по-моему, это объект истории.

Та барабанная шкура,
которая гулко, легко и понуро
дает несложный и краткий ответ
ударам, побоям, приказам, реформам.

Мещане — та самая суть,
которая крепко стянута формой,
так что ни охнуть и ни вздохнуть.

Мещане — люди, но без загада,
без дальнего плана, без точных надежд.
Человечество в эпоху заката
идей,

торжества обуж и одежд.

Их следует не костерить, а воспитывать.
Их следует, словно брезент, пропитывать
смолою плана, программы, мечты;
выращивать в них инстинкт высоты.

В конце концов, мещане — люди.
С них спрос — людской,
людской им суд.
А яблочком

на золоченом блюде
героев и гениев не поднесут.

* * *

Высоковольтные башни,
великие, словно Петр,
стоят в грязи по колено,
до края бетонных ботфорт.

Дожди их зря оплакивают:
почетнее нет стези.
Они, словно Петр, выволакивают
Отечество

из грязи.

СТАРАЯ ТЕХНИКА

Дребезжащая техника!

Толстым шпагатом
перевязанные винты и болты.

Вам, умелым, обученным или богатым,
не понять, не усвоить ее красоты.

Не понять вам, как радостен свет от движка,
как тепло от бензиновой бочки приятно.

Дребезжащая техника! как ты легка.

Дребезжащее солнышко в солидоле! что твои пятна.

Несмотря ни на что, а не благодаря,
вопреки всему недружелюбному, техника старая эта
поднимается ни свет ни заря.

До зари поднимается

и до свету

дребезжащая, скрипящая кое-как,
перешедшая грани фантастики,
и работает — на сокращенных пайках.
Как работает! Что там дюралю и пластики!

Дребезжа,
и визжа,
и скрипя,
и хрипя,
от души
отдает
человеку
себя.

* * *

Город похож на бред малокультурного фантаста:

Каменные ватники — лишь бы было тепло,

Застекленные дыры — лишь бы было светло,

Наглые мусоропроводы — лишь бы было чисто.

Все же тепло, светло, чисто:

Не так уж мало.

Никто не выбросит ватник

Образца 43-го года.

Думают: пригодится.

Когда отогреются, отоспятся,

Когда привыкнут к тому, что чисто,

Когда поймут, как некрасиво,

Очень долго
Будут жить в некрасивых,
Чистых, теплых, светлых,
Каменных ватниках,
Похожих на бред
Малокультурного фантаста.

ЗА ЗАЙМАМИ

Опять флажки вручают,
с работы отпускают,
опять они встречаются
и руки опускают.
Зачем пришли — за займами,
за нашими грошами:
мы с радостью бы заняли,
да в недостатках сами.

Идут машины классные
с аэродрома Внуковского.
Расходы! Напрасные!
А вот спроси-ка! Ну-ка с кого!

Но если день сентябрьский,
погожий, хороший,
и даже декабрьский,
с легчайшей порошей,
особенно апрельский
и ветерок нерезкий,
пускай он прилетает —
гвинейский, немецкий,
в штанах бирманских белых,
и в мантии диктатор,
и президент — из бедных,
и нищий император.

Мы выйдем, мы встретим,
флажками помашем,
сравним с портретом,
соседям расскажем!
И поскребем в карманах,
дадим немного денег,
куда же их денешь,
габонских, бирманских?

* * *

В тетрадочки уставя лбы,
в который раз, какое поколение
испытывает успокоение
от прописи: «Мы — не рабы!»

* * *

УДАР

А я, историк современный,
беру сатиры бич ременный,
размахиваюсь, бью сплеча,
и плача,
и себе переча,
гляжу на плечи палача,
исполосованные плечи.
Как спутано добро со злом!
Каким тройным морским узлом
все спутанное перевязалось.
Но надо бить.
А надо бить?
И я, превозмогая жалость,
ударю!
Так тому и быть.

* * *

Надо, чтобы дети или звери,
чтоб солдаты или, скажем, бабы
к вам питали полное доверье
или полюбили вас хотя бы.

Обмануть детей не очень просто,
баба тоже не пойдет за подлым,
лошадь сбросит на скаку прохвоста,
а солдат поймет, где ложь, где подвиг.

Ну, а вас, разумных и ученых,—
о высокомудрые мужчины,—
вас водили за нос, как девчонок,
как детей, вас за руку влачили.

Нечего ходить с улыбкой гордой
многократно купленным за орден.
Что там толковать про смысл, про разум,
многократно проданный за фразу.

Я бывал в различных обстоятельствах,
но видна бессмертная душа
лишь в освобожденной от предательства,
в слабенькой улыбке малыша.

ГЕРОЙ

Отвоевался, отшутился,
отпраздновал, отговорил.
В короткий некролог вместился
весь список дел, что он творил.

Любил рубашки голубые,
застольный треп и славы дым,
и женщины почти любые
напропалую шли за ним.

Напропалую, наудачу,
навылет жил, орлом и львом,
но ставил равные задачи
себе — с Толстым, при этом — с Львом.

Был солнцем маленькой планеты,
где все не пашут и не жнут,
где все — прозаики, поэты
и критики —

бумагу мнут.

Хитро, толково, мудро правил,
судил, рядил, карал, марал
и в чем-то Сталину был равен,
хмельного флота адмирал,
хмельного войска полководец,
в колхозе пьяном — бригадир.
И клял и чтил его народец,
которым он руководил.

Но право живота и смерти
выходит боком нам порой.
Теперь попробуйте измерьте,
герой ли этот мой герой?

* * *

Когда эпохи идут на слом,
появляются дневники,
писанные задним числом,
в одном экземпляре, от руки.

Тому, который их прочтет
(то ли следовательно, то ли потомок),
представляет квалифицированный огчет
интеллигентный подонок.

Поступки корректируются слегка.
Мысли — очень серьезно.
«Рано!» — бестрепетно пишет рука,
где следовало бы: «Поздно».

Но мы просвечиваем портрет
рентгеновскими лучами,
смываем добавленную треть
томления и отчаяния.

И остается пища: хлеб
насушенный, хотя не единый,
и несколько недуховных потреб,
пачкающих седины.

* * *

Много было пито-едено,
много было бито-граблено,
а спроси его — немедленно
реагирует: все правильно.

То ли то, что
граблено-бито,
ныне прочно
шито-крыто?

То ли красная эта рож
больше бы покраснеть не смогла?
То ли слишком толстая кожа?
То ли слишком темная мгла?

То ли в школе плохо учили —
спорт истории предпочли?
То ли недоразоблачили?
То ли что-то недоучли?

Как в таблице умножения,
усомниться не может в себе.
Несмотря на все поношения,
даже глядя в глаза судьбе,
говорит:

- Все было правильно.
— Ну, а то, что бито-граблено?
— А какое дело тебе?

* * *

А ему — поручали унижать,
втапывать сперва,
потом дотапывать,
после окончательно затапывать
и потом — затоптанным держать.

А от этого ремесла
подходящий нрав, конечно, выработался.
Щеку разбивал он до мосла,
так, чтобы мосол из мяса вырвался.

И когда — с учетом льгот —
выправилась пенсия с надбавкою,
дома просидел он целый год
в четырех стенах
сам-друг с собакою.

Отвыкал от своего труда,
привыкал к заслуженному отдыху,
в стенку бился головой до одури,
до остервененья
иногда.

Выручало домино,
так легко объединявшее
нашу милость
с бешеностью нашею —
так легко и так давно.

Умная азартная игра
упрощала прохождение старости,
поглощала дни и вечера,
а ночами спал он от усталости.

* * *

Им казалось, что истину ведали
лишь они и никто другой,
что доказано их победами,
быстрым шагом, твердой рукой.

Им казалось, что превосходство
в ратном деле сполна, с лихвой
подтверждает их благородство
перед всей побежденной братвой.

В положение не входили —
видно, слишком слаб человек —
тех, кого они победили,
тех, над кем они взяли верх.

Не усваивали точку зрения
потуплявших пред ними взор,
от презрения и подозрения
не поддерживали разговор.

Вовсе их не интересовала
правда, истина номер два,
та, что где-то существовала
на обочине существа,

что отсиживалась, но копила,
пробавлялась, но счет вела,
та, что вскоре с жару и с пыла,
сгоряча им на смену пришла.

* * *

Активная оборона стариков,
вылазка, а если можно — наступление,
старых умников и старых дураков
речи, заявления, выступления.

Может быть, последний в жизни раз
это поколение давало
бой за право врак или прикрас,
чтобы все пребыло, как бывало.

На ходу играя кадыками,
кулачонки слабые сжимая,
то они кричали, то вздыхали,
жалуясь железно и жеманно.

Это ведь не всякому дается
наблюдать, взирать:
умирая, не сдается
и кричит рать.

* * *

Горлопанили горлопаны,
голосили свои лозунга,—
а потом куда-то пропали,
словно их замела пурга.

Кой-кого замела пурга,
кое-кто, спавши с голоса вскоре,
ухватив кусок пирога,
не участвует больше в споре.

Молчаливо пирог жует
в том углу, где пенсионеры.
Иногда кричит: «Во дает!» —
горлопанам новейшей эры.

* * *

Семь с половиной дураков
смотрели «Восемь с половиной»
и порешили: не таков
сей фильм,
чтобы пошел лавиной,
чтобы рванулся в киносеть
и ринулся к билетным кассам
народ. Его могучим массам
здесь просто нечего глядеть.

* * *

Государственных денег не жалко,
слово чести для вас не звучит
до тех пор, пока толстою палкой
государство на вас не стучит.

Вас немало еще, многовато
не внимающих речи живой.
Впрочем, палки одной, суковатой,
толстой
хватит на всех вас с лихвой.

В переводе на более поздний,
на сегодняшней, что ли, язык,
так Иван Васильевич Грозный
упрекать своих ближних привык.

Так же Петр Алексеич Великий
упрекать своих ближних привык,

разгоняя боярские клики
под историков радостный клик.

Что там пробовать метод учета,
и контроль, и еще уговор.
Ореола большого почета
палка не лишена до сих пор.

* * *

Подышал свежим
сельским кислородом.
Трость на ель вешал,
говорил с народом.

И народ веско
говорил сдуру:
Это наш Васька!
Как его раздуло!

* * *

Не мог построить верно фразу,
не думал о стихах и прозе
и не участвовал ни разу
в социологическом опросе.

«Анну Каренину» с экрана
усвоил. «Идиот» — с экрана.
Но не болела эта рана.
Читать? Ему, он думал, рано.

Нет, не талдычил он, как дятел,
строки любимого поэта.
Рубля на книги не истратил —
и думать не хотел про это.

В наброске этом моментальном,
в портрете этом социальном
ни «но» не будет, ни «однако»:
невежда, неуч был бедняга.

* * *

Был бы хорошим, но помешали.
Стал бы храбрым — не разрешили.
Волком рожденный, ходит с мышами,
серыми, небольшими.

Не услышишь, не углядишь —
перекрасясь под цвет мышинный,
сжавшись, съезжившись, как мышь,
винтиком в мышинной машине.

ДЕТАЛИ АНКЕТ

Граф не стесняется того, что граф,
и дети графа, заполняя графы
анкеты, пишут именно, что графы,
ни на йоту правду не поправ.

А дети кулаков все поголовье
овечье, и лошажье, и коровье
преуменьшают. Или просто врут.
Хоть точно знают, что напрасный труд.

Ведь есть меж небом пятым и седьмым
какое-то всевидящее око,
сказать попроще: что-то вроде бога —
туман молочный или черный дым.

Дворяне вычитали в книгах: есть!
А дети кулаков — не дочитали.
Лелеют месть,
а применяют лесть,
перевинтив в анкетах все детали.

* * *

Стыдились своих же отцов
и брезговали родословной.
Стыдились, в конце концов,
истины самой дословной.

Был столь высок идеал,
который оказывал милость,
который их одевал,
которым они кормились,
что робкая ласка семьи
и ближних заботы большие
отталкивали. Свои
для них были только чужие.

От ветки родимой давно
дубовый листок оторвался.
Сверх этого было дано,
чтоб он обнаглел и зарвался.

И в рухнувший домик отца
вошел блудный сын господином,
раскрывшимся до конца
и блудным и сукиным сыном.

Захлопнуть бы эту тетрадь,
и если б бумага взрывалась,
то поскорее взорвать,
чтоб не оставалась и малость.

Да в ней поучение есть,
в истории этой пахальной,
и падо с улыбкой печальной
прочсть ее и пречсть.

* * *

Ни стыда, ни совести, а что же?
Словно в сельской школе. Устный счет.
Нечего и спрашивать! Сечет!
Быстрый, как рефлекс, в манере дрожи.

Сопрягает, взвешивает, мерит,
применяет к собственной судьбе.
На слово же — и себе не верит.
То есть главным образом — себе.

Изредка под ложечкой пустое
место, где должна бы быть душа,
поедом его ест не спеша,
и тогда он целый день в простое.

Так же, как безногий инвалид
на штанину полую взирает,
он догадывается, что болит.
Но самокопанье презирает.
Устный счет —
не хочет. Не велит.

ЧТО ПОЧЕМ

Деревенский мальчик, с детства знавший
что почем, в особенности лихо,
прогнанный с парадного хоть взащей,
с черного пролезет тихо.
Что ему престиж? Ведь засуха
высушила насухо
полсемьи, а он доголодал,

дотянул до урожая,
а начальству возражая,
он давно б, конечно, дубу дал.

Деревенский мальчик, выпускник
сельской школы, труженик, отличник,
чувств не переносит напускных,
слов торжественных и фраз различных
Что ему? Он самолично видел
тот рожон и знает: не погрешь.
Свиньи съели. Бог, конечно, выдал.
И до зернышка сгорела рожь.

Знает деревенское дитя,
сын и внук крестьянский, что в крестьянстве
ноне не прожить: погрязло в пьянстве,
в недостатках, рукава спустя.
Кончив факультет филологический,
тот, куда пришел почти босым,
вывод делает логический
мой герой, крестьянский внук и сын:
надо позабыть все то, что надо.
Надо помнить то, что повелят.
Надо, если надо,
и хвостом и словом повилять.

Те, кто к справедливости взывают,
в нем сочувствия не вызывают.
Тех, кто до сих пор права качает,
он не привечает.
Станет стукачом и палачом
для другого горемыки,
потому что лебеду и жмыхи
ел
и точно знает что почем.

* * *

Без лести предал. Молча.
Без крику. Честь по чести.
Ему достало мочи
предать без всякой лести.

Ему хватило воли
не маслить эту кашу.
А люди скажут: «Сволочь!»
Но что они ни скажут,

ни словом, ни полсловом
себя ронять не стал он
перед своим уловом,
несчастливым и усталым.

ДОМ В ПЕРЕУЛКЕ

Проживал трудяга в общаге,
а потом в тюрьму пошел
и в тюрьме до мысли дошел,
что величие вовсе не благо.
Но амнистии вороншиловской
получил он свободу с трудом.
А сегодня кончает дом
строит, ленит --- злой и решительный.
Не великий дом --- небольшой.
Не большой, а просто крохотный.
Из облезлых ящиков сгроханный,
но с печуркой --- домовьей душой.
Он диван подберет и кровать,
стол и ровно два стула поставит,
больше двух покупать не станет,
что ему --- гостей приглашать?
Он сюда приведет жену,
все узнав про нее сначала,
чтоб любить лишь ее одну,
чтоб она за себя отвечала.
Он сначала забор возведет,
а потом уже свет проведет.
Он сначала достанет собаку,
а потом уже купит рубаху.
Всех измерив на свой аршин,
доверять и дружить зарекаясь,
раньше всех домашних машин
раздобудется он замками.
Сам защелкнутый, как замок,
на все пуговицы перезастегнутый,
нависающий, как потолок,
и приземистый, и полусогнутый.
Экономный, словно казна,
кость любую трижды огложет.
Что он хочет?
Хто його зна.
Что он может?
Он много может.

СОН — СЕБЕ

Сон после снотворного. Без снов.
Даже потрясение основ,
даже революции и войны —
не разбудят. Спи спокойно,
человек, родившийся в эпоху
войн и революций. Спи себе.
Плохо тебе, что ли? Нет, не плохо.
Улучшение есть в твоей судьбе.
Спи — себе. Ты раньше спал казне
или мировой войне.
Спал, чтоб встать и с новой силой взяться.
А теперь ты спишь — себе.
Самому себе.
Можешь встать, а можешь повалиться.
Можешь встать, а можешь и не встать.
До чего же ты успел устать.
Сколько отдыхать теперь ты будешь,
прежде чем ты обо всем забудешь,
прежде чем ты выспишь все былье...
Спи!

Постлали свежее белье.

* * *

Вот мы переехали в новые дома.
Я гляжу, гляжу, глаз не спуская:
ровная, как сельская зима,
новая архитектура городская,
одинаковая,
стандартизированная.

То ли мало было средств,
то ли дарованья не хватило —
ящики бетонные окрест,
в ящиках — бетонные квартиры,
одинаковые,
стандартизированные.

Но каков переселенный люд:
опытные старые рабочие,
служащие и — куда пошлют —
деревенщина, разнорабочие?
Одинаковые?
Стандартизированные?

Ничего стандартного в них нет,
будто с разных нескольких планет
в новые квартиры переехали
и не одинаковые
и не стандартизированные.

СТРАХ

Чего боится человек,
прошедший тюрьмы и окопы,
носивший ружья и оковы,
видавший
 новой бомбы
 сверк?

Он, купанный во ста кровях,
не понимает слово «страх».
Да, он прошел сквозь сто грязей,
в глазах ирония змеится,
зато презрения друзей
он, как и век назад,
 боится.

* * *

То ли мята,
то ли рута,
но примята
очень круто.

Словно тракторные
траки
перетапывали
травки,

а катками
паровыми
их толкали
и давили.

Скоро ли она воспрянет,
глину сохлую проклюнет,
и зеленым глазом глянет,
и на все, что было,— плюнет?

* * *

Как лучше жизнь не дожить,
а прожить

Мытому, катаному, битому,
Перебитому, но до конца недобитому,
Какому богу ему служить?
То ли ему уехать в Крым,
Снять веранду у Черного моря
И смыть волною старое горе,
Разморозить душевный Нарым?
То ли ему купить стопу
Бумаги, годной под машинку,
И все преступления и ошибки
Кидать в обидчиков злую толпу?
То ли просто вставать в шесть,
Бросаться к ящику: почта есть?
А если не принесли газеты,
Ругать советскую власть за это.
Но люди — на счастье и на беду —
Сохраняются на холоду.
Но люди, уставшие, словно рельсы,
По которым весь мир паровозы прогнал,
Принимают добра любой сигнал.
Большие костры, у которых грелись
Души

в семнадцатом году,
Взметаются из-под пепла все чаще:
Горят!

Советским людям — на счастье,
Неправде и недобру — на беду.

1961

МОСКОВСКИЕ РАБОЧИЕ

Московские рабочие не любят,
когда доклад читают по бумажке,
не чтят высокомерные замашки,
не уважают,
если кто пригубит
серьезное,
скользнет, хвостом вильнет
и дальше, вдоль по тезисам рванет.

СОВРЕМЕННОСТИК

Советские люди, по сути —
всегда на подъем легки.
Куда вы их ни суйте —
берут свои рюкзаки,
хватают свои чемоданы
без жалоб и без досад
и — с Эмбы до Магадана,
и — если надо — назад.

Каких бы чинов ни достигнул
и званий ни приобрел,
но главное он постигнул:
летит налегке орел
и — правило толковое —
смерть, мол, красна на миру.
С зернистой на кабачковую
легко переходим
икру.

Из карточной системы
мы в солнечную перебрались,
но с достижениями теми
несколько не зарвались,
и если придется наново,
охотно возьмем за труды
от черного и склеванного
колодезной до воды.

До старости лет ребята,
со всеми в мире — на ты.
Мой современник, тебя-то
не низведу с высоты.
Я сам за собою знаю,
что я, как и все, заводной
и молодежь чуждая
не расстается со мной.

* * *

Смешливость, а не жестокость,
улыбка, а не издевка:
это я скоро понял
и в душу его принял.

Я принял его в душу
и слово свое не нарушу
и, как он ни мельтеши,
не выброшу из души.

Как в знакомую местность,
вхожу в его легковесность.

Как дороге торной
внезапный ухаб простишь,
прощаю характер вздорный,
не подрываю престиж.

Беру его в товарищи,
в спутники беру —
у праздного, у болтающего
есть устремленья к добру.

ИСКУССТВО

Я посмотрел Сикстинку в Дрезденке,
не пощадил свои бока.
Ушел. И вот иду по Сретенке,
разглядываю облака.
Но как она была легка!

Она плыла. Она парила.
Она глядела на восток.
Молчали зрители. По рылу
у каждого стекал восторг.
За место не вступали в торг!

С каким-то наслаждением дельным
глазели, как летит она.
Канатом, вроде корабельным,
она была ограждена.
Не понимали ни хрена!

А может быть, и понимали.
Толковые! Не дурачки!
Они платочки вынимали
и терли яростно очки.
Один — очки. Другой — зрачки!

Возвышенное — возвышает,
парящее — вздымает вверх.
Морали норму превышает
человек. Как фейерверк
взвывается. Он — человек.

НЕУДАЧА В ЛЮБВИ

Очень просто: полюбишь и все,
и как в старых стихах излагается,
остальное — прилагается:
то и се, одним словом — все.

Неудачников в любви
не бывало, не существовало:
все несчастья выдувала
эта буря в крови.

Взрыв, доселе еще неизведанный,
и невиданный прежде обвал
и отвергнутый переживал,
и осмеянный, даже преданный.

Гибель, смерть, а — хороша.
Чем? А силой и новизною.
И как лето, полное зною,
переполнена душа.

Перелившись через край,
все ухабы твои заливает.
Неудачи в любви не бывает:
начинай,
побеждай, сгорай!

ИВАНИХИ

Как только стали пенсню давать,
откуда то взялась в России старость.
А я-то думал, больше не осталось.
Осталось.

В полусумраке кровать
двухспальная.
По полувековой
привычке
спит всегда старуха справа.
А слева спал
по мужескому праву
ее Иван,
покуда был живой.

Был мор на всех Иванов на Руси,
что с девятьсот шестого
были года,

и сколько там у бога ни проси,
не выпросила своему Ивану льготу.

Был мор на год шестой,
на год седьмой,
на год восьмой был мор,
на год девятый.
Да, тридцать возрастов войне проклятой
понадобились.
Лично ей самой.

С календарей обдергивая дни,
дивясь, куда их годы запропали,
поэтому старухи спят одни,
как молодыми вдовушками спали.

* * *

Брошенки и разводки,
вербовки, просто молодки
с бог весть какой судьбой,
кто вам будет судьей?

Вы всю мужскую работу
и женскую всю заботу,
вы все кули Земли
стащить на себе смогли.

Зимы ходили в летнем,
в демисезонном пальто,
но голубоватые ленты
носили в косах зато.

И трубы судьбы смолкают,
а флейты — вступают спеша,
и, как сухарь отмокает
в чаю, —
добрее душа.

* * *

Торопливо всхлипнула. Сдержалась —
слишком не зайти бы далеко.
Сильное как будто чувство жалость
ограничивается так легко.

И, слезинку сбросив рукавом,
с жаром неостывшим
вдруг заговорила о живом,
лишь бы не подумать о погибшем.

ВЕЧЕРНИЙ АВТОБУС

Смирно ждут автобус —
после смены все ведь, —
нехотя готовясь —
нечего поделывать —
и к тому, что тесно,
и к тому, что душно
и неинтересно,
а вот так, как нужно.

Двадцать остановок,
тридцать километров
в робах и обновах,
с хрустом карамелек,
с шорохом газетным —
плохо видно только.
Тридцать километров
вытерлим тихонько.

А в окошко тянет
запахами сада.
Может, кто-то встанет:
я, наверно, сяду.
А в окошко веет
запахами леса,
и прохладный ветер
расчудесно лезет.

И пионерлагерь
звуки горна тычет,
и последний шлягер
мой сосед мурлычет.
И все чаще, чаще
и все пуше, пуше
веет запах чащи,
веет запах пуши.
И ночное небо
лезет в дом бегучий,
и спасенья нету
от звезды падучей.

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Уверенные в себе
по краю ходят, по кромке
и верят, что в их судьбе
вовек не будет поломки.

А бедные неуверенные,
не верящие в себя,
глядят на них, как потерянные,
и шепчут: «Не судьба!»

Зарядка, холодный душ,
пробежка по зимней роще
способствует силе душ,
смотрящих на вещи проще.

Рефлексами же засденные
не знают счета минут:
в часы послеобеденные
себя на диване клянут.

Судьба, она — домоседка.
К ней надо идти самому.
Судьба, она — самоделка,
и делать ее — самому.

Судьба — только для желающих.
Ее разглядишь — сквозь дым
твоих кораблей пылающих,
сожженных тобой самим.

ЕВГЕНИЙ

С точки зрения Медного Всадника
и его державных копыт
этот бедный Ванька-Невстанька
впечатленья решил копить.

Как он был остер и толков!
Все же данные личного опыта
поверял с точки зрения топота,
уточнял с позиций подков.

Что там рок с родной стороною
ни выделял, ни вытворял —
головою, а также спиною
понимал он и одобрял.

С точки зрения Всадника Медного,
что поставлен был так высоко,
было долго не видно бедного,
долго было ему нелегко.

Сколько было пытано, бито!
Чаще всех почему-то в него
государственное копыто
было.
Он кряхтел, ничего.

Ничего! Утряслось, обошлось,
отвиселось, образовалось.
Только вспомнили совесть и жалость —
для Евгения место нашлось.

Медный Всадник, спешенный вскоре,
потрошенный Левиафан,
вдруг почувствовал: это горе
искренне. Хоть горюющий пьян.

Пьян и груб. Шумит. Озорует.
Но не помнит бывалых обид,
а горюет, горюет, горюет
и скорбит, скорбит, скорбит.

Вечерами в пивной соседней
этот бедный
и этот Медный,
несмотря на различный объем,
за столом восседают вдвоем.

Несмотря на судеб различность,
хвалят культ
и хвалят личность.
Вопреки всему,
несмотря
ни на что,
говорят: «Не зря!»

О порядке и дисциплине
Медный Всадник уже не скорбит.
Смотрит на отпечаток в глине
человеческой
медных копыт.

* * *

Бывший кондрашка, ныне инсульт,
бывший разрыв, ныне инфаркт,
что они нашей морали несут?
Только хорошее. Это — факт.

Гады по году лежат на спине.
Что они думают? — Плохо мне.
Плохо им? Плохо взаправду. Зато
гады понимают за что.

Вот поднимается бывший гад,
ныне — эпохи своей продукт,
славен, почти здоров, богат,
только ветром смерти продут.

Бывший безбожник, сегодня он
верует в бога, в чох и в сон.

Больше всего он верит в баланс.
Больше всего он бы хотел,
чтобы потомки ценили нас
по сумме — злых и добрых дел.

Прав он? Конечно, трижды прав.
Поэтому бывшего подлеца
не лишайте, пожалуйста, прав
исправиться до конца.

* * *

Отлежали свое в окопах,
отстояли в очередях,
кое-кто свое в оковах
оттомился на последях.

Вот и все: и пафосу — крышка,
весь он выдохся и устал,
стал он снова Отрепьевым Гришкой,
Лжедмитрием быть перестал.

Пафос пенсию получает.
Пафос хвори свои врачует.
И во внуках души не чает.
И земли под собой не чует.

Оттого, что жив, что утром
кофе черное медленно пьет,
а потом с размышлением мудрым
домино на бульваре забьет.

ТЕМПЕРАМЕНТЫ

Один — укажет на резон,
другой — полезет на рожон.
Один попросит на прокорм,
другой — наперекор.
А кто-то уговаривал: идите по домам!
В застенке разговаривал, на дыбу подымал.

Характер, темперамент,
короче говоря,
ходили с топорами
на бога и царя.

Ослушники и послушники,
прислужники, холопы
у сытости, у пошлости, у бар или Европы,
мятежник и кромешник, опричник, палач.

И все — в одном народе,
Не разберешь, хоть плачь.

ТАКАЯ ЭПОХА

Сколько, значит, мешков с бедою
и тудою стаскал и судою,
а сейчас ему — ничего!
Очень даже неплохо!
Отвязались от него,
потому что такая эпоха.

Отпустили, словно в отпуск.
Пропустили, дали пропуск.
Допустили, оформили допуск.

Как его держава держала,
а теперь будто руки разжала.

Он и выскочил, но не пропал,
а в другую эпоху попал.

Да, эпоха совсем другая.
А какая? Такая,
что ее ругают,
а она — потекает.

И корова своя, стельная.
И квартира своя, отдельная.
Скоро будет машина личная
и вся жизнь пойдет отличная.

* * *

Крестьянская ложка-долбленка,
начищенная до блеска.
А в чем ее подоплека?
Она полна интереса.

Она, как лодка в бурю
в открытом и грозном море,
хлебала и щи и тюрю,
но больше беду и горе.

Но все же горда и рада
за то, что она, бывало,
единственную награду
крестьянину добывала.

Она над столом несется,
губами, а также усами
облизанная, как солнце
облизано небесами.

Крестьянской еды дисциплина:
никто никому не помеха.
Звенит гончарная глина.
Ни суеты, ни спеха.

Вылавливая картошки,
печеные и простые,
звонят деревянные ложки,
как будто они золотые.

* * *

Сапожники, ах, проказники,
они на закон плюют:
сначала гуляют в праздники,
потом после праздников пьют.

Сапожники, ах, бездельники,
опять они пьяные в дым:
субботы и понедельники
пришпиливают к выходным.

Они сапоги тачают,
они молотком стучат
и многое замечают,
не уставая тачать.

В их спорах нет суесловия
и повторения книг.
Новейшая философия
начнется, быть может, с них.

СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА

Нарушители тишины
жить должны или не должны?
Ну, конечно, не очень роскошно.
Жить хоть как-нибудь все-таки можно?
Где-нибудь работать, служить.
Жить!

Был однажды уже поставлен
этот самый вопрос и решен
работягой, от шума усталым,
и его же финским ножом.

Белой ночью в Североуральске
тишина. Ни лязга, ни хряска,
и ни стуку, ни грюку. Тишь.
Что ты видишь во сне, когда спишь,
новый город на алюминии,
на бокситах,
из тех городов,
что смежают глаза свои синие
после многих тяжелых трудов?

Видишь ты, как по главной улице
над велосипедным рулем
негодяй какой-то сутулится
через всю тишину — напролом.

Он поет. Он весь город будит.
Не желает он знать ничего.
Петь еще пять минут он будет.
Жить он будет не больше того.

Улицу разбудил, переулоч.
Целой площади стало невмочь.
Голос пьяных особенно гулок
ночью. Если белая — ночь.

Жить должны или не должны
нарушители тишины?

— Не должны! — решает не спавший
после смены и час, завязавший
воровство свое с давних пор
честный труженик, бывший вор.

С финкою в руках и в кальсонах
на ногах железных, худых,
защищать усталых и сонных,
наработавшихся, немолодых
он выскакивает
и пьяному всаживает
в спину
финку
по рукоять,
и его леденит, замораживает:
— Что я сделал? Убил! Опять!

Отвратительна и тупа еще
и убийством полным-полна
та, внезапно наступающая
оглушительная тишина.

И певец несчастный склоняет
голову
на свое же седло:
тишина его наполняет
окончательно и тяжело.

В ней смешались совесть и жалость
вместе с тем, что тогда решалось:
жить должны или не должны
нарушители тишины.

МОШКА

Из метро, как из мешка,
Словно вулканическая масса,
Сыплются четыре первых класса.
Им кричат: «Мошка!»
Взрослым кажется совсем не стыдно
Ухмыляться гордо и обидно,
И не обходиться без смешка,
И кричать: «Мошка!»

Но сто двадцать мальчиков, рожденных
В славном пятьдесят четвертом,
Правдолюбцев убежденных,
С колыбели увлеченных спортом,
Улицу заполнили
Тем не менее.
Вас, наверно, мамы уронили
При рождении,
Плохо вас, наверно, пеленали.

Нас вообще не пеленали,
Мы росли просторно и легко.
Лужники, луна ли —
Все равно для нас недалеко.

Вот она, моя надежда.
Вот ее слова. Ее дела.
Форменная глупая одежда
Ей давным-давно мала.

Руки красные из рукавов торчат,
Ноги — в заменители обуви.
Но глаза, прожекторы как будто,
У ребят сияют и девчат.

Вы пока шумите и пицтите
В радостном предчувствии судьбы,
Но тираны мира,
трепещите,
Поднимайтесь,
падшие рабы.

НА «ДИКОМ» ПЛЯЖЕ

Безногий мальчишка, калечка,
неполные полчеловечка,
остаток давнишнего взрыва
необезвреженной мины,
величественно, игриво,
торжественно прыгает мимо
с лукавою грацией мима.
И — в море! Бултых с размаху!
И тельце блистает нагое,
прекрасно, как «Голая Маха»
у несравненного Гойи.

Он вырос на краешке пляжа
и здесь подорвался — на гальке,
и вот он ныряет и пляшет,
упругий, как хлыст, как нагайка.

Как солнечный зайчик, как пенный,
как белый барашек играет,
и море его оmyвает,
и солнце его обaгряет.
Здесь, в море, любому он равен.

— Плывите, посмотрим, кто дальше! —
Не помнит, что взорван и ранен,
доволен и счастлив без фальши.

О море! Без всякой натуги
ты лечишь все наши недуги.
О море! Без всякой причины
сmyваешь все наши кручины.

* * *

О первовпечатленья бытия!
Обвалом света
маленькое «я»
ослеплено
и оползнями шума
оглушено, засыпано.
Ему
приспособляться сразу ко всему
приходится.

О, как неравен бой!
Вся сложность мира борется с тобой,
весь вес,
все время
и пространство света.
Мир так огромен,
так ничтожен ты
меж глубины его и высоты,
но выхода, кроме победы, — нету.

* * *

У всех мальчишек круглые лица.
Они вытягиваются с годами.
Луна становится лунной орбитой.

У всех мальчишек жесткие души.
Они размягчаются с годами.
Яблоко становится печеным,
или мороженым,
или тертым.

У всех мальчишек огромные планы.
Они сокращаются с годами.
У кого namного.
У кого nemного.
У самых счастливых ни на йоту.

РАЗНЫЕ ФОРМУЛЫ СЧАСТЬЯ

В том ли счастье?
А в чем оно, счастье,
оборачивавшееся отчасти
зауряднейшим пирогом,
если вовсе не в том, а в другом?

Что такое это другое?
Как его трактовать мы должны?
Образ дачного, что ли, покоя?
День Победы после войны?

Или та черта, что подводят
под десятилетним трудом?
Или слезы, с которыми входят
после странствий в родимый дом?

Или новой техники чара?
Щедр на это двадцатый век.
Или просто строка из «Анчара» —
«человека человек»?

* * *

Не верю, что жизнь — это форма
существования белковых тел.
В этой формуле — норма корма,
дух из нее давно улетел.

Жизнь. Мудреные и бестолковые
деянья в ожидании добра.
Индифферентно тело белковое,
а жизнь — добра.

Белковое тело можно выразить,
найдя буквы, подобрав цифры,
а жизнь — только сердцем на дубе вырезать.
Нет у нее другого шифра.

Когда в начале утра раннего
отлетает душа от раненого,
и он, уже едва дыша,
понимает, что жизнь — хороша,

невычислимо то понимание
даже для первых по вниманию
машин, для лучших по уму.
А я и сдуру его пойму.

* * *

Бог и биология!
Глаза живые,
Плечи пологие,
Ноги кривые.
Руки! Обратите
Внимание на руки.
Это отвратительные
крюки.

Что от биологии —
Ясно: плохо.
Мало смыслю в боге я.
Но дело — в боге.

Бог — он вдунул
Душу. Он же
Сделал думы
Глубже, тоньше.

Бог, а не родители,
Бог, а не школа
И даже, видите ли,
Не годы комсомола.

Бог — это пар.
Бог — это ток.
Новый вид энергии — бог,
Бог, отучивший от водки баптистов,
а староверов — от табака,
этику твердой рукою стиснувший,
быт хватающий за бока.

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

(Элегия)

На этом кладбище простом
покрыты травкой молодой
и погребенный под крестом
и упокоенный звездой.

Лежат, сомкнув бока могил.
И так в веках пребыть должны,
кого раскол разъединил
мировоззрения страны.

Как спорили звезда и крест!
Не согласились до сих пор!
Конечно, нет в России мест,
где был доспорен этот спор.

А ветер ударяет в жезль
креста, и слышится: Бог есть!
И жезль звезды скрипит в ответ,
что бога не было и нет.

Пока была душа жива,
ревели эти голоса.
Теперь вокруг одна трава.
Теперь вокруг одни леса.

Но, словно затаенный вздох,
внезапно слышится: есть Бог!
И словно приглушенный стон:
Нет бога! — отвечают в тон.

* * *

Богу богово полагалось,
но не столько и не так.
Полагалась самая малость,
скажем, в кружку — медный пятак.

Бог же — все холмы под храмы
и под веру — души и троны,
не оставив людям ни грамма.
Он с иконы проник в законы.

Отделяя от государства
церковь, ей уменьшая объем
и лишая ее полцарства,
мы последний шанс ей даем:

мир иной и, конечно, лучший
оборудовать на небеси.
Этот раз — последний случай
для религии на Руси.

ПОКА ЕЩЕ ВСЕ НИЧЕГО

Если слово «нехорошо!»
останавливает поступки —
значит, все еще хорошо
и судьбы короткие ступки
в дверь твою и в твоё окно
и в ворота твоей эпохи
означают все равно,
что дела покуда неплохи.
Если, что там ни говори,
не услышат и не исполнят
«Бей!» — приказ
и приказ «Бери!»,
значит, что-то они еще помнят.

Вот когда они все забудут,
все запомнят до конца,
бить и брать
все что надо будут,
начиная с родного отца,
вот когда они будут готовы
все поставить как есть на места,
вовсе не с Рождества Христова
числа в календарях лета,
вот когда переменятся даты
и понятия: честь, лесть и месть —
настоящие будут солдаты!
Что ни скажут — ответят: «Есть!»

* * *

Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать,
Надо проверять — и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.

Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и денег
К жизненному опыту
Не принадлежат.

НОЧЬЮ В МОСКВЕ

Ночью тихо в Москве и пусто.
Очень тихо. Очень светло.
У столицы, у сорокоуста,
звуки полночью замело.

Листопад, неслышимый в полдень,
в полночь прогремит как набат.
Полным ходом, голосом полным
трубы вечности ночью трубят.

Если же проявить терпенье,
если вслушаться в тихое пенье
проводов, постоять у столба,
можно слышать, что шепчет судьба.

Можно слышать текст телеграммы
за долами, за горами
нелюбовью данной любви.
Можно уловить мгновенье
рокового звезд столкновенья.
Что захочешь, то и лови!

Ночью пусто в Москве и тихо.
Пустота в Москве. Тишина.
Дня давно отгремела шутиха.
Допылала до пепла она.

Все трамваи уехали в парки.
Во всех парках прогнали гуляк.
На асфальтовых гулких полях
стук судьбы, как слепецкая палка.

* * *

Кричали и нравоучали.
Какие лозунги звучали!
Как сотрясали небеса
Неслышанные словеса!

А надо было — тише, тише,
А надо было — смехом, смехом.
И — сэкономились бы тыщи
И — все бы кончилось успехом.

ХВАЛА ГУЛЛИВЕРУ

Чем хорош Гулливер?
Очевидным, общепонятным
поворотом судьбы? Тем, что дал он всемирный
пример?
Нет, не этим движением, поступательным
или попятным,
замечателен Гулливер.

Он скорее хорош тем, что, ветром судьбины
гонимый,
погибая, спасаясь, погибнув и спасшись опять,
гнул свое!
Что ему там ни ржали гуингны,
как его бы ни путала лилипутская рать.

Снизу вверх — на гиганта,
сверху вниз — на пигмея
глядя,
был человеком всегда Гулливер,
и от счастья мужая,
и от страха немея,
предпочел навсегда
человеческий только
размер.

Мы попробовали
микрокосмы и макрокосмы,
но куда предпочтительней —
опыт гласит и расчет —
золотого подсолнечника
желтые космы,
что под желтыми космами
золотого же солнца
растет.

МЫ И ТЕХНИКА

Как грачи приладились к трактору,
к однократному и многократному
персеборонованью полей,
так и нам:

техника
все милей.

Эти электровычислительные,
зуборезные эти станки
нам дороже,
чем умильные
камыши
у излуки реки.

Ближе
даже, чем птичка у кустика.
трактор,
важно берущий подъем:
вот вам — оптика.
Вот — акустика.
Вслед за ними и мы поклеем.

В общем, сделано дело.
Что там
переделывать?
Я не чужой
тем долготам, широтам.
К частотам
прикипел я тоже душой.

О БОРЬБЕ С ШУМОМ

Надо привыкнуть к музыке за стеной,
к музыке под ногами,
к музыке над головами.
Это хочешь не хочешь, но пребудет со мной,
с нами, с вами.

Запах двадцатого века — звук.
Каждый миг старается, если не вскрикнуть —
скри

Остается одно из двух —
привыкнуть или погибнуть.

И привыкает, кто может,
и погибает, кто
не может, не хочет, не терпит, не выносит,
кто каждый звук надкусит, поматросит и бросит.
Он и погибнет зато.

Привыкли же, притерпелись к скрипу земной оси!
Звездное передвижение нас по ночам не будит!
А тишины не проси.
Ее не будет.

НАСЛЕДСТВО

Кому же вы достались,
онегинские баки?
Народу, народу.

А гончие собаки?
Народу, народу.

А споры о поэзии?
А взгляды на природу?
А вольные профессии?
Народу, народу.

А благостные храмы?
Шекспировские драмы?
А комиков остроты?
Народу, народу.

Онегинские баки
усвоили пижоны,
а гончие собаки
снимаются в кино,
а в спорах о поэзии
умнеют наши жены,
а храмы — под картошку
пошли
и под зерно.

* * *

Цветы у монумента. Чьи цветы?
Кто их принес? Народ или начальство?
Я проявляю дерзость и нахальство
и спрашиваю: чьи цветы?

Конечно, Пушкин любопытен был,
ему занятно, что эстетский пыл
проявлен по решению Моссовета
(А что такое Моссовет? —
безмолвно любопытствует поэт,
приемля подношение это).

Но трогательнее тот неловкий дар,
в котором красных роз сухой пожар
горит из банки огуречной
не долговечною любовью — вечной!

* * *

Кайсыну Кулиеву

Поэты малого народа,
который как-то погрузили
в теплушки, в ящики простые
и увозили из России,
с Кавказа, из его природы
в степя, в леса, в полупустыни,—
вернулись в горные аулы,
в просторы снежно-ледяные,
неся с собой свои баулы,
свои коробья лубяные.

Выпроваждали их с Кавказа
с конвоем, чтоб не убежали.
Зато по новому приказу —
сказали речи, руки жали.
Поэты малого народа —
и так бывает на Руси —
дождались все же оборота
истории вокруг оси.

В ста эшелонах уместили,
а все-таки — народ! И это
доказано блистаньем стиля,
духовной силою поэта.
А все-таки народ! И нету,
когда его с земли стирают,
людского рода и планеты:
полбытия

они теряют.

На уровне либретто оперного,
а также для народа опиума
история, все ее тома:
она унижает себя сама.
История начинается с давностью,
с падением страха перед клюкой
Ивана Грозного

и полной сданностью
его наследия в амбар глухой,
в темный подвал, где заперт Малюта,
а также опричная метла —
и, как уцененная валюта,
сактированы и сожжены дотла.

* * *

Разговор был начат и кончен Сталиным,
нависавшим, как небо, со всех сторон
и, как небо, мелкой звездой заставленным
и пролетом ангелов и ворон.

Потирая задницы и затылки
под нависшим черным Сталиным,
мы
из него приводили цитаты и ссылки,
упасаясь от ссылки его и тюрьмы.

И надолго: Хрущевых еще на десять —
это небо будет дождить дождем,
и под ним мы будем мерить и весить,
и угрюмо думать, чего мы ждем.

ПРОБА

Еще играли старый гимн
Напротив места лобного,
Но шла работа над другим
Заместо гимна ложного.
И я поехал на вокзал,
Чтоб около полуночи
Послушать, как транзитный зал,
Как старики и юноши —
Всех наций, возрастов, полов,
Рабочие и служащие,
Недавно не подняв голов

Один доклад прослушавшие,—
Воспримут устаревший гимн;
Ведь им уже объявлено,
Что он заменится другим,
Где многое исправлено.
Табачный дым над залом плыл,
Клубился дым махорочный.
Матрос у стойки водку пил,
Занюхивая корочкой.
И баба сразу два соска
Двум близнецам тянула.
Не убирая рук с мешка,
Старик дремал понуро.
И семечки на сапоги
Лениво парни лускали.
И был исполнен старый гимн,
А пассажиры слушали.
Да только что в глазах прочтешь?
Глаза-то были сонными,
И разговор все был про то ж,
Беседы шли сезонные:
Про то, что март хороший был,
И что апрель студень,
Табачный дым над залом плыл —
Обыденный, буденный.
Матрос еще стаканчик взял —
Ничуть не поперхнулся.
А тот старик, что хмуро спал,
От гимна не проснулся.
А баба, спрятав два соска
И не сходя со стула,
Двоих младенцев в два платка
Толково завернула.
А мат, который прозвучал,
Неясно что обозначал.

ЧАС ГАГАРИНА

Из многих портретов,
зимовавших и летовавших,
что там! можно сказать, вековавших,
обязательно уцелеют
лишь немногие. Между ними
обязательно — Юрий Гагарин.

Час с минутами старый и малый,
черный с белым, белый с красным
не работали, не отдыхали,
а следили за этим полетом.
В храмах божьих, в молельнях, кумирнях
за Гагарина били поклоны,
и хрустели холеные пальцы
академиков и министров.

Палачи на час с минутами
прекратили свое палачество,
и пытаемые шептали
в забыты:

а как там Гагарин?

Вдруг впервые в истории мира
образовалось единство:
все хотели его возвращенья,
и никто не хотел катастрофы.

Этот час с минутами вписан
во все наши жизнеописанья.
Мы на час с минутами стали
старше, нет, скорее, добрее,
и смелее, и чем-то похожи
на Гагарина.

А значки с его улыбкой
продавались на всех континентах,
и, быть может, всемирное братство
начинается с этой улыбки.

ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ

Духовые оркестры на дачных курзалах
И

на вдаль провожающих войско

вокзалах,

Громычайте, трубите, тяните свое!
Выдавайте по пуду мажора на брата
И по пуду минора —
Если боль и утрата.
Выдавайте что надо,
Но только свое.

Мы — поправим, наладим, отладим,
будем пыль из старья колотить
и проценты, быть может, заплатим.
Долг не сможем ни в жисть заплатить.

Улучшается все, поправляется,
с ежедневным заданьем справляется,
но задача, когда-то поставленная,—
нерешенная, как была,
и стоит она — старая, старенькая,
и по-прежнему плохи дела.

* * *

На экране — безмолвные лики
И бесшумные всплески рук,
А в рядах — справедливые крики:
Звук! Звук!
Дайте звук, дайте так, чтобы пело,
Говорило чтоб и язвило.
Слово — половина дела.
Лучшая половина.

Эти крики из задних и крайних,
Из последних темных рядов
Помню с первых, юных и ранних
И незрелых моих годов.
Я себя не ценю за многое,
А за это ценю и чту:
Не жалел высокого слога я,
Чтоб озвучить ту немоту,
Чтобы рявкнули лики безмолвные,
Чтоб великий немой заорал,
Чтоб за каждой душевной молнией
Раздавался громов хорал.

И безмолвный еще с Годунова,
Молчаливый советский народ
Говорит иногда мое слово,
Применяет мой оборот.

* * *

Большинство — молчаливо.
Конечно, оно суетливо,
говорливо и, может быть, даже крикливо,

но какой шум и крик им ни начат,
ничего он не значит.

В этом хоре солисты
решительно преобладают:
и поют голосисто,
и голосисто рыдают.

Между тем знать не знающее ничего
большинство,
не боясь впасть в длинноту,
тянет однообразную ноту.

Голосочком своим,
словно дождичком меленьким сея,
я подтягивал им,
и молчал, и мычал я со всеми.
С удовольствием слушая,
как поют наши лучшие,
я мурлыкал со всеми.

Сам не знаю зачем,
почему, по причине каковской
вышел я из толпы
молчаливо мычавшей московской
и запел для чего
так, что в стеклах вокруг задрожало,
и зачем большинство
молчаливо меня поддержало.

* * *

Был печальный, а стал печатный
Стих.

Я строчку к нему приписал.
Я его от цензуры спасал.

Был хороший, а стал отличный
Стих.

Я выбросил только слог.
Большим жертвовать я не смог.
НЕ — две буквы. Даже не слово.
НЕ — я снял. И все готово.
Зачеркнешь, а потом клянeshь

Всех создателей алфавита.
А потом живeshь деловито,
Сыто, мыто, дуто живeshь.

* * *

Лакирую действительность —
Исправляю стихи.
Перечесь — удивительно —
И смирны и тихи.
И не только покорны
Всем законам страны —
Соответствуют норме!
Расписанью верны!

Чтобы с черного хода
Их пустили в печать,
Мне за правдой охоту
Поручили начать.

Чтоб дорога прямая
Привела их к рублю,
Я им руки ломаю,
Я им ноги рублю,
Выдаю с головою,
Лакирую и лгу...

Все же кое-что скрою,
Кое-что сберегу.
Самых сильных и бравых
Никому не отдам.

Я еще без поправок
Эту книгу издам!

ЗНАЕШЬ САМ!

Хорошо найти бы такое «я»,
чтоб отрывисто или браво
приказало мне бы: «Делай, как я!» —
но имело на это право.

Хорошо бы, морду отворотив
от обычных реалий быта,
увидать категорический императив —
звезды те, что в небо вбиты.

Хорошо бы, вдруг глаза отведя
от своих трудов ежедневных,
вдруг найти вожатого и вождя,
даже требовательных и гневных.

Хорошо, что такое «хорошо»
где-нибудь разузнать наверно,
как оно глубоко, высоко, широко —
чтобы не поступать неверно.

Впрочем, что апеллировать к небесам?
Знаешь сам. Знаешь сам. Знаешь сам.
Знаешь сам.

* * *

Умирают мои старики —
Мои боги, мои педагоги,
Пролагатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.

Вы, прикрывшие грудью наш возраст
От ошибок, угроз и прикрас,
Неужели дешевая хворость
Одолела, осилила вас?

Умирают мои старики,
Завещают мне жить очень долго,
Но не дольше, чем нужно по долгу,
По закону строфы и строки.

Угасают большие огни
И гореть за себя поручают.
Орден не дождался они —
Сразу памятники получают.

РУБИКОН

Нас было десять поэтов,
не уважавших друг друга,
но жавших друг другу руки.

Мы были в командировке
в Италии. Нас таскали
по Умбри и Тоскане

на митинги и приемы.
В унылой спешке банкетов
мы жили — десять поэтов.

А я был всех моложе
и долго жил за границей,
и знал, где что хранится,

в котором городе — площадь,
и башня в которой Пизе,
а также в которой мызе

отсиживался Гарибальди,
и где какая картина,
и то, что Нерон — скотина.

Старинная тарахтелка —
автобус, возивший группу,
но гиды веско и грубо

и безапелляционно
кричали термины славы.
Так было до Рубикона.

А Рубикон — речонка
с довольно шатким мосточком.
— Ну что ж, перейдем пешочком,

как некогда Юлий Цезарь, —
сказал я своим коллегам,
от спеси и пота — пегим.

Оставили машину,
шестипудовое брюхо
Прокофьев вытряхнул глухо,
и любопытный Мартынов,
пошире глаза раздвинув,
присматривался к Рубикону,
и грустный, сонный Твардовский
унылую думу думал,
что вот Рубикон — таковский,

а все-таки много лучше
Москва-река или Припять
и очень хочется выпить,
и жадное любопытство
лучилось из глаз Смирнова,
что вот они снова, снова

ведут разговор о власти,
что цезарей и сенаты
теперь вспоминать не надо.

А Рубикон струился,
как в первом до РХ веке,
журча, как соловейка.

И вот, вспоминая каждый
про личные рубиконы,
про преступленья закона,
ритмические нарушенья,
внезапные находки
и правды обнаруженье,
мы перешли речонку,
что бормотала кротко
и в то же время звонко.
Да, мы перешли речонку.

* * *

Иностранные корреспонденты
выдавали тогда патенты
на сомнительную, на громчайшую,
на легчайшую — веса пера —
славу. Питую полную чашею.
Вот какая была пора.

О зарницы, из заграницы
озарявшие вас от задницы
и до темени.

О зарницы
в эти годы полной занятости.

О овации, как авиация,
громыхающие над Лужниками.
О гремучие репутации,
те, что каждый день возникали.

О пороках я умолкаю,
а заслуга ваша такая:
вы мобилизовали в поэзию,
в стихолюбые в те года
возраста, а также профессии,
не читавшие нас никогда.
Вы зачислили в новобранцы
не успевших разобраться,
но почувствовавших новизну,
всех!

Весь город!

Всю страну!

* * *

Меня не обгонят — я не гонюсь.
Не обойдут — я не иду.
Не согнут — я не гнусь.
Я просто слушаю людскую беду.

Я гореприемник, и я вместительней
Радиоприемников всех систем,
Берущих все — от песенки обольстительной
До крика — всем, всем, всем.

Я не начальство: меня не просят.
Я не полиция: мне не доносят.
Я не советую, не утешаю.
Я обобщаю и возглашаю.

Я умечаю в краткие строки —
В двадцать плюс-минус десять строк —
Семнадцатилетние длинные сроки
И даже смерти бессрочный срок.

На все веселье поэзии нашей,
На звон, на гром, на сложность, на блеск
Нужен простой, как ячная каша,
Нужен один, чтоб звону без.
И я занимаю это место.

* * *

Я, словно Россия в Бресте,
был вынужден отступить,
а вы, на моем-то месте,
как стали бы поступать?

Я, словно Россия в ту пору,
знал, что сполна плачу,
но скоро, довольно скоро
с лихвой свое получу,

на старые выйду границы
и всех врагов изгоню,
а в памяти — пусть хранится,
как раза по три на дню

глаза дураки мне колют,
обходят меня стороной.
Они еще отмолят
свое торжество надо мной.

* * *

Где-то струсил. Когда — не помню.
Этот случай во мне живет.
А в Японии, на Ниппоне,
В этом случае бьют в живот.

Бьют в себя мечами короткими,
Проявляя покорность судьбе,
Не прощают, что были робкими,
Никому. Даже себе.

Где-то струсил. И этот случай,
Как его там ни назови,
Солью самую злой, колючей
Оседает в моей крови.

Солит мысли мои, поступки,
Вместе, рядом ест и пьет,
И подрагивает, и постукивает,
И покоя мне не дает.

* * *

Уменья нет сослаться на болезнь,
таланту нет не оказаться дома.
Приходится, перекрестившись, лезть
в такую грязь, где не бывать другому.

Как ни посмотришь, сказано умно —
ошибок мало, а достоинств много.
А с точки зренья господа-то бога?
Господь, он скажет все равно: «Говно!»

Господь не любит умных и ученых,
предпочитает тихих дураков,
не уважает новообращенных
и с любопытством чтит еретиков.

АЗБУКА И ЛОГИКА

Сказавший «А»
сказать не хочет «Б».
Пришлось.
И вскоре по его судьбе
«В», «Г», «Д», «Е»
стучит скороговорка.

Арбузная
«А» оказалась корка!
Когда он поскользнулся, и упал,
и встал, он не подумал, что пропал.
Он поскользнулся,
но он отряхнулся,
упал, но на ноги немедля встал
и даже думать вовсе перестал
об этом.
Но потом опять споткнулся.
Какие алфавит забрал права!
Но разве азбука всегда права?
Ведь простовата
и элементарна,
и виновата
в том, что так бездарно
то логикой, а то самой судьбой
прикидывается пред честным народом.
Назад! И становись самой собой!
Вернись в букварь, туда, откуда родом!
По честной формуле «свобода воли»
свободен, волен я в своей судьбе
и самолично раза три и боле,
«А» сказанув, не выговорил «Б».

* * *

Пошуми мне, судьба, Расскажи,
до которой дойду межи.
Отзови ты меня в сторонку,
дай прочесть мою похоронку,
чтобы точно знал: где, как,
год, месяц, число, место.
А за что, я знаю и так,
об этом рассуждать неуместно.

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли
Мы,
что следовало нам бы!

Впрочем, как ни нарастало трение
В механизме, с шествием годов —
Никогда не подводило зрение:
Видеть был всегда готов.

Изумлялись лучшие врачи.
Говорили: всё лечи,
Кроме глаз, глаза, как телескопы,
Видят хорошо и далеко.

Зрение поставлено толково,
Прямо в корень смотришь, глубоко.

Слуху никогда не доверял,
Обонянию не верил,
Осязаньем не злоупотреблял:
На глазок судил, рядил и мерил.

Ежели увижу — опишу
То, что вижу, так, как вижу.
То, что не увижу, — опущу.
Домалевыванья ненавижу.
Прожил жизнь. Образовался этакий
Впечатлений зрительных

навал.

Всю свою нехитрую эстетику
Я на том навале основал.

* * *

Сосредоточусь. Силы напрягу.
Все вспомню. Ничего не позабуду.
Ни другу, ни врагу
Завидовать ни в чем не буду.

И — напишу. Точнее — опишу.
Нет — запишу магнитофонной лентой
Все то, чем в грозы летние дышу,
Чем задыхаюсь зноем летним.

Магнитофонной лентой будь, поэт,
Скоросшивателем входящих. Стой на этом.
Покуда через сколько-нибудь лет
Не сможешь в самом деле стать поэтом.

Не исправляй действительность в стихах,
Исправь действительность в действительности,
И ты поймешь, какие удивительности
Таятся в ежедневных пустяках.

НЕПРИВЫЧКА К СОЗЕРЦАНИЮ

Не умел созерцать. Все умел: и глядеть, и заглядывать,
видеть, даже предвидеть, глазами мерцать,
всматриваться, осматриваться,

вздохом охватывать

горизонт.

Все умел.

Не умел созерцать.

Не хватало спокойствия, сосредоточенности.

Не хватало умения сжаться и замереть.

Не хватало какой-то особой отточенности,

заостренности способа

видеть, глядеть и смотреть.

И у тихого моря с его синевой миротворною,

и у бурного моря с его стоэтажной волной

остальная действительность

с дотошностью вздорною

не бросала меня,

оставалась со мной.

А леса, и поля, и картины импрессионистов,

и снега, застилавшие их своей белой тоской,

позабыть не заставили,

как, обречен и неистов,

вал морской

разбивался о берег морской.

Я давал себе срок, обрекая на повиновение

непоспешному времени,

но не хватало меня.

Я давал себе век, но выдерживал только мгновение.

Я давал себе год,

не выдерживал даже и дня.

И в итоге итогов

мне даже понравилась

населявшая с древности эти места

суета,

что со мною боролась и справилась,

одолевшая, победившая меня суета.

ПРОЩАНИЕ

Уходящая молодость.
Медленным шагом уходящая
молодость,

выцветшим флагом
слабо машущая над седой головой.
Уходя,
она беспрерывно оглядывается:
что там делается?
И как у них складывается?
Кто живой?
Кто среди них уже полуживой?

Говорят, уходя — уходи.
В этом случае
уходя — не уйти будет самое лучшее.
Уходя — возвратиться, вернуться
назад.

Уходящая и шаги замедляющая,
все кусты по дороге цепляющая
уходящая молодость!
Вымерзший сад!

* * *

От человека много сору
и мало толку,
и я опять затею ссору,
пусть втихомолку,
и я опять затею свару
с самим собою,
с усердно поддающей жару
своей судьбою.

По улице пройду и стану
жестиковать,
судьбу свою я не устану
то регулировать,
то восхвалять, то обзывать,
и даже с маху
с себя ее поспешно рвать,
словно рубаху.

ДОПИНГИ

Алкоголь, футбол и Христос
остаются в запасе.

Я не пью, не болею, не верю.

Черный день можно высветлить алкоголем,
если он не поможет — Христом и футболом.

Замирание сердца, томление страсти,
что присущи Христу, алкоголю, футболу,
я еще не испробовал ни разу.

Если выгонят из дому, остаются
превосходные воздушные замки,
те, что строят футбол и Христос с алкоголем.

Вера, водка, азарт — три допинга мира
крови мне не горячили ни разу.

Не молился, не пил, не дрожал на трибуне.

Эти три сухаря, три бинта, три рублевки —
до сих пор в неприкосновенном запасе.

СПОСОБНОСТЬ КРАСНЕТЬ

Ангел мой, предохранитель!
Демон мой, ограничитель!
Стыд — гонитель и ревнитель,
и мучитель, и учитель.

То, что враг тебе простит,
не запомнит стыд.

То, что память забывает,
не запомнит срам.
С ним такого не бывает,
точно говорю я вам.

Сколько раз хватал за фалды!
Сколько раз глодал стозевно!
Сколько раз мне помешал ты —
столько кланяюсь я земно!

Я стыду-богатырю,
сильному, красивому,
говорю: благодарю.
Говорю: спасибо!

Словно бы наружной совестью,
от которой спасу нет,
я горжусь своей способностью
покраснеть как маков цвет.

ДИЛЕММА

Застрять во времени своем,
как муха в янтаре,
и выждать в нем иных времен —
получше, поясней?

Нет, пролететь сквозь времена,
как галка на заре
пересекает всю зарю,
не застревая в ней?

Быть честным кирпичом в стене,
таким, как вся стена,
иль выломаться из стены,
пройдя сквозь времена?

Быть человеком из толпы,
таким, как вся толпа,
и видеть, как ее столпы
мир ставят на попа?

А может, выйти из рядов
и так, из ряду вон,
не шум огромных городов,
а звезд услышать звон?

С орбиты соскочив, звезда,
навек расставшись с ней,
звенит тихонько иногда,
а иногда — сильней.

* * *

Будто ветер поднялся,
до костей пробрали
эти клятвы всех и вся
в верности морали.

Все-таки чему верны?
Не традициям войны
и не кровной мести —
совести и чести.

Это все слова, слова,
но до слез задело,
но кружится голова.
Слово тоже дело.

* * *

Значит, можно гнуть. Они согнутся.
Значит, можно гнать. Они — уйдут.
Как от гнуса, можно отмахнуться,
зная, что по шее — не дадут.

Значит, если взяться так, как следует,
вот что неминуемо последует:
можно всех их одолеть и сдюжить,
если только силы поднатужить,
можно всех в бараний рог скрутить,
только бы с пути не своротить.

Понято и к исполнению принято,
включено в инструкцию и стих,
и играет силушка по жилушкам,
напрягая, как веревки, их.

* * *

Тайны вызывались поименно,
выходили, сдержанно сопя,
словно фокусник в конце сезона,
выкладывали публике себя.

Тайны были маленькие, скверненькие.
Каялись они навзрыд,
словно шлюхи с городского скверика,
позабывшие про срам и стыд.

Тайны умирали и смердели
сразу.

Словно умерли давно.

Люди подходили и смотрели.

Людям было страшно и смешно.

* * *

С любопытством, без доброжелательства
наблюдаю обстоятельства
жизни тех, кого зовут счастливыми
с их вполне спокойной совестью,

с красными от счастья лицами
и железной выдержкой пред новостью,
каковой она бы ни была.
До чего у вас, счастливицы,
хорошо идут дела!
До чего вы, счастливицы, счастливы!
До чего вам некуда спешить!
Вороха несчастья и напраслины
до чего вам неохота ворошить.

* * *

Имущество создает преимущества
в питье, еде,
в житье, беде.
Зато временами лишает мужества.
Ведь было мужество, а ноне где?
Барахло, носильные вещи,
движимое и недвижимое барахло,
поглядывая на тебя зловеще,
убеждает признать зло.

БЮСТ

Презрения достойный
холопский род людской.
Он любит, когда им правят
только железной рукой.

Он любит, когда его топчут
только чугунной ногой.
Он корчится и ликует,
блаженный, нищий, нагой.

Из стали нержавеющей
был этот бюст отлит,
которому не долговечная,
а вечная жизнь предстоит.

Его везли по Памиру
на ишаках во вьюках,
а после альпинисты
тащили его на руках.

Памир — это Мира Крыша,
гласит преданье само,

и нет на Памире выше
пика,

чем пик Гармо.
Гармо переименовали.
Бюст вмерз в лед —
из нержавеющей стали,
которую любит народ.

Но вечность в двадцатом веке —
лет пять, не больше шести.

И новые альпинисты
с приказом новым в пути.

Они должны низвергнуть
нержавеющий бюст.
Они вернулись с известием,
что пик — пуст.

Когда-нибудь обнаружится,
что, собственно, произошло:
обвалом ли бюст засыпало,
лавинной ли сталь снесло.

А может быть, старого стиля
был альпинистов вожак,
и бюст переместили,
укрыли. Бывает и так.

Но род людской
воздвигнуть
смог,
низвергнуть — не смог
тот бюст.

На это подвигнуть
не смог
его бы
и бог.

А вечность в двадцатом веке,
как и в другом любом, —
навек, навек, навек,
хоть бейся об стену лбом.

* * *

Единогласные голосования,
и терпеливые колесования
голосовавших не едино,

и непочтенные седины,
и сочетания бесстрашия
на поле битвы
с воздетыми, как для молитвы,
очами (пламенно бесстыжие),
с речами (якобы душевные),
и быстренькие удушения
инаковыглядающих, инако
глядающих, слышащих и дышащих.
В бою бесстрашие, однако,
готовность хоть на пулеметы,
хоть с парашютом.
Не сопрягается, не вяжется,
не осмысляется, не веруется.
Еще нескоро слово скажется
о том, как это дело делается.

ВСКРЫТИЕ МОЩЕЙ

Когда отвалили плиту —
смотрели в холодную бездну —
в бескрайнюю пустоту —
внимательно и бесполезно.

Была пустота та пуста.
Без дна была бездна, без края,
и бездна открылась вторая
в том месте, где кончилась та.

Так что ж, ничего? Ни черта.

Так что ж? Никого? Никого —
ни лиц, ни легенд, ни событий.

А было ведь столько всего:
надежд, упований, наитий.
И вот — никого. Ничего.

Так ставьте скорее гранит,
и бездну скорей прикрывайте,
и тщательнее скрывайте
тот нуль, что бескрайность хранит.

* * *

Нынче много умных и спокойных
и — вполне сознательно — покорных.
Да! Осознают необходимость,
признают ее непобедимость,

объявляют, что она — свобода,
и о прославлении хлопочут.
Если человек не для субботы,
то суббота знать о том не хочет.

У субботы мощные устои
и огромные права,
и она всегда права,
и качать свои права
дело вовсе не простое.

Та теория, которая была
руководством к действию,
словно бы воспоминаньем детства,
мертвым грузом в книжном шкафе залегла.

* * *

Человек на развилке путей
Прикрывает газетой глаза,
Но куда он свернет,
Напечатано в этой газете.

То ли просто без всяких затей,
То ли в виде абстрактных идей,
Но куда он свернет,
Напечатано в этой газете.

Он от солнца глаза заслонил.
Он давно прочитал и забыл.
Да, еще на рассвете.

На развилке пред ним два пути,
Но куда ему все же идти,
Напечатано в этой газете.

ИЗДЕРЖКИ ПРОГРЕССА

За привычку летать
люди платят отвычкою плавать,
за привычку читать
люди платят отвычкою слушать,
и чем громче
у телевиденья слав
тем известность
радиовещанья
все глуше.

Достиженье
и постиженье,
падая на чашку весов,
обязательно вызывают стяженье
поясов.

И приходится стягивать
так, что далее некуда.
Можно это оплакивать,
но обжаловать некуда.

ТАКАЯ ЭПОХА

В наше время, в такую эпоху!
А — в какую? Не то чтобы плохо
И — не шибко живет человек.

Сколько было — земли и неба
Под ногами, над головой.
Сколько было — черного хлеба
И мечты, как всегда, голубой.

Не такая она такая,
А такая она, как была.
И груженую тачку толкая,
Мы не скоро дойдем до угла.

Надо ждать двадцать первого века
Или даже дальнейших веков,
Чтоб счастливому человеку
Посмотреть в глаза без очков.

* * *

Бреды этого года
слушаю из окна.
Звонко кричит сумасшедшая —
умная очень она!

Вовсе не умалишенная,
просто сошла с ума,
видимо, очень большого,
просто сошла сама.

Слушаю страстные клики,
кто ее враг, кто друг.
Эти вопли велики
так же, как жизнь вокруг.

В этом кривом зеркале
точно отражено
все, что перекорезили,
все, что перековеркали,
а все, что мы за год прожили,—
видится заодно.

* * *

Долголетье исправит
все грехи лихолетья:
И Ахматову славят,
кто стегал ее плетью.

Все случится и выйдет,
если небо поможет.
Долгожитель увидит
то, что житель не сможет.

Не для двадцатилетних,
не для юных и вздорных
этот мир, а для древних,
для эпохоупорных,

для здоровье блюдущих,
некурящих, непьющих,
только в ногу идущих,
только в урны плюющих.

МОЛЧАЩИЕ

Молчашие. Их много. Большинство.
Почти все человечество — молчашие.
Мы — громкие, шумливые, кричащие,
не можем не учитывать его.

О чем кричим — того мы не скрываем.
О чем,
о чем,
о чем молчат они?
Покуда мы проносимся трамваем,
как улица молчащая они.

Мы — выяснились,
с нами — все понятно.
Покуда мы проносимся туда,
покуда возвращаемся обратно,
они не раскрывают даже рта.

Покуда жалобы по проводам идут
так, что столбы от напряжения гнутся,
они чего-то ждут. Или не ждут.
Порою несколько минут
прислушиваются.
Но не улыбнутся.

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

Впервые людской истории
у каждого есть история.
История личная эта
называется — анкета.
Как Плутарх за Солона,
описываешь сам
и материнское лоно,
и дальнейший взлет к небесам.
Берешь этот листочек,
где все меньше вопросов,
и тонкие линии точек
покрываешь словами.
Ежели в грядущем
человечество соскучится,
оно прочитает
твои ответы,
а ежели в грядущем
человечество озябнет,
оно истопит
анкетами печку.

ЦВЕТНОЕ БЕЛЬЕ

Белье теперь не белое.
Оно — разноцветное.
И рваное и целое,
по всем дворам развешанное,
оно — не белоснежное,
не стая лебедей.
Белье теперь смешанное
у нынешних людей.

Старинная знакомая
мне рассказала как-то,
конечно, пустяковые,
но, между прочим, факты.
В том городишке, где она
работала давно,
белье смотреть ходили,
когда не шло кино.

— И что ж, вам было весело?

— Да, в общем, потрясающе.

Директорша развесила
свои чулки свисающие.
Врачихины заплаты
журчали, как ручей,
о том, что зарплаты
нехватка у врачей.

А белая сорочка
как будто в небе плавала.

А черная сорочка
являла облик дьявола.

А майки и футболки!

А плавки и трусы!

А окладки и оборки
изысканной красы!

Две старые рубахи
заплаты открывали.

Как старые рубаки,
махали рукавами.

Одна была вязкая,
другая просто синяя,
одна была роскошная,
другая просто стильная.

Поселок невеселый
без полуфабрикатов,
без разных разносолов —
поселок Африканда.

Лесистые болота,
тяжелая работа,
нелегкое житье.

И вдруг — белье!

И вдруг — все краски радуги.
Душа, пожалуйста, радуйся!

И мне понятно, ясно
житье, бытие, былье
и почему прекрасно
висящее белье.

НОВОСТИ В МЕНЮ

Свежемороженое жарят:
и плоть и лед
с верхом сковороду завалят,
и дым не вскорости пройдет.

Свежемороженого дымом
чадит, коптит,
льдом жареным дымит родимым
и нагоняет аппетит.

Подпрыгивает на металле
то рыба хек, то рыба сиг.
Еще вчера икру метали.
Сейчас обед из малых сих.

Свежемороженого чад,
несвежий смрад свежемороженого,
с верхом наложенного,
и ложки в котелках звучат.

Свежемороженое сплошь
свежезажаренным становится.
Ешь — не хочу,
ешь сколько хошь
гастрономические новости
и редкости: пример — кальмар,
капуста, например, морокая,
гурманским вкусам потакая,
свой чад, свой аромат, свой жар,
свой вклад в сберкассу вкусов вносят,
авоськами их в кухни вносят
и жарят тоже на авось,
поскольку небольшие цены,
и, чуда-юда, марш на сцену!
Захочешь — ешь!
Не хочешь — брось!

СУДЬБА

Где-то в небе летит ракета.
Если верить общей молве,
отношение имеет это
между прочим — к моей судьбе.

Побывала судьба — политикой.
Побывала — газетной критикой.
Побывала — большой войной.
А теперь она — вновь надо мной.

А сейчас она — просто серая,
яйцевидная, может быть,
и ее выпускают серией.
Это тоже нельзя забыть.

А ракеты летят, как стаи
журавлей или лебедей,
и судьба — совсем простая,
как у всех остальных людей.

КНОПКА

Довертелась земля до ручки,
докрутилась до кнопки земля.
Как нажмут — превратятся в тучки
океаны
и в пыль — поля.

Вижу, вижу, чувствую контуры
этой самой, секретной комнаты.
Вижу кнопку. Вижу щит.
У щита человек сидит.

Офицер невысокого звания —
капитанский как будто чин,
и техническое образование
он, конечно, не получил.

Дома ждут его, не дождутся.
Дома вежливо молят мадонн,
чтоб скорей отбывалось дежурство,
и готовят пирамидон.

Довертелась земля до ручки,
докрутилась до рычага.
Как нажмут — превратится в тучки.
А до ручки — четыре шага.

Ходит ночь напролет у кнопки.
Подойдет. Поглядит. Отойдет.
Станет зябко ему и знобко..
И опять всю ночь напролет.

Бледно-синий от нервной трясучки,
голубой от тихой тоски,
сдаст по описи кнопки и ручки
и поедет домой на такси.

А рассвет, услышавший несмело,
что он может еще рассветать,
торопливо возьмется за дело.
Птички робко начнут щебетать,

набухшая почка треснет,
на крылечке скрипнет доска,
и жена его перекрестит
на пороге его домка.

* * *

Будущее, будь каким ни будешь!
Будь каким ни будешь, только будь.
Вдруг запомнюешь нас, забудешь.
Не оставь, не брось, не позабудь.

Мы такое видели. Такое
пережили в поле и степи!
Даже и без воли и покоя
будь каким ни будешь! Наступи!

Приходи в пожарах и ознобах,
в гладе, в зное, в холоде любом,
только б не открылся конкурс кнопок,
матч разрывов, состязанье бомб.

Дай работу нашей слабосилке,
жизнь продли. И — нашу. И — врагам.
Если умирать, так пусть носилки
унесут. Не просто ураган.

* * *

Не ведают, что творят,
но говорят, говорят.
Не понимают, что делают,
но все-таки бегают, бегают.

Бессмысленное толчение
в ступе — воды,
и все это в течение
большой беды!

Быть может, век спустя
интеллигентный гот,
образованный гуни
прочтет и скажет: пустяк!
Какой неудачный год!
Какой бессмысленный гул!

О чем болтали!
Как чувства мелки!
Уже летали
летающие тарелки!

* * *

Интересные своеобразные люди
приезжают из Веси, и Мери, и Чуди,
приспосабливают свой обычай
к современным законам Москвы
или нрав свой волчий и бычий
тащат, не склонив головы.
И Москва, что гордилась и чудом и мерой,
проникается Чудью и Мерей.
Вся Москва проникается Весью
от подвалов и до поднебесья.
И из этой смеси
в равной мере Москвы и Веси,
в равной мере
Москвы и Мери
возникает чудо
из Москвы и Чуди.

* * *

Расставляйте покрепче локти-ка,
убирайте подальше лапти-ка,
здесь аптека, а рядом оптика,
фонарей и витрин галактика.

Разберитесь, куда занесло
вас, с побасками и фольклором,
избяным, неметеным сором:
это — город, а не село.

Это — город. Он — большой.
Здесь пороки свои и пророки.
Здесь с природой и с душой
не прожить. Нужна сноровка.

Это — город. Взаимная выручка
растерявшихся хуторян
не заменит личной выучки,
если кто ее растерял.

Если кто ее не приобрел,
замечтавшись и засмотревшись,
хоть степной, но все ж не орел,
хоть и конный, а все же пеший.

* * *

Очень редкий ныне в городе,
очень резкий запах в городе —
запах конского навоза,
дух свежайшего дерьма.
Это вам уже не проза,
а поэзия сама.

Едет небоскребов мимо
парожонный фаэтон
и закладывает мины
деревенские
в бетон.

И они уже дымятся,
эти круглые шары.
Кони в городе томятся
и выходят из игры.

Улепетывают вскачь
из столичной круговерти
мимо пригородных дач
эти звери, эти черти.

Их уже в помине нет,
но еще дымится след.

* * *

Дрянь, мразь, блядь —
Существительные-междометья
Стали чаще употреблять.
Так и слышишь — хлещут, как плетью.

Слово — в морду! Слово — плевок,
Слово — деготь, ворота мажущий,
Слово — палец открыто кажущий,
А не просто — легкий кивок.

Мразь, гля, фря —
Это вам не словесная пря,
Это вам кулачная драка
И клеймо человеческого брака.

Слово — слог. Единственный слог.
На тебе то, что мне не надо.
Двух слогов или, скажем, трех
Слишком много для этого гада.

Так газообразная злоба
(Это я давно разглядел)
Превращается в жидкое слово
В ожидании твердых дел.

СОВЕСТЬ

Начинается повесть про совесть.
Это очень старый рассказ.
Временами едва высовываясь,
совесть глухо упрятана в нас.
Погруженная в наши глубины,
контролирует все бытие.
Что-то вроде гемоглобина.
Трудно с ней, нельзя без нее.
Заглушаем ее алкоголем,
тешем, пилим, рубим и колем,
но она на распил, на распыл,
на разлом, на разрыв испытана,
брита, стрижена, бита, пытана,
все равно не утратила пыл.

* * *

Подписи собирают у тех,
кто бы охотнее выдал деньгами.

Это же не для потех и утех
в шуме и гаме
вдруг услышать тишину.

В тишине,
тихой, как заводь:
— Кто ты?
— Куда ты?
— На чьей стороне?
Подпись поставить.

* * *

Останусь со слабыми мира сего,
а сильные мира сего —
пускай им будет тепло и сытно,
этим самым сильным.

Со слабыми мира сего пропишусь
и с добрыми мира.
А злые мира сего, решусь
сказать,
мне вовсе не милы.

Я выпишусь. Я снимусь с учета,
с того, где я между сильных учтен.
Я вычеркну в ихней книге почета
имя мое среди ихних имен.

У слабых мира сего глаза
никого не хотят сверлить.
А сильные мира сего — лоза,
всегда готовая гнуться и бить.

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ НЕУДАЧА

Крепко надеясь на неудачу,
на неуспех, на не как у всех,
я не беру мелкую сдачу
и позволяю едкий смех.

Крепко веря в послезавтра,
твердо помню позавчера.
Я не унижусь до азарта:
это еще небольшая игра.

А вы играли в большие игры,
когда на компасах пляшут иглы,
когда соборы, словно заборы,

падают, капителями пыля,
и полем,
ровным, как для футбола,
становится городская земля?

А вы играли в сорокаградусный
мороз в пехоту, вжатую в лед,
и крик комиссара, нервный и радостный:
За родину! (И еще кой за что!) Вперед!

Охотники, рыбаки, бродяги,
творческие командировщики с подвешенным
языком,

а вы тянули ваши бодяги
не перед залом, перед полком?

* * *

Поэт растет не как дерево,
поэт растет как лес,
выдерживает порубку
и зеленеет снова,
поскольку оно без плоти,
поскольку без телес
наше вечнозеленое слово.

Поэт выдерживает даже забвенье,
даже всеобщее молчанье.
Слово его еще увереннее,
когда оно отчаяннее.

Когда ты в расчете с самим собой
и расплатился с собой до рубля —
стой неизбежно, как собор,
под которым вся земля.
Стойко стой, ничуть не горбясь,
не шатаясь на ветру.
Смело стой, как стрелковый корпус,
вся страна за которым в тылу.

БОЯЗНЬ СТРАХА

До износу — как сам я рубахи,
до износу — как сам я штаны,
износили меня мои страхи,
те, что смолоду были страшны.

* * *

Инфаркт, инсульт, а если и без них
устану я от истин прописных,
от правды и от кривды ежедневной
и стану злой, замученный и нервный?
Как ось — погнусь, как шина — изотрусь,
поскольку слишком безгранична Русь
и нас — от самосвалов до такси —
гоняют слишком часто по Руси.
Легковики — мы на ноги легки.
Мы, грузовозы, груз любой свезем
и только с грузом грусти и тоски
не одолеем, не возьмем подъем.
Давайте же повеселеем вдруг,
чтоб впредь нигде, никак не горевать
и не заламывать тоскливо рук,
в отчаяньи волос не рвать.
Давайте встанем рано поутру,
не будем делать ровно ничего,
а просто станем на таком ветру,
чтоб сдул несчастья — все до одного.
Давайте, что ли, Зоценку читать,
давайте на комедию пойдем,
но только чтобы беды не считать,
душевный снова пережить подъем.

ПЛАСТИНКА

Долго играет долгоиграющая,
долго, словно поездка на долгих.
Дол и гора еще.
Дол и гора еще.
Долго.

Музыка — как по ухабам и рытвинам
путь:

без края, конца, предела.
Тонким, режущим душу, бритвенным
голосом
женщина что-то пела.

Впрочем, не важно, что такое,
были бы звуки — острые, резкие.
Точное чувство покоя
вдруг возникает в начале поездки.

Вдруг возникает и не оставляет
в медленном, словно вращенье земное,
в медленном ходе пластинки. Цепляет
что-то меня. Уходит со мною.

Музыка за руку провожает.
Словно колесами переезжает.

РАБОТА НАД СТИХОМ

Чтоб значило и звучало,
чтоб выражал и плясал,
перепишу сначала
то, что уже написал.

Законченное перекорежу,
написанное перепишу,
как рожу — растворожу,
как душу — полузадушу,

но доведу до кондиций,
чтоб стал лихим и стальным,
чтоб то, что мне годится,
годилось всем остальным.

* * *

Поэзия — обгон, но не товарищей,
а времени, и, значит, напряжение,
все провода со всех столбов срывающиеся,
и с ног до головы — вооружение.

Маршал Толбухин одевал бойцов
в пуленепробиваемые латы.
А вы что думали?

А для баллады
не то ли требуется
в конце концов?

Поэзия должна быть тяжела,
как скоростной, как турбореактивный,
который волочит свои крыла
сквозь облака, как рыба через тину.

Громоздкими поэмы быть должны.
В наш век скорей всего летят громады,
а запахи у них и ароматы —
словно у пашни, фабрики, войны.

Чтобы лететь легко и далеко,
казаться нужно медленным и тяжким,
разрывам и разломам и растяжкам
не подлежащим,

чтоб лететь легко.

* * *

Меня переписали знатоки
и вызубрили, пользуясь тетрадкой,
теперь мне нужно, чтобы дураки
мурлыкали меня с улыбкой сладкой.

Теперь меня интересует песенка,
поскольку это интересный жанр,
складной и портативный, словно лесенка.
Приставь и полезай хоть на пожар.

Пусть перезабудутся слова,
до времени погаснув и состарясь,
была бы та мелодия жива,
сбережена про черный день, на старость.

* * *

Несколько стихов — семь, десять.
Несколько грехов — дай бог память.
Это и стоит учесть, взвесить,
вычесть или прибавить.

То, что ел, то, где спал,
то, как чуть было не пропал
в самом конце конца —
не стоит выеденного яйца.

А стихи — их будут люди читать.
А грехи — они будут душу томить.
А что там есть и где там спать,
этим нечего анкеты темнить.

ПСЕВДОНИМЫ

Когда человек выбирал псевдоним
Веселый,
Он думал о том, кто выбрал фамилию
Горький.

А также о том, кто выбрал фамилию
Бедный.
Веселое время, оно же светлое время,
С собой привело псевдонимы
Светлов и Веселый.
Но не допустило бы
снова назваться
Горьким и Бедным
Оно допускало фамилию
Беспощадный,
Но не позволяло фамилии
Безнадежный.

Какие люди брали тогда псевдонимы,
Фамилий своих отвергая унылую
ветошь!
Какая эпоха уходит сейчас вместе
с ними!
Ее пожаром, Светлов,
ты по-прежнему светишь.

...Когда его выносили из клуба
Писателей, где он проводил полсуток,
Все то, что тогда говорилось, казалось
глупо,
Все повторяли обрывки светловских
шуток.

Он был острословьем самой серьезной
эпохи,
Был шуткой тех, кому не до шуток было.
В нем заострилось время, с которым
шутки плохи,
В нем накалялось время
до самого светлого пыла.

Не много мы с ним разговаривали
разговоров,
И жили не вместе, и пили не часто,
Но то, что не видеть мне больше
повадку его и норов,—
Большое несчастье.

МОЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМКА

Тело душу тешило сперва,
а теперь тащу его едва.
После не мешало духу тело,
а теперь все это пролетело.

Словно тачку доверху груженную,
я толкать перед собой готов

нервную систему, пораженную
усталю. Тяжелый груз годов.
Нервная система перегружена
отмененной карточной системой.
А потом — почти разрушена
вспокоенной солнечной системой.

Что-то вроде труб и проводов,
под землю городов идущих,
соединенных ржавчиной годов,
от подземных вод — гудущих.

Это моя нервная системка.
Вот и все. Хоть головой об стенку.

АВТОМАТ

Покатился гривенник по желобу,
по тому, откуда не сойти,
предопределенному, тяжелому
пути.

Он винты какие-то задел
и упал в подставленную сетку,
вытолкнув — таков его удел —
газетку.

Прочитав ее, по своему
желобу я покатился вяло
и не удивлялся ничему
нимало.

СУДЬБА

Судьба — как женщина-судья,
со строгостью необходимой.
А перед ней — виновный я,
допрошенный и подсудимый.

Ее зарплата в месяц — сто,
за все, что было, все, что будет,
а также за меня — за то,
что судит и всегда осудит.

Усталая от всех забот —
домашних, личных и служебных,
она, как маленький завод
и как неопытный волшебник.

Она чарует и сверлит,
она колдует и слесарит,
то стареньким орлом орлит,
то шумным ханом — государит.

А мне-то что? А я стою.
Мне жалко, что она плохая,
но бедную судьбу мою
не осуждаю и не хаю.

Я сам подкладываю тол
для собственного разрушенья
и перегнувшись через стол,
подсказываю ей решенья.

ОТЕЧЕСТВО И ОТЧЕСТВО

— По отчеству, — учил Смирнов Василий, —
их распознать возможно без усилий!

— Фамилии сплошные псевдонимы,
а имена — ни охнуть, ни вздохнуть,
и только в отчествах одних хранимы
их подоплека, подлинность и суть.

Действительно: со Слуцкими князьями
делю фамилию, а Годунов —
мой тезка, и, ходите ходуном,
Бориса Слуцкого не уличить в изъяне.

Но отчество — Абрамович. Абрам —
отец, Абрам Наумович, бедняга.
Но он — отец, и отчество, однако,
я, как отчество, не выдам, не отдам.

Вроде что мне равнодушие зала?
Мир меня рассудит, а не зал.
Что мне, что бы чтица ни сказала?
Я еще не все сказал.

Но она ресницы поднимает.
Но она плечами пожимает.

* * *

Черным черное именую. Белым — белое.
Что черно — черно. Что бело — бело.
Никому никаких уступок не делаю,
не желаю путать добро и зло.

Поведения выработанная линия
не позволит мне, хоть хнычь, хоть плачь,
применить двусмысленное, красно-синее,
будь то карандаш. Будь то даже мяч.

Между тем весь мир написан смешанными
красками. И устойчива эта смесь.
И уже начинают считать помешанными
тех, кто требует, чтоб одноцветен был весь.

И, наверно, правильнее и моральнее
всех цветов, колеров и оттенков марание,
свалка, судорога, хоровод всех цветов.
Только я его оценить не готов.

НА САМЫЙ ВЕРХ

Правила — и старые и новые —
хороши и могут стать основой,
но чтобы вершить или решать,
хорошо их нарушать.

Правила страшат и вызывают,
если надо, то сшибают с ног.
Но бывает — сверху вызывают,
с верха самого — с небес — звонок.

И тогда, не соблюдая строго
правил, прорубаясь сквозь леса,
сам торишь широкую дорогу
вверх,
на самый верх,
на небеса.

* * *

Дар — это дар.
Не сам — а небесам
обязан я. И тот, кто это дал,
и отобрать назад имеет право.
Но кое-что я весело и браво
без помощи чужой проделал сам.

ЧИТАТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОЭТА

Читатель отвечает за поэта,
Конечно, ежели поэт любим,
Как спутник отвечает за планету
Движением
и всем нутром своим.

Читатель — не бессмысленный кусок
Железа,
в беспредельность пущенный.
Читатель — спутник,
И в его висок
Без отдыха стучится жилка Пушкина.

Взаимного, большого тяготения
Закон
не тягостен и не суров.
Прекрасно их согласное движение.
Им хорошо вдвоем среди миров.

МОЛОДЯТА

Я был молод в конце войны,
но намного меня моложе
были те, кто рождены
на пять, на шесть, на семь лет позже.

Мне казалось: на шестьдесят.
Мне казалось: на полстолетья,
пережившие лихолетье,
старше мы вот тех, молодят.

Мне казалось, что как в штабах,
как в армейских отделах кадров —
месяц за год — и все! Табак!
Крышка! Кончено! Бью вашу карту!

Между тем они подросли,
преимуществ моих не признали,
доросли и переросли,
и догнали и перегнали.

Оказалось: у них дела.
Оказалось: у них задачи,
достиженья, победы, удачи,
а война была — и прошла.

* * *

Скамейка на десятом этаже,
к тебе я докарабкался уже,
домучился, дополз, дозадохнулся,
до дна черпнул, до дыр себя сносил,
не пожалел ни времени, ни сил,
но дотянулся, даже прикоснулся.

Я отдохну. Я вниз и вверх взгляну,
я посижу и что-нибудь увижу.
Я посижу, потом рукой махну —
тихонько покарабкаюсь повыше.
Подъем жесток, словно дурная весть,
И снова в сердце рвется каждый атом,
но, говорят, на этаже двадцатом
такая же скамейка есть.

* * *

Жалкой жажды славы не выкажу —
ни в победу, ни в беду.

Я свои луга
еще выкошу.
Я свои алмазы —
найду.

Честь и слава. Никогда еще
это не было так далеко.
Словно сытому с голодающим,
им друг друга понять нелегко.

Словно сельский учитель пения,
сорок лет голоса ищущий.
И поганую доблесть терпения,
как лимон — в горшке ращу.

* * *

Завяжи меня узелком на платке.
Подержи меня в крепкой руке.
Положи меня в темь, в тишину и в **тень**,
На худой конец и про черный день.
Я — ржавый гвоздь, что идет на гроба.
Я сгожусь судьбине, а не судьбе.
Покуда обильны твои хлеба,
Зачем я тебе?

СКВОЗЬ МУТНОЕ СТЕКЛО ОКНА

В окне — четыре этажа,
быть может, двадцать биографий
просвечивают, мельтеша,
сквозь стекла и сквозь ткань гардин
всем блеском разноцветных граней.

Их описатель я — один.
Да, если я не разберусь
сквозь ливня полосу косую,
их радость канет, сгинет грусть,
их жизнь пройдет зазря и всуе,
промчится неотражена,
замрет, отдышит невоспета.
Напрасно мужа ждет жена,
напрасно лампа зажжена,
и все напрасно без поэта.

Куплю подзорную трубу
и посвящу себя труду
разглядыванья, изученья
и описанья. Назначенье
свое, стезю свою, судьбу
в соседских окнах я найду.

* * *

Человечество — смешанный лес,
так что нечего хвою топорщить
или листья презрительно морщить:
все равны под навесом небес.

Человечество — общий вагон.
Заплатили — входите, садитесь.

Не гордитесь. На что вы годитесь,
обнаружит любой перегон.

Человечество — кинотеатр.
С правом входа во время сеанса,
также с правом равного шанса
досмотреть. Умеряйте азарт.

Пререканья и разногосье
не смолкают еще до сих пор.
Получается все-таки хор.
Мы шумим, но как в поле колосья.

ВЫПАДЕНИЕ ОТ ОТЧАЯНИЯ

Впал в отчаяние, но скоро выпал.
Быстро выпал, хоть скоро впал.
И такое им с ходу выдал,
что никто из них не видал.

Иронически извиняется,
дерзко смотрит в лицо врагам,
и в душе его угомоняется
буря чувств, то есть ураган.

Он не помнит, как руки ломал,
как по комнате бегал нервно.
Он глядит не нервно, а гневно.
Он уже велик, а не мал.

ПОРТНЯЖКА И ХРАБРОСТЬ

Чем становился старше портняжка,
тем становилось портняжке тяжело,
руки ныли, спина немела,
белее мела лицо бледнело.

Был бы этот портняжка рсбкий,
выбило б из ситуации
пробкой.

Только ему репутация храбрости
не позволяла выказать слабости.

Раз обозвали храбрым портного
и называли снова и снова,
а называние, именованье
очень организует сознание.

Станешь храбрым на самом деле,
если семь раз назовут на неделе.
Храбрым и в самом деле стал он,
но одновременно стал усталым.

...Все-таки весело было и мило
в слабости демонстрировать силу,
браться за гуж и казаться дюжим,
так что об этом портняжке — не тужим.

НИКИФОРОВНА

Дослужила старуха до старости,
а до пенсии — не дожидала.
Небольшой не хватило малости:
документик один не нашла.

Никакой не достался недостаток
ей на жизни самый остаток.
Все скребла она и мела
и, присаживаясь на лавочку,
на скамеечку у дверей,
про затерянную справочку —
ох, найти бы ее поскорей —
бестолково вслух мечтала,
а потом хватала метлу
или старый веник хватала,
принималась скрести в углу.

Все подружки ее — в могиле.
Муж — убит по пьянке зазря.
Сыновья ее — все погибли.
Все разъехались — дочеря.
Анька даже письма не пишет,
как там внучек Петя живет!

И старуха на пальцы дышит:
зябко, знобко!
И снова метет.
Зябко, знобко.
Раньше зимою
было холодно,
но давно
никакого июльского зноя
не хватает ей все равно.
Как бы там ни пекло — сї мало.

Даже валенок не снимала,
но директор не приказал.
— Тапочки носите! — сказал.

Люди — все хорошие. Яблочко
секретарша ей принесла,
а директор присел на лавочку
и расспрашивал, как дела.
Полумесячную зарплату
дали премию в Новый год.
Все равно ни складу, ни ладу.
Старость, слабость
скребет, метет.
Люди добрые все, хорошие
и сочувствуют: как житье? —
но какую-то темной порошею
запорошивает ее.

Запорошивает, замечает,
отмечает ее ото всех,
и ей кажется,
что не тает
даже в августе
зимний снег.

СЫН НЕГОДЯ

Дети — это лишний шанс.
Второй —
Данный человеку богом.

Скажем, возвращается домой
Негодяй, подлец.
В дому убогом
Или в мраморном дворце —
Мальчик повисает на отце.

Обнимают слабые ручонки
Мощный и дебелый стан.
Кажется, что слабая речонка
Всей душой впадает в океан.

Я смотрю. Во все глаза гляжу —
Очень много сходства нахожу.

Говорят, что дети повторяют
Многие отцовские черты.

Повторяют! Но — и растворяют
В реках нежности и чистоты!

Гладит по головке негодяй
Ни о чем не знающего сына.
Ласковый отцовский нагоняй
Излагает сдержанно и сильно:
— Не воруй,
Не лги
И не дерись.
Чистыми руками не берись
За предметы грязные.

По городу
Ходит грязь.
Зараза — тоже есть.
Береги, сыночек, честь.
Береги, покуда есть.
Береги ее, сыночек, смолоду...

Смотрят мутные его глаза
В чистые глаза ребенка.
Капает отцовская слеза
На дрожащую ручонку.

В этой басне нет идей,
А мораль у ней такая:
Вы решаете судьбу людей?
Спрашивайте про детей,
Узнавайте про детей —
Нет ли сыновей у негодяя.

* * *

Художнику хочется, чтобы картина
Висела не на его стене,
Но какой-то серьезный скотина
Торжественно блеет: «Не-е-е...»

Скульптору хочется прислонить
К городу свою скульптуру,
Но для этого надо сперва отменить
Одну ученую дуру.

И вот возникает огромный подвал,
Грандиозный чердак,
Где до сих пор искусств навал
И ярлыки: «Не так».

И вот возникает запасник, похожий
На запасные полки,
На Гороховец, что с дрожью по коже
Вспоминают фронтовики.

На Гороховец Горьковской области
(Такое место в области есть),
Откуда рвутся на фронт не из доблести,
А просто, чтоб каши вдоволь поесть.

БЕЗЗЛОВНАЯ РУГАНЬ

«Дура ты психическая!» Эта ругань
с детства не забылась.
Говорилось не от злости —
от любви и страсти.

И еще — от века меланхолии,
словно ископаемые кости,
возгласы: «Ах вы, малохольные!
Где вам уберечься от напасти!»

Нет, сентиментальности привиться
в сих микрорайонах невозможно.
Нечего изображать провидца!
В этом отношеньи все же можно.

Вот он, потолок сентиментальности —
если вместо пошлости и сальности
слышится душевное и сердобольное,
ласковое, ироническое:
«Дура ты психическая!
Дура малохольная!»

* * *

Отрывисто разговаривал,
все «Да!» и «Нет!» повторял
и словно бы — выговаривал,
и вроде — не одобрял.
Он прежде — как будто рассказывал.
А нынче — как будто приказывал,
как будто бы в телефон
давал указания он.

Повыгладил, поуспокоился
изрядно мятый пиджак,
повыкатился из-под пояса
литой наливной пузьяк.

Коронки высокой пробы
на зубы гнилые надел,
а в дуплах — новые пломбы.
Хватало все-таки дел.

Он жил с единственным стулом,
худым маргарином пропах,
а нынче — его костюмам
тесно в его шкафах.

Вставал с единственным страхом,
что ляжет голодным спать,
а нынче — его рубашам
тесно его облекать.

Не знаю, какую задачу
он ставит себе теперь.
Желаю ему удачи.
Не веришь? Ну что ж — проверь.

* * *

Человек подсчитал свои силы,
перерыл кошелек и суму.
От небесной, мучительной сини
стало ясно и просто ему.

Не удачу, а неудачу
демонстрирует верный итог.
Не восполнить ему недостачу:
захотел бы и все же не смог.

Он не только не может — не хочет
дело делать, слова лопотать.
Пусть отныне кто хочет хлопочет.
Он не станет теперь хлопотать.

От последней решительной ясности
начихать ему на опасности,
и какое-то — вроде тепла
наполняет сосуды и вены,
оттого что была и сплыла
жизнь.
Сплыла, как обыкновенно.

* * *

Интеллигентные дамы плачут, но про себя,
боясь обеспокоить свое родство и соседство,
а деревенские бабы плачут и про себя,
и про все человечество.

Оба способа плача по-своему хороши,
если ими омоется горькое и прожитое.
Я душе приоткрытой полузакрытой души
не предпочитаю.

Плачьте, дамы и женщины, или рыдайте
всерьез.
Капля моря в слезинке, оба они соленые.
Старое и погрязшее смойте потоками слез,
всё остудите каленое.

КОНЦЕРТ В ГЛУБИНКЕ

Пока столичные ценители
впивают мелос без конца,
поодаль слушают певца,
народных песен исполнителя,
здесь проживающие жители:
казах в железнодорожном кителе,
киргиз с усмешкой мудреца
поодаль слушают певца.

Им текст мелодии нужней,
а что касается мелодии,
она живет в своем народе и
народ легко бытует в ней.

Понятно им, что не понятно
для кратковременных гостей.
Что приезжающим понятно,
их пробирает до костей.

Убога местная эстрада
и кривобочка без конца,
но публика и этой рада:
поодаль слушает певца.

А он, как беркут на ладони,
на коврике своем сидит,
пока стреноженные кони
жуют траву. Он вдаль глядит,

и струны он перебирает,
и утирает пот с лица.
А он поет. А он играет.
А те, чей дух в груди спирает,
поодаль слушают певца.

* * *

Охапкою крестов, на спину взваленных,
гордись, тщеславный человек,
покуда в снег один уходит валенок,
потом другой уходит в снег.

До публики ли, вдоль шоссе стоящей,
до гордости ли было бы, когда
в один соединила, настоящий,
все легкие кресты твои
беда.

Он шею давит,
спину тяготит.
Нельзя нести
и бросить не годится.
А тяжесть — тяжкая,
позорный — стыд,
и что тут озираться и гордиться!

* * *

Начальник обидел, а я психанул:
он требовал, чтобы я козырнул
и стал бы по стойке смирно,
и все обошлось бы мирно.

Он требовал то, что положено, но
мне все, что положено, было давно
до лампочки, то есть обрыдло,
как тыквенное повидло.

Начальник вскипел, а я не смолчал,
ругаться начал начальник,
а я права свои качал,
как сумасшедший чайник.

Вот так и пошло, понесло, повело,
крутило и закрутило,
покуда сюда донесло, довело
меня, такого кретина.

Вот так и живу. Вспоминаю Москву:
стоит как живая, совсем наяву,
и даже обиды нету,
а хочется в «Форум», и в ЦУМ, и в ГУМ,
и в гул, и в шум,
и с той планеты, где живу,—
в Москву — родную планету.

ОТЕЦ

Я помню отца выключающим свет.
Мы все включали, где нужно,
а он ходил за нами и выключал, где можно,
и бормотал неслышно какие-то соображения
о нашей любви к порядку.

Я помню отца читающим наши письма.
Он их поворачивал под такими углами,
как будто они таили скрытые смыслы.
Они таили всегда одно и то же —
шутейные сентенции типа
«здоровье — главное!».

Здоровые,
мы нагло писали это больному,
верящему свято
в то, что здоровье —
главное.

Нам оставалось шутить не слишком долго.

Я помню отца, дающего нам образование.
Изгнанный из второго класса
церковноприходского училища
за то, что дерзил священнику,
он требовал, чтобы мы кончали
все университеты.

Не было мешка,
который бы он не поднял,
чтобы облегчить нашу ношу.

Я помню, как я приехал,
вызванный телеграммой,
а он лежал в своей куртке —
полувоенного типа —
в гробу — соснового типа,—
и когда его опускали
в могилу — обычного типа,—

темную и сырую,
я вспомнил его
выключающим свет по всему дому,
разглядывающим наши письма
и дающим нам образование.

ПРОСТУПАЮЩЕЕ ДЕТСТВО

Просматривается детство
с поры настоящего детства
и до впадения в детство.

Повадки детские эти
видны на любом портрете
за века почти две трети:
робости повадки,
радости повадки,
резкости повадки.

Не гаснут и не тают.
По вечной своей программе
все время словно взлетают
игрушечными шарами.

Покуда Ване Маня
не скажет на смертном ложе:
я умираю, Ваня,—
услышав в ответ:
я тоже.

* * *

Неопознанным ОПояЗ'ом
жужжит студкружок, собравшись
в кружок.

Тесно, плотно им опоясан
старичок, их вождек, их дружок.

Он идею генерирует,
пересказывает мысль свою,
а кружок дрожит, вибрирует
и жужжит, как пчелы в рою.

Медоносен ли их взяток?
Сколько их? Неполный десяток.
Но они источают ток,
он и мощен, и нов, и сладок.

Может, с легкого этого знания
сонм наук расширится вдруг.
Может, только для воспоминания
пригодится студенческий круг.

* * *

Пуговицы позастегнувши плотно,
еле успевши разок взглянуть,
юность решает бесповоротно,
зная,
что сможет еще повернуть.

Пуговицы, где возможно, ослабивши,
до одного перепробовав клавиши,
старость решает бесповоротно,
словно усталый решает — заснуть.

ПОМОГАЙ, КТО МОЖЕТ

Помогать хоть по разу, хоть по одному,
не отказывать, если не в дружбе, то в займе.
Помогать то суму поднести, то тюрьму
перенести, помогать, а не хлопать глазами.
Человек звучит гордо, покуда ему
этот звук не глушат, не размочат слезами.

Очень сложно, неясно и даже темно,
если все непонятно. Понятно одно:
если можешь помочь — помогай, сколько сможешь.
Помогай! Если помощь на завтра отложишь,
все равно — не сегодня, так завтра поможешь,
отказать не сумеешь ему — все равно.

НЕ СОВСЕМ

Уничтоженный унижением,
а не просто уничтожением,
иногда поднимается все же
и грозитя им всем, им всем,
кто унизил его, уничтожа,
полагая, что насовсем.

У униженного,
у растоптанного,
оклеветанного,

ошептанного,
как заветный
божий дар,
остается
ответный
удар.

Остается горько-соленый,
кисло-сладкий
привкус во рту
и — надежды листик зеленый,
устремляющийся в высоту.

ВОТ ЕЩЕ!

Старые мужья со старой песнею,
будто нету лучших тем,
старые мужья гордятся тем,
как они выслуживали пенсию.

Старые мужья,
бия
в грудь свою,
седую и худую,
говорят: война, а я не дую
в ус!
И вновь: и я! И я! И я!

Старые мужья идут на рать.
Старым женам пенсий не положено.
Разговаривая по-хорошему,
надо все сготовить и убрать.
Надо дом вести
и в том числе
этого сердитого, сварливого,
переваливающегося по земле,
охающего
и почти счастливого.

Старая жена через плечо
кротко молвит: «Вымыл бы посуду!» —
«Что? Посуду? Ни за что не буду.
Выдумала, вот еще».

* * *

Старухи, как черепахи,
на солнышке греют бока.
Раскинулись на солнцепеке
и радуются, пока
солнышку не жалко:
лишний луч не в счет —
мегеру или весталку
все равно припечет,
колдунью или шалунью
равно огреет лучом.
А солнышку не жалко.
Все ему нипочем.

А я в богатстве и бедности,
как солнышко,
 быть учусь
и равнодушной щедрости
у него учусь.
Ленивой терпеливости
и благородству чувств,
безжалостной справедливости
я у него учусь.

* * *

Трагедии редко выходят на сцену,
а те, кто выходит, знает цену
себе. Это Гамлет или король
Лир, и актер, их текст докладывающий,
обычно мастер, душу вкладывающий
в заглавную, в коронную роль.

Меня занимают иные драмы,
в которых величия нет ни грамма,
которые произносит простак,
хорошей роли не получивший
и рюмкой боли свои полечивший,
не царь, не бог, а просто так.

Не тысячесвечовая рампа —
настольная трехрублевая лампа,
не публика премьер, а жена
услышит сетования пространные,
трагические, комические, странные.
Жена, жена, она одна.

Дед — он лично со мной говорил,
даже книжку мне подарил,
книжку, а до этого дудочку
и еще однажды — удочку.
Хорошо бы пройти по следу:
кто же
все же
предшествовал деду?

А куда мы сами — предки!
Тьма — до нас.
Рассветает сейчас!
И древнее, чем древние греки,
наши предки все — для нас.

СТАРОЕ СИНЕЕ

Громяхая костями,
но спину почти не горбят,
в старом лыжном костюме
на старом и пыльном Арбате
в середине июля,
в середине московского лета —
Фальк!
Мы тотчас свернули.
Мне точно запомнилось это.

У величья бывают
одежды любого пошива,
и оно надевает
костюмы любого пошиба.
Старый лыжный костюм
он таскал фатовато и свойски,
словно старый мундир
небывалого старого войска.

Я же рядом шагал,
молчаливо любуясь мундиром
тех полков, где Шагал —
рядовым, а Рембрандт — командиром,
и где краски берут
прямо с неба — с небес отдирают,
где не тягостен труд
и где мертвые не умирают.

Так под небом Москвы,
синим небом, застиранным, старым,
не склонив головы,
твердым шагом, ничуть не усталым,
шел художник, влачил
свои старые синие крылья,
и неважно, о чем
мы тогда говорили.

* * *

Брата похоронила, мужа,
двух сыновей на погост сволокла.
В общем, к чему же, к чему же
и для чего же слова и дела.
Ясная в дереве, камне, моторе,
людям

инерция

ни для чего?

Разве не преимущество горе?
Только люди достойны его.
Все же встает в семь утра ежедневно,
на уплотненный автобус спешит,
вяло и злобно, тупо и нервно
в загсе бумажки свои ворошит,
в загсе бумажки свои подшивает,
переворачивает,
семьи чужие сшивает,
жизнь понемногу донашивает.

* * *

Богатые занимают легко,
потому что

что им, богатым?

А бедные долго сидят по хатам,
им до денег идти далеко.

Бедный думает: как отдать?

Откуда взять?

А богатый знает: деньги найдутся,
только все костюмы обследуются,
по телеграфу переведутся,
у дальних родственников наследуются.

Шутку о том, что берешь на время,
но отдаешь навсегда,
придумала Большая Беда,
выдохнуло тяжелое бремя.

* * *

Руки опускаются по швам.
После просто руки опускаются,
и начальство во всю прыть пускается
выдавать положенное нам.

Не было особенного проку
ни со страху, ни с упрёку.
А со штрафа было меньше толку,
чем, к примеру, с осознания долга,
чем, к примеру, с личного примера
и с наглядного показа.
Смелости и подражают смело,
и таким приказам нет отказа.

Ордена, которые нам дали,
траты на металлы оправдали.
Выговоры те, что нам вlepили,
забавляли или озлобили.

Не шуми, начальник, не ори.
Толку нет от ругани и ражу.
По-хорошему поговори.
Я тебя уважу.

Какой-то перерыв настал,
словно антракт в консерватории.
Мелодий — нет. Гармоний — нет.
Все устремляются в буфет.

КЛИМАТ НЕ ДЛЯ ЧАСОВ

Этот климат — не для часов.
Механизмы в неделю ржавеют.
Потому, могу вас заверить,
время заперто здесь на засов.

Время то, что как ветер в степи
по другим гуляет державам,
здесь надежно сидит на цепи,
ограничено звоном ржавым.

За штанину не схватит оно.
Не рванет за вами в погоню.
Если здесь говорят: давно,
это все равно, что сегодня.

Часовые гремуче храпят,
проворонив часы роковые,
и дубовые стрелжи скрипят,
годовые и вековые.

А бывает также, что вспять
все идет в этом микромире:
шесть пробьет,
а за ними — пять,
а за ними пробьет четыре.

И никто не крикнет: скорей!
Зная, что скорей — не будет.
А индустрия календарей
крепко спит и ее не будят.

* * *

Крепостное право, то, что крепче
и правее всех его отмен,
и холопства старая короста,
отдирать которую не просто,
и довольство паствы рабством,

пастыря — кнутом и монотонность
повторенья всякого такого
на любой странице
кратких курсов, полных курсов
всех историй.

Это было? Это есть и будет.
Временами спящего разбудит
пьяного набата голошенье
или конституций оглашенье.
Временами словно в лихорадке
на обычной огородной грядке
вырастит история бананы
или даже ананасы.
Вырастит, но поздно или рано
скажет равнодушно: «А не надо!»

* * *

Везло по мелочам
и поздно или рано
то деньги получал,
то заживала рана.

По мелочам везло,
счастливилось, бывало.
Но мировое зло
росло, не убывало.

Выигрывался день,
проигрывалась вечность,
а тлен и дребедень
приобретали вещьность,

и чепуха росла,
и ерунда мужала —
до мирового зла,
до мирового жала.

Зарок, что с детства дал,
мог вызвать только жалость:
в сраженьях побеждал,
но войны продолжались.

Наверное, не мне
достанется удача
в той победить войне
и ту решать задачу.

* * *

Что-то дробно звенит в телефоне:
то ли техника, то ли политика.
Также долг подключался ко мне.
То в долге, а то и в законе,
перечитанном по листику,
то — в четырехлетней войне.

Долг — наверно, от слова «долго» —
долог, истов, прям, остер,
сектант такого толка,
что за веру идет на костер.

Долг. Зву гонг.
На звонок сухой, короткий.
А висит тебе колодкой.
Почему?

Долг в меня, наверное, вложен,
вставлен, как позвоночный столб.
Неужели он ложен, ложен,
мой долг,
этот долг?

* * *

Не сказав хоть «здравствуй»,
смотря под ноги,
взимает государство
свои налоги.

И общество все топчется,
а не наоборот.
Наверное, не хочется
ему идти вперед.

* * *

По производству валовому
у нас второе место в мире.
Зато без треску или звону,
а точно, дважды два четыре,
нигде себе не видим равных
мы
по продукции терпенья,
как будто в поднебесных странах
учились ангельскому пенью.

Как скучно в поднебесных странах!
Холодно, пусто, и с ангелами там на равных
летают молний киловатты.

Но не у молний, у эфира
учились вялому уменью.
И на чемпионате мира
по категории терпенья

мы первые. Все призовые
места за нашу страну.
И даже тучи грозовые
нас огибают стороною.

* * *

Никоторого самотека!
Начинается суматоха.
В этом хаосе есть закон.
Есть порядок в этом борделе.
В самом деле, на самом деле
он действительно нам знаком.
Паникуется, как положено,
разговаривают, как велят,
обижают, но по-хорошему,
потому что потом — простят.
И не озаренность наивная,
не догадки о том о сем,
а договоренность взаимная
всех со всеми,
всех обо всем.

* * *

Я в ваших хоровах отплясал.
Я в ваших водоемах откупался.
Наверно, полужизнью откупался
за то, что в это дело я влезал.

Я был в игре. Теперь я вне игры.
Теперь я ваши разгадал кроссворды.
Я требую раскола и развода
и права удирать в тартарары.

* * *

Исключите нас из правила.
Прежде нас оно устраивало,
но теперь уже давно
разонравилось оно.

Исключите нас из списка.
В сущности, это описка —
то, что в списках мы стоим.
Больше это не таим.

И съмите нас с довольствия,
хоть большое удовольствие
до сих пор еще пока
получаем от пайка.

* * *

Игра не согласна,
чтоб я соблюдал ее правила.
Она меня властно
и вразумляла и правила.

Она меня жестко
в свои вовлекала дела
и мучила шерстку,
когда против шерстки вела.

Но все перепробы,
повторные эксперименты
мертвы, аки гробы,
вонючи же, как экскременты.

Судьба — словно дышло.
Игра — забирает всего,
и, значит, не вышло,
не вышло совсем ничего.

Разумная твердость —
не вышла, не вышла, не вышла.
Законная гордость —
не вышла, не вышла, не вышла.

Не вышел процент
толстокожести необходимой.
Я — интеллигент
тонкокожий и победимый.

А как помогали,
учили охотно всему!
Теперь под ногами
вертеться совсем ни к чему.

И бросив дела,
я поспешно иду со двора,
иду от стола,
где еще протекает игра.

РЕМОНТ ПУТИ

Электричка стала. Сколько
будет длиться эта стойка?
Сколько поезд простоит?
Что еще нам предстоит?

Я устал душой и телом.
Есть хочу и спать хочу.
Но с азартом оголтелым
взоры вокруг себя мечу.

Любопытство меня гложет:
сколько поезд простоит?
Сколько это длиться может?
Что еще нам предстоит?

Все вокруг застыли словно:
есть хотят и спать хотят,
но замшелые, как бревна,
связываться не хотят.

Очи долу опускает,
упадает голова,
та, в которой возникают
эти самые слова.

* * *

Психология перекрестка:
нерешительные богатыри
говорят: «Давай, посмотри!»
В надписи, составленной хлестко,
указания нет. Намек,
адресованный поколениям,—
неразборчив. Он намок
мелким дождиком тысячелетним.

Куда хочешь, туда и едь,
то есть, в общем, ехать некуда.
Размышлять в то же время некогда
и не будет времени впредь.
Куда хочешь, а я не ведаю.
Я не знаю, куда хочу.
Все же шпорю коня.
Все же еду я
и в какую-то пропасть лечу.

Эта пропасть так глубока,
что, покуда вниз лечу я,
обдеру, конечно, бока,
но пойму, куда же хочу я.

ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО МЫСЛИТЬ

Мыслить лучше всего в тупике.
В переулке уже немного погромче,
площадь же, гомоня и пророча,
и фиксируя на пустяке,
и навязывая устремления,
заглушает ваше мышление.

Мыслить лучше в темном углу.
Если в нем хоть свечу поставить,
мыслить сразу труднее станет:
отвлекаешься на игру
колебания светотени
и на пламени переплетенье.

Мыслить лучше всего на лету
в бездну, без надежд на спасенье.
Пролетаешь сквозь темноту,
но отчаянье и убыстренье
обостряет твои мозги
в этой мгле, где не видно ни зги.

* * *

Слышу шелест крыл судьбы,
шелест крыл,
словно вешние сады
стелет Крым,

словно бабы бьют белье
на реке,—
так судьба крылами бьет
вдалеке.

* * *

Десятилетье Двадцатого съезда,
ставшего личной моей судьбой,
праздную наедине с собой.

Все-таки был ты. Тебя провели.
Меж Девятнадцатым и Двадцать первым —
громом с неба, ударом по нервам,

восстановлением ленинских норм
и возвращеньем истории в книги,
съезд, возгласивший великие сдвиги!

Все-таки был ты. И я исходил
из твоих прений, докладов, решений
для своих личных побед и свершений.

Ныне, когда поняли все,
что из истории, словно из песни,
слово — не выкинь, хоть лопни и тресни,

я утверждаю: все же ты был,
в самом конце зимы, у истока,
в самом начале весеннего срока.

Все же ты был.

ЦЕПНАЯ ЛАСТОЧКА

Я слышу звон и точно знаю, где он,
и пусть меня романтик извинит:
не колокол, не ангел и не демон,
цепная ласточка
железами звенит.

Цепная ласточка, а цепь стальная
из мелких звеньев тонких, не стальных,
и то, что не порвать их — точно знаю.
Я точно знаю —
не сорваться с них.

А синева, а вся голубизна!
О, как сиятельна ее темница!

Но у сияния свои границы:
летишь, крылом упрешься
и — стена.

Цепной, но ласточке, нет, все-таки цепной,
хоть трижды ласточке, хоть трижды птице,
ей до смерти приходится ютиться.
здесь,
в сфере притяжения земной.

СЖИГАЮ СТАРЫЕ УЧЕБНИКИ

Сжигаю старые учебники,
как юные десятиклассники.
Так точно древние кочевники
кострами отмечали праздники.

Нет, тех костров тушить не стану я.
Они послужат мне основой —
как хорошо сгорает старое,
прекрасно освещая новое.

Дымят книжонки отсыревшие.
Дымят законы устаревшие.
О, сколько выйdet дыма черного
из уцененного и спорного.

А сколько доброго и храброго
повысветлят огни искусные!
Костер стоит в конце параграфа.
Огонь подвел итог дискуссии.

ВЫБОР

Выбор — был. Раза два. Два раза.
Раза два на моем пути
вдруг раздваивалась трасса,
сам решал, куда мне пойти.

Слева — марши. Справа — вальсы.
Слева — бури. Справа — ветра.
Слева — холм какой-то взвивался.
Справа — просто была гора.

Сам решай. Никто не мешает,
и совета никто не дает.
Это так тебя возвышает,
словно скрипка в тебе поет.

Никакой не играет роли,
сколько будет беды и боли,
ждет тебя покой ли, аврал,
если сам решал, выбирал.

Слева — счастье. Справа — гибель.
Слева — пан. Справа — пропал.
Все едино: десятку выбил,
точно в яблочко сразу попал.

Раза дв. Точнее, два раза.
Раза два. Не более двух
мировой посетил меня дух.
Самолично!
И это не фраза.

* * *

Это носится в воздухе вместе с чадом и дымом,
это кажется важным и необходимым,
ну а я не желаю его воплощать,
не хочу, чтобы одобренье поэта
получило оно, это самое «это»,
не хочу ставить подпись и дуть на печать.

Без меня это все утвердят и одобрят,
бессловесных простят, несогласных одернут,
до конца доведут или в жизнь проведут.
Но зарплаты за это я не получаю,
отвечаете вы, а не я отвечаю,
ведь не я продуцировал этот продукт.

Торжествуйте, а я не участник оваций,
не желаю соваться, интересоваться,
а желаю стоять до конца в стороне,
чтоб раздача медалей меня не задела.
Не мое это дело.
Не мое это дело.
Негу дела до вашего дела-то мне.

* * *

Дайте мне прийти в свое отчаянье:
ваше разделить я не могу.
А покуда — полное молчанье,
тишина и ни гу-гу.

Я, конечно, крепко с вами связан,
но не до конца привязан к вам.
Я не обязательно обязан
разделить ваш ужас, стыд и срам.

ЦЕННОСТИ

Ценности сорок первого года:
я не желаю, чтобы льгота,
я не хочу, чтобы броня
распространялась на меня.

Ценности сорок пятого года:
я не хочу козырять ему.
Я не хочу козырять никому.

Ценности шестьдесят пятого года:
дело не сделается само.
Дайте мне подписать письмо.

Ценности нынешнего дня:
уценяйтесь, переоценяйтесь,
реформируйтесь, деформируйтесь,
пародируйте, деградируйте,
но без меня, без меня, без меня.

* * *

Я с той старухой хладновежлив был:
знал недостатки, уважал достоинства,
особенно спокойное достоинство,
морозный, ледовитый пыл.

Республиканец с молодых зубов,
не принимал я это королевствование:
осанку, ореол и шествование,—
весь мир господ и, стало быть, рабов.

В ее каморке оседала лесть,
как пепел после долгого пожара.
С каким значеньем руку мне пожалала.
И я уразумел: тесть любит лесть.

Вселенная, которую с трудом
вернул я в хаос — с муками и болью,
здесь сызнова была сырьем, рудой
для пьедестала. И того не более.

А может быть, я в чем-то и неправ:
в эпоху понижения значения
людей

она вручила назначение
самой себе

и выбрала из прав
важнейшие,

те, что сама хотела,
какая челядь как бы ни тряслась,
какая чернь при этом ни свистела,
ни гневалась какая власть.

Я путь не принимал, но это был
путь. При почти всеобщем бездорожье
он был оплачен многого дороже.
И я ценил холодный грустный пыл.

ДОЖДЬ

Шел дождь и перестал.

И вновь пошел.

Из «Скупого рыцаря»

Мы въехали в дождь, и выехали,
и снова въехали в дождь.

Здесь шел, мокрее выхуоли,
поэзии русской вождь.

Здесь

русской поэзии солнце
прислушивалось:

в окно

дождь

рвется, ломится, бьется.

Давно уже.

Очень давно.

От прошлого ливня сыра еще
земля,

а он снова льет.

Дождь,

ливший позавчера еще,

и послезавтра польет.

Здесь

первый гений отечества,

в осеннюю глядя мглу,

внимал,
как тычется-мечется,
скребется
дождь по стеклу,
глядел,
как мучится-корчится
под ливнем
здешняя весь,
и думал:
когда он кончится?
Когда он выльется весь!

Шел дождь, и перестал, и
вновь пошел.
У окна
строка написалась простая,
за нею — еще одна.
Они доходят отлично —
вся сила и весь объем,
когда живешь самолично
под тем же псковским дождем.
Да, русской поэзии солнце
как следует и не поймешь,
покуда под дождь не проснешься,
под тот же дождь —
не заснешь.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

У меня болела голова,
что и продолжалось года два,
но без перерывов, передышек,
ставши главной формой бытия.
О причинах, это породивших,
долго толковать не стану я.

Вкратце: был я ранен и контужен,
и четыре года — на войне.
Был в болотах навсегда простужен.
На всю жизнь — тогда казалось мне.

Стал я второй группы инвалид.
Голова моя болит, болит.

Я не покидаю свой диван,
а читаю я на нем — роман.

Дочитаю до конца — забуду.
К эпилогу — точно забывал,
кто кого любил и убивал.
И читать сначала снова буду.

Выслуженной на войне
пенсии хватало мне
длить унылое существованье
и надежду слабую питать,
робостное упованье,
что удастся мне с дивана встать.

В двадцать семь и в двадцать восемь лет
подлинной причины еще нет,
чтоб отчаяние одолело.
Слушал я разумные слова,
но болела голова
день-деньской, за годом год болела.

Вкус мною любимого борща,
харьковского, с мясом и сметаной,
тот, что, и томясь и трепеща,
вспоминал на фронте неустанно,—
даже этот вкус не обжигал
уст моих, души не тешил боле
и ничуть не помогал:
головной не избывал я боли.

Если я свою войну
вспоминать начну,
все ее детали и подробности
реставрировать по дням бы смог!

Время боли, вялости и робости
сбилось, слиплось, скомкалось в **КОМОК**.

Как я выбрался из этой клетки?
Нервные восстановились клетки?
Время попросту прошло?
Как я одолел сплошное зло?

Выручила, как выручит, надеюсь,
и сейчас, лирическая дерзость.
Стал я рифму к рифме подбирать
и при этом силу набирать.

Это все давалось мне непросто.
Веры, и надежды, и любви
не было. Лишь тихое упорство
и волнение в крови.

Как ни мучит головная боль —
блекну я, и вяну я, и никну,—
подберу с утра пораньше рифму,
для начала, скажем, «кровь — любовь».

Вспомню, что красна и горяча
кровь, любовь же голубее неба.
Чувство радостного гнева
ставит на ноги и без врача.

Земно кланяюсь той, что поставила
на ноги меня, той, что с колен
подняла и крылья мне расправила,
в жизнь преобразила весь мой тлен.

Вновь и вновь кладу земной поклон
той, что душу вновь в меня вложила,
той, что мне единственным окном
изо тьмы на солнышко служила.

Кланяюсь поэзии родной,
пребывавшей в черный день со мной.

ДАВАЙ ПОЙДЕМ ВДВОЕМ

Уже давным-давно,
в сраженьи ежедневном,
то радостном, то гневном,
мы были заодно:

делили пополам
все то, что получали,
удачи и печали,
прогулки по полям,

победы, и посты,
и зорьку, что алела.
Как у меня болело,
когда болела ты!

Все на двоих! Обид
и тех мы не дробили.
Меня словно избивали,
когда тебя знобит.

Смущаясь и любя,
без суеты и фальши,
я вновь зову тебя:
пойдем со мною дальше!

АНАЛИЗ ФОТОГРАФИИ

Это я, господи!
Из негритянского гимна

Это я, господи!
Господи, это я!
Слева мои товарищи,
справа мои друзья.
А посередке, господи,
я, самолично — я.
Неужели, господи,
не признаешь меня?

Господи, дама в белом —
это моя жена,
словом своим и делом
лучше меня она.
Если выйдет решение,
что я сошел с пути,
пусть ей будет прощение:
ты ее отпусти!

Что ты значил, господи,
в длинной моей судьбе?
Я тебе не молился —
взмаливался тебе.
Я не бил поклоны, —
не обидишься, знал.
Все-таки безусловно —
изредка вспоминал.

В самый темный угол
меж фетишей и пугал
я тебя поместил.
Господи, ты простил?

Ты прощай мне, господи:
слаб я, глуп, наг.
Ты обещаешь мне, господи,
не лишать меня благ:

черного теплого хлеба
с желтым маслом на нем
и голубого неба
с солнечным огнем.

КАК ФИЛОСОФ ИЛИ РЕБЕНОК

Ничего нет значительнее
взгляда в окно,
если это вагона окно —
тем более,
и до боли,
чувствительнее, чем до боли,
осмысляешь впервые
увиденное давно.

Как у древних философов
и малых детей —
никаких средостений!
Стекло же — прозрачно и тонко.
Просто смотришь и всё —
безо всяких затей —
с непосредственностью мудреца и ребенка.

Со внимательным тщаньем ребенка или мудреца,
так же точно, как мудрецы или дети,
понимаешь — с начала и до конца —
все на свете, все на свете.
Все на свете.

УХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Время уходит, и даже в анализах крови
можно увидеть: седеют косматые брови
времени и опускаются властные плечи
времени. Время времени — недалече.

Время уходит своим государственным шагом,
то горделиво, как под государственным флагом,
то музыкально, как будто бы гимн государства
грянет немедленно, через минуту раздастся.

Но если вдуматься, в том, что время уходит,
важно лишь то, что оно безвозвратно уходит
и что впоследствии никто не находит
время свое, что сейчас вот уходит.

Время уходит. Не радуется, но уходит.
Время уходит. Оглядывается, но уходит.
Кепочкой машет.
Бывает, что в губы лобзает,
но — исчезает.

* * *

Жгут архивы. К большим переменам
нету более точных примет.
Видно, что-то опять перемелет
жернов. Что-то сойдет на нет.

Дым архивов. Легкий, светлый
дым-дымок.
И уносит эпоху с ветром.
Кто бы только подумать мог?

Вековухой и перестарком
только памяти вековать,
а архивы перестали,
прекратили существовать.

ОБЕ СТОРОНЫ ПИСЬМЕННОГО СТОЛА

Все выходят на пенсию — обе стороны, эта и та,
и вопросы на следствии, и ответы на следствии,
и подводится жирная окончательная черта
стародавнего бедствия,
постарения общего вследствие.

У обеих сторон уже нету зубов —
и у той, где повыпали,
и у той, где повыбили.
Обе стороны в вихре обычных забот
продвигаются в сторону естественной гибели.

По ту сторону зла и, конечно, добра,
по ту сторону ненависти, равно как и совести,
обе стороны движутся. Кончилось время, пора:
постарели они и давно одряхлели их новости.

Настоящее брезгует прошлым своим,
а грядущее
с полок покуда
его не снимает,
и последние тайны, которые глухо таим,
никого уже более
и покамест еще
не занимают.

* * *

Начинается давность для зла и добра,
и романы становятся историческими романами,
и седины из подлинного серебра
нависают над косметическими румянами.
Время воспоминаний пришло и ушло.
Начинается памяти время.
И в плечах ощущается,
словно крыло о крыло,
это нетяготящее
и блестящее
бремя.

* * *

Это все прошло давно:
рассказни да казни.
Промелькнуло, как в кино
теньями на ткани.

С недоверием глядит
поколение деток:
для него я троглодит,
для него я предок,

для него я прошлый век,
скукота зеленая,
для него — не человек,
рыба я соленая,

рыба я мороженая,
в сторону отложенная.

Я надоедать устал.
Я напоминать не стал.

* * *

Эпоха закончилась. Надо ее описать.
Ну, пусть не эпоха — период, этап,
но надо его описать, от забвенья спасать,
не то он забудется.

Не то потеряют его, заровняют его,
си прочерком, пропуском станет,
и что-то — в ничто превратится.
И ничего
в истории из него не застрянет.

Этап — завершился. А я был в начале этапа.
Я видел его замечательную середину
и ту окончательную рутину,
в которой застряли от ездового до штаба
все.

Я прожил этап не единоличником, частником:
свидетелем был и участником был.
Возможно, что скажут теперь — соучастником.
Действительно, я отвечаю не меньше других.

А что ж! Раз эпоха была и сплыла —
и я вместе с нею сплыву неумело и смело.
Пускай меня крошкой смахнут вместе с ней
со стола,
с доски мокрой тряпкой смахнут,
наподобие мела.

ПЕРВЫЙ ОВОЩ

Зубы крепко, как члены в президиуме,
заседали в его челюстях.
В полном здравии, в лучшем виде, уме,
здоровяк, спортсмен, холостяк,
воплощенный здравый рассудок,
доставала, мастер, мастак,
десяти минуток из суток
не живущий просто так.

Золотеющий лучшим колосом
во общественном во снопу,
хорошо поставленным голосом
привлекает к себе толпу.

Хорошо проверенным фактом
сокрушает противника он,
мерой, верой, тоном и тактом,
как гранатами, вооружен.

Шкалик, им за обедом выпитый,
вдохновляет его на дела.
И костюм сидит, словно вылитый,
и сигара сгорает дотла.

Нервы в полном порядке, и совесть
тоже в полном порядке.
Вот он, этой эпохи новость,
первый овощ, вскочивший на грядке.

РУКА И ДУША

Не дрогнула рука!
Душа перевернулась,
притом совсем не дрогнула рука,
ни на мгновенье даже
не запнулась,
не задержалась даже
и слегка.

И, глядя
на решительность ее —
руки,
ударившей,
миры обруша,—
я снова не поверил в бытие
души.
Наверно, выдумали душу.

Во всяком случае,
как ни дрожит
душа,
какую там ни терпит
муку,
давайте поглядим на руку.
Она решит!

ВАЛЯНЬЕ ВАНЬКИ

Валяют Ваньку. Но Ваньке валянье —
вострый нож. Вострее ножа.
И Ванька начинает вилянье
на самой грани. У рubeжа.

На грани смерти и несмерти,
там, где граничат жизнь и нежизнь,
Ванька, разобравшись в предмете,
шепчет себе то «встань!», то «ложись!».
Он то встанет, то сядет, то ляжет,
то растерян, то снова рьян.
Только никто ему не скажет:
— Иди, Ванюша! Гуляй, Иван!

В чем вина его? За что валяют
и распрямиться не позволяют?
За что пинают, ногами бьют
и приподняться не дают?
Ванька встревожен и недоволен,
но понимает, что одинок.
А один — в поле не воин.

Вот его снова валят с ног.
Снова валят и снова валяют,
снова кричат, что Ванька — дурак,
и нервы Ванькины гуляют,
а делать — что?
А быть-то — как?

ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ

Все запрещенные приемы
внезапно превратились в правила,
а правила — все отменились
и переправились все вдруг,
и кто-то радуется вслух,
а кто-то шепчет: «Жизнь заставила!»
Да, кто-то шепчет: «Жизнь заставила!»,
а кто-то радуется вслух.

* * *

Среднее звено мечтает
облегчить свои задачи.
Все, чего им не хватает,
получить:
квартиры, дачи,—
все, что недодали
им давно.
Все это планирует в неведальной дали
среднее звено.

* * *

Эта крепко сбитая фраза —
новый лозунг: «Все и сразу!»

Ни на завтра, ни на послезавтра
ничего не хотят отложить
и желают со вкусом, с азартом
жить.

Есть вволю, пить вволю,
утвердить свою волю.

Жить с любимой, жить в отдельной,
и в международной, отдельной
спешке, особенно в ней,
жить скорей, удобней, точней.

Оглянувшись на то, как предтечи
жили-были,
расправляют пошире плечи
в ироническом пыле:

— Не хотим так,
а хотим не так.

* * *

Карьеристы и авантюристы —
общим же числом всего их триста.
Если же меж ними выбирать,
с кем идти в разведку и на рать,
авантюру предпочту карьере.
С полным основанием предпочту:
читит она и в полной мере
голубую, синюю мечту.

Впрочем, у карьеры есть свои
преимущества и для семьи,
для соседей — предпочтительнее
карьеристы — тихие, почтительные.

* * *

Эта странная моложавость,
вызывающая не зависть,
что понятно бы было, а жалость,
эта нерасцветшая завязь.

Это школьничество. Ухватки
перемены и танцплощадки,
перемиги и переглядки,
что не сладки, скорее, гадки.

Этот перед любым начальством
шумный страх, дополняющий образ,
да запудренная нахальством,
проступающая робость.

На виду он резов и буен
с переплясом своим, тараруем.
Обольщаться, впрочем, не будем —
он, по сути, будничней буден.

И когда па него не смотрят,
он глядит с молчаливым укором,
словно муха, которую морят
быстродействующим мухомором.

Миновали тебя морщины,
при тебе твои охи и вздохи,
не произведенный в мужчины
мальчик позапрошлой эпохи.

Что торопишься? Торопиться
ни к чему — кто тебя подпирает?
Осыпается мел. Тряпица
беспардонно его стирает.

* * *

Куфаечка на голом теле.
Цигарочки ленивый дым.
— А вы еще чего хотели?
— А мы другого не хотим.

Итак, куфайка да сигарка,
и не остра, скорей пестра,
идет беседа у костра,
и жить — не жарко и не парко,
и жить не шатко и не валко
на самой нашей из планет.
И прошлого не очень жалко,
и пред грядущим страха нет.

* * *

Было много жалости и горечи.
Это не поднимет, не разбудет.
Скучно будет без Ильи Григорьича.
Тихо будет.

Необычно расшумелись похороны:
давка, драка.
Это все прошло, а прахам поровну
выдается тишины и мрака.

Как народ, рвалась интеллигенция.
Старики, как молодые,
выстояли очередь на Герцена.
Мимо гроба тихо проходили.

Эту свалку, эти дебри
выиграл, конечно, он вчистую.
Усмехнулся, если поглядел бы
ту толпу горячую, густую.

Эти искаженные отчаяньем
старые и молодые лица,
что пришли к еврейскому печальнику,
справедливцу и нетерпеливцу,

что пришли к писателю прошений
за униженных и оскорбленных.
Так он, лежа в саванах, в пеленах,
выиграл последнее сражение.

* * *

Старшему товарищу и другу
окажу последнюю услугу.

Помогу последнее сражение
навязать и снова победить:
похороны в средство устрашения,
в средство пропаганды обратить.

Похороны хитрые рассчитаны,
как времянка, ровно от и до.
Речи торопливые зачитаны,
словно не о том и не про то.

Помогу ему времянку в вечность,
безвременье — в бесконечность

превратить и врезаться в умы.
Кто же, как не я и он, не мы?

Мне бы лучше отойти в сторонку.
Не могу. Проворно и торопко
суечусь, мечусь
и его, уже посмертным, светом
я свечусь при этом,
может быть, в последний раз свечусь.

ПЕРЕПОХОРОНЫ ХЛЕБНИКОВА

Перепохороны Хлебникова:
стынь, ледынь и холодынь.
Кроме нас, немногих, нет никого.
Холодынь, ледынь и стынь.

С головами непокрытыми
мы склонились над разрытыми
двумя метрами земли:
мы для этого пришли.

Бывший гений, бывший леший,
бывший демон, бывший бог,
Хлебников, давно истлевший:
праха малый колобок.

Вырыли из Новгородщины,
привезли зарыть в Москву.
Перепохороны проще,
чем во сне, здесь, наяву.

Кучка малая людей
знобко жметя к праха кучке,
а январь знобит, злодей:
отмораживает ручки.

Здесь немногие читатели
всех его немногих книг,
трогательные почитатели,
разобравшиеся в них.

Прежде чем его зарыть,
будем речи говорить
и, покуда не зароем,
непокрытых не покроем
ознобившихся голов:

Сухопарый, плохо одетый,
Он, по-видимому, вроде студента,
Напряжен, застенчив, небрит.
Он, наверное, только учится,
Диамат и истмат зубрит.
О ему предстоящей участи
Бог ему еще не говорит.

Проглядеть его — ох, не хочется.
В людях это — редчайший сорт.
Ведь судьба его, словно летчица,
Мировой поставит рекорд.

* * *

Жалкие символы наши:
медом и молоком
полные чаши.

Этого можно добиться,
если в лепешку разбиться.
Это недалеко:
мед, молоко.

Скоро накормим медом
и напоим молоком
всех, кто к тому влеком.
Что же мы дальше поставим
целью? Куда позовем?

* * *

Хорошо будет только по части жратвы,
то есть завтрака, ужина и обеда,
как предвидите, живописуете вы,
человечество в этом одержит победу.

Наедятся от пуза, завалятся спать
на сто лет, на два века, на тысячелетье.
Общим храпом закончится то лихолетье,
что доньше историей принято звать.

А потом, отоспавшись, решат, как им быть,
что же, собственно, делать, и, видимо, скоро
постановят наплевать и забыть
все, что было, не помнить стыда и позора.

* * *

Необходима цель
стране и человеку.
Минуте, дню и веку
необходима цель.

Минуту исключим.
И даже день, пожалуй,—
пустой бывает, шалый,
без следствий и причин.

Но век или народ
немыслим без заданья.
По дебрям мирозданья
без цели не пройдет.

Особенно когда
тяжелая година,
цель так необходима,
как хлеб или вода.

Пусть где-нибудь вдали
фонарик нам посветит
и людям цель отметит,
чтоб мы вперед пошли.

ПЛАТОН

Стали много читать Платона.
Любят строй драматических глав.
После выхода каждого тома
выкупает подписчик стремглав.

Интересно, помогут ли совести
эти споры античных времен,
эти красноречивые повести —
те, что нам повествует Платон.

Скоро выяснится. А покуда
мы не знаем еще:
причуда,
хобби,
красного ради словца,
что дороже родного отца,

или этот старинный философ,
всех томов его полный объем,
отвечает на пару вопросов —
тех,
что мы себе задаем.

* * *

Союз писателей похож на Млечный Путь:
миров, почти равновеликих, давка.

Залетная какая-нибудь славка
вдруг чувствует: ни охнуть, ни вздохнуть.

Из качеств областного соловья
сначала выпирает только серость.
Здесь ценят дерзость, лихость или смелость.
Все это некогда прошел и я.

Здесь ресторан меж первым и вторым,
меж часом коньяка и часом водки,
талантов публикует сводки,
непререкаемый, как древний Рим,
а мы — в провинции — ему вторим.

Здесь льстят, оглядываясь на друзей
и перехватывая взор презренья.
О, сколько жалованных здесь князей
в грязи оставило свои воззренья.

Микрорайон, считающий себя
не ниже микрокосма, микрохаос
расценку на величие, сопя,
и гения параметр, чертыхаясь,
назначит, установит и потом
вдруг изогнется ласковым котом,
затявкает находчивым барбосом
пред только что изобретенным боссом.

ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Пишут книжки, мажут картинки!
Очень много мазилок, писак.
Очень много серой скотинки
в Аполлоновых корпусах.

В Аполлоновых батальонах
во главе угла, впереди,
все в вельветовых панталонах,
банты черные на груди.

А какой-нибудь — сбоку, сзади —
вдруг возьмет и перечеркнет
этот
в строе своем и ладе
столь устроенный, слаженный гнет.

И полвека спустя — читается!
Изучает его весь свет!
Остальное же все — не считается.
Банты все!
И весь вельвет.

* * *

Молодцеватые философы,
все в гимнастерках и ремнях,
и деловитые поэты.
Медоточивая настойчивость,
и обеспеченный верняк,
и деловитые поэты.

Впервые, может быть, с тех пор,
как дезертировал Гораций,
пришла пора толковых Граций
и Муз разумных, разбитных.
В эпоху деловитых Граций
прошла пора для всех иных.

Не понимаю, как они
устраиваются с вдохновеньем,
кто им подсказывает ритм?
Звезда с звездой говорит.
Звезда с звездой говорит,
но этим новеньким со рвеньем,
и тщаньем, и остервененьем —
звезда им вовсе не горит.

Зато из лириков никто
еще так не был погружен
в свои дела, в удобства жен.
Никто из лириков земли.
Утратив все, они зато
и что-то новое нашли.

Какие новые слова,
склонения и падежи!

Пар, что у них взамен души,
большие прелести имеет.
Курортное их солнце греет,
чтоб не болела голова,
трава, конечно, трын-трава,
под ними мягко зеленеет.

* * *

Покуда полная правда
как мышь дрожала в углу,
одна неполная правда
вела большую игру.

Она не все говорила,
но почти все говорила:
работала, не молчала
и кое-что означала.

Слова-то люди забудут,
но долго помнить будут
качавшегося на эстраде —
подсолнухом на ветру,
добра и славы ради
затеявшего игру.

И пусть сначала для славы,
только потом — для добра.
Пусть написано слабо,
пусть подкладка пестра,
а все-таки он качался,
качался и не кончался,
качался и не отчаивался,
качался, но не закаивался.

* * *

Опубликованному чуду
я больше доверять не буду.
Без тайны чудо не считается.
Как рассекретишь, так убьешь.
Даешь восстановление таинства!
Волхвов даешь!
Жрецов даешь!

ХВАЛА ВЫМЫСЛУ

В этой повести ни одного,
ни единого правды слова.
А могло это стать? Могло —
утверждаю торжественно снова.

Вероятя постигнуть легко
с помощью фотоаппарата.
Но в барокко и рококо
уведут баллада, шарада.

Там журчит золотистый ручей.
Там же пишут прерафаэлиты
поколенный портрет Аэлиты
с генуэзским разрезом очей.

Достоверностью мир утомлен,
ищет страусовые перья,
раздобыть которые он
может с помощью легковерья.

Ищет логики сна. Таблицы
умножения мифа и сна.
Знает: где-то по-прежнему длится
сказка. Ну хотя бы одна.

НЕОПОЗНАННЫЕ ЛЕТУЧИЕ ПРЕДМЕТЫ

Между облака и тучи,
между неба и земли
неопознанно летуче
некие предметы шли.

Может, это были змеи,
выпущенные детворой?
Все же допустить не смею:
много слишком. Целый рой.

Может, это были птицы,
шедшие вдоль по лучу?
До такого опуститься
объяснения не хочу.

Может, это самолеты —
скоростные лезвия,
совершавшие полеты
расписанья вследствие?

Может, это просто тайны,
тайны, мчащиеся стаями.
Залетели к нам случайно
и немедленно истаяли.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Татьяне Дашковской

Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспозванные, Непрошенные и Случайные.

Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые почки,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.

Выходят на сцену не те, кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.

Войны у них в памяти нету, война у них только
в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: живи!
В сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок
четвертом.

Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.

В МЕТРО

Старуха напряженно,
но сдерживая пыл,
рассматривает пижона,
что место ей уступил:

— О, дикое долговолосье!
О, куртка в значках!
О, брюки в пыли!
А все-таки эти колосья
на нашем поле взошли.

* * *

Я когда был возраста вашего,
Стариков от души уважал,
Я про Ленина их спрашивал,
Я поступкам их — подражал.

Вы меня сначала дослушайте,
Перебьете меня — потом!
Чем живете? Чему вы служите?
Где усвоили взятый тон?

Ваши головы гордо поставлены,
Уважаете собственный пыл.
Расспросите меня про Сталина —
Я его современником был.

* * *

— Старье! — мне говорят, — все это!
Глядеть на это неохота:
кто с девятнадцатого века,
кто с девятнадцатого года.

А дед ли, прадед — в том ли дело,
им все одно — пенсионеры.
И лучшие нужны пределы,
и новые нужны примеры.

И я внезапно ощущаю,
что это я старье, и робко,
и ничего не обещая,
тихонько отхожу в сторонку.

* * *

Воспоминаний вспомнить не велят:
неподходящие ко времени.

Поэтому они, скопляясь в темени,
вспухают и болят.

— Ведь было же, притом не так давно,
доподлинная истина, святая.

Но чья-то подпись завитая
под резолюцией: «Несвоевременно!»

* * *

Над нами властвовала власть.
Она решала: куда нас класть,
на какие полочки
и что предпринимать, чтоб мы,
словно тюрьмы или сумы,
боялись самоволочки.

А самоволка хороша
тем, что одна твоя душа,
куда идти, решает.
Налево ли, направо ли
свои шаги направили —
никто не разрешает.

Ты сам свой старший старшина,
свой высший суд, верховный.
Ах, самоволочка! Она —
душевный и духовный,
блаженный и греховный
твой отпуск из злобы дня
в добро того же дня.

* * *

Историческую необходимость
на полкорпуса я обогнал,
а она за мною гонится
и кричит: «Остановись!»

Знаю, что, едва остановишься,
не отпустит вперед никогда.
Потому, соблюдая дистанцию,
не оглядываюсь, а бегу.

Что по ходу бега думается?
Вот что мыслится на бегу:
так ли ты необходима?
Может, можно и без тебя?

Нет, не сдамся, не поддамся
и не дамся в руки тебе.
Может, я не из той истории,
где необходима ты.

* * *

Смерть моя еще в отлучке.
Я поэтому в отгуле.
Заложу я ручки в брючки.
Мне покуда черта в стуле.

Смерть моя, как неотложка,
едет и когда-то будет.
Поживу еще немножко.
Кто меня за то осудит?

Смерть моя морить устала,
выказать готова милость,
на ноги она пристала,
сапоги у смерти сбились.

Торопить ее не буду,
помешать ей не желаю,
лучше я ее забуду:
ах ты, гада нежилая.

Нежилая, пожилая,
знать тебя я не желаю!

УДАЧНИК

Как бы ни была расположена
или нерасположена
власть,
я уже получил что положено.
Жизнь уже удалась.

Как бы общество ни информировалось,
как бы тщательно ни нормировалась
сласть,
так скупно выделяемая,
отпускаемая изредка сласть,
я уже получил все желаемое.
Жизнь уже удалась.

Я — удачник!
И хоть никуда не спешил,
весь задачник
решил!

Весь задачник,
когда-то и кем-то составленный,
самолично перед собою поставленный,
я решал, покуда не перерешил.

До чего бы я ни добрался,
я не так уж старался,
не усиливался, не пыхтел
ради славы и ради имения.
Тем не менее —
получил, что хотел.

* * *

Я, наверно, моральный урод:
Не люблю то, что любит народ —
Ни футбола и ни хоккея,
И ни тягостный юмор лакея,
Выступающего с эстрад.
Почему-то я им не рад.

Нужен я со всей моей дурью,
Как четырнадцатый стул
В кабачке тринадцати стульев,
Что бы я при этом ни гнул.

Гну свое, а народ не хочет
Слушать, он еще не готов.
Он пока от блаженства хохочет
Над мошенством своих шутов.

* * *

Когда маячишь на эстраде
Не суеты и славы ради,
Не чтобы за нос провести,
А чтобы слово пронести,

Сперва — молчат. А что ж ты думал:
Прочел, проговорил стихи
И, как пылинку с локтя, сдунул
Своей профессии грехи?

Будь счастлив этим недоверьем.
Плати, как честный человек,
За недovesы, недомеры
Своих талантливых коллег.

Плати вперед, сполна, натурой,
Без торгу отпуская в кредит
Тому, кто, хмурый и понурый,
Во тьме безмысленно сидит.

Проси его поверить снова,
Что обещанное слово
Готово кровью смыть позор.
Заставь его ввязаться в спор,

Чтоб — слушал. Пусть сперва со злобой,
Но слушал, слышал и внимал,
Чтоб вдумывался, понимал
Своей башкою крутолобой.

И зарабатывай хлопóк —
Как обрабатывают хлопóк.
О, как легко ходить в холопах,
Как трудно уклоняться вбок.

* * *

Иду домой с собрания:
окончилось как раз.
Мурлычу то, что ранее
мурлыкалось не раз —

свободы не объявят
и денег не дадут,
надут и заставят
кричать, что не надут.

Ну что ж, иной заботой
душа давно полна.
Деньгами и свободой
не тешится она.

* * *

Благодарю за выволочки.
Они мне в смысле выучки
дают довольно много.
Кланяюсь в ноги.

За головомойки, трепки
благодарю покорно,
skonфуженно и робко,
охотно и проворно.

Благодарю за выговоры,
поскольку в смысле выбора
нет у меня иного.
Кланяюсь снова.

Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Благодарствую
за лекции спесивые
с осанкой государственною.

Стерпится — слюбится.
Недаром вся возня.
Вы выводили в люди всё
и — вывели меня.

* * *

Мастера ищу давно,
знающего дело тонко!
Без него я все равно
ноль без палочки
и только.

Мастер в поисках меня
тоже оттоптал конечности,
он ведь тоже без меня —
палочка без бесконечности.

То-то буду встрече рад,
то-то будет рад он встрече,
радостно смыкая плечи,
встанем мы при встрече в ряд.

Станем, палочка с полем,
после сядем и нальем
и навеки стакнемся,
больше не расстанемся.

* * *

В такие дни, в таком апреле,
когда снега былой зимы
в кострах весны давно сгорели,
легко волнуются умы,
несчастья легче переносятся,
берутся легче города
и, как очки на переносице,
неощутительна беда.

Все думаешь: беда бедою,
но ты тудою и судою
и вот, благодаря труду
ты все же обойдешь беду.
А теплая земля, парная!
А сторона — кругом — родная!
А в небе тучка навесная!
И вот по ельнику идешь
и, шишки сапогом пиная,
уверенно, как будто зная,
хорошего чего-то ждешь.

ВЕТКА В БАНКЕ

Зимняя обломанная ветка
зеленеет в банке на окне,
и Адам (неправильно, что ветхий)
снова просыпается во мне.

Снова хочется давать названия,
затевать сражение и труд
и по телефонам тем названивать,
где столетья трубку не берут.

Снова заново и снова сызнова,
на котурны спешно становясь,
понимаешь, что для неба синего
с белою землей ты — связь.

Зеленеет и с опережением
января на сотню с лишним дней,
с подлинно весенним напряжением
ветка.

Зеленею вместе с ней.

Выгоняю листики зеленые,
испещряю белые листки.
Банка с надписью «Грибы соленые»
исцеляет от тоски.

* * *

Не солонина силлогизма,
а случай, свежий и парной
и в то же время полный смысла,
был в строчках, сочиненных мной.

Стихи на случай сочинились.
Я их запомнил. Вот они.
А силлогизмы позабылись.
Все. Через считанные дни.

* * *

Четыре экземпляра — мой тираж.
Машинка пятый еле пробивает.
Зато душа спокойна пребывает:
тщеславие ее не вгонит в раж.

И вот пока трезвонит пустобрех
для равнодушного к нему мильона,
я выбираю самых лучших трех
читателей микрорайона.

Я каждому вручаю по стиху,
по вычитанному мною экземпляру
так, как колхоз вручает пастуху
прекрасную колхозную отару.

Суров читатель, может быть, жесток,
но что ни скажет — все мне будет сладко.
А для себя я сохраню листок,
четвертый листик из моей закладки.

* * *

Хороша ли плохая память?
Иногда — хороша.
Отдыхает душа.
В ней — просторно. Ее захлать
никому не удалось,
и она, отрешась от опеки,
поворачивается, как лось,
загорающий на солнцепеке.

Гулок лес. Ветрами продут.
Березняк вокруг подрастает.
А за ней сюда не придут,
не застанут ее, не заставят.
Ни души вокруг души,
только листья лепечут свойски,
а дела души — хороши,
потому что их нету вовсе.

А ночью все казалось:
сроки
исполнились!
Судьбы венец!

Отказываюсь от листка,
что мне Доской Судьбы казался.
Не безнадежен я пока.
Я с легким сердцем отказался!

ЖЕЛАНИЕ

Не хочу быть ни дубом, ни утесом,
а хочу быть месяцем маем
в милом зеленеющем Подмоскowie.
В дуб ударит молния — и точка.
Распилить его могут на рамы,
а утес — разрубить на блоки.

Что касается месяца мая
в милом зеленеющем Подмоскowie,
он всегда возвращается в Подмоскowie —
в двенадцать часов ночи
каждое тридцатое апреля.

Никогда не надоест друг другу —
зеленеющему Подмоскowie
и прекрасному месяцу маю.

В мае медленны краткие реки
зеленеющего Подмоскowie
и неспешно плывут по теченью
облака с рыбаками,
рыбаки с облаками
и какие-то мелкие рыбки,
характерные для Подмоскowie.

ВМЕСТО НЕКРОЛОГА

Я перед ним не виноват,
и мне его хвалить не надо.

Вот вяловат и вороват,
цвет кожи будто у нанайца,
вот непромыт, но напрямик
по лестнице он лезет
славы.

Из миллиона горемык
один остался, уцелел,
оцепенел, оледенел,
окаменел, ополоумел,
но все-таки преодолел:
остался, уцелел, не умер!
Из всей кавалерийской лавы
он только
доскакать сумел.

В России пьют по ста причинам,
но больше все же с горя пьют
и ковыряют перочинным
ножом
души глухую дебрь.

О справедливый, словно вепрь,
и, словно каторга, счастливый!
О притворявшийся оливой
и голубем! Ты мудр и зол!
А если небеса низвел
на землю — с тем, чтоб пнуть ногою.

Хотел бы одою другою
тебя почтить. Но не нашел.

О возвращавшийся из ада
и снова возвращенный в ад!
Я пред тобой не виноват,
и мне тебя хвалить — не надо.

* * *

О волосок! Я на тебе вишу.
Соломинка! Я за тебя хватаюсь.
И все-таки грешу, грешу, грешу,
грешить — грешу, а каяться — не каюсь.

Я по канату море перейду,
переплыву в лодчонке — океаны.
А если утону и упаду,
то обижаться на судьбу — не стану.

В тот договор, что заключен с судьбой
включен параграф, чтоб не обижаться
и без претензий выслушать отбой,
уйти из слова,
с музыкой смешаться.

Но все-таки, покуда волосок
не порван
и пока еще соломинки
остался на воде хотя б кусок,
не признаю элементарной логики.
Не признаю!

СЕНЬКИНА ШАПКА

По Сеньке шапка была, по Сеньке!
Если платили малые деньги,
если скалдырничали, что ж —
цена была Сеньке и вовсе грош.

Была ли у Сеньки душа? Была.
Когда напивался Сенька с получки,
когда его под белые ручки
проводжали вплоть до угла,

он вскрикивал, что его не поняли,
шумел, что его довели до слез,
и шел по миру Семен, как по миру,—
и сир, и наг, и гол, и бос.

Только изредка, редко очень,
ударив шанкой свою оземь,
Сенька торжественно распрямлялся,
смотрел вокруг,
глядел окрест
и быстропоспешно управлялся
со всей историей
в один присест.

* * *

Все было на авосе.
Авось был на небосе.
Все было оторви да брось.
Я уговаривал себя: не бойся.
Не в первый раз вывозит на авось.

Полуторки и те с дорог исчезли,
телеги-только в лирике везут,
авось с небосем да кабы да если
спасибо, безотказные, везут.

Пора включить их в перечень ресурсов,
я в этом не увижу пережим —
пока за рубежом дрожат, трясутся,
мы говорим: «Авось!» — и не дрожим.

* * *

Несменяем ни смертью, ни властью —
так управа и не нашлась,—
он вполне доволен сластью,
именуемой смерть и власть.

Он свое одинокое дело
будет делать в своем углу,
излучая во все пределы
первосортного качества мглу.

А историков он не читает,
а богов не страшится он,
а о счастье он не мечтает
и не чтит ни один закон.

* * *

Поколению по имени-отчеству
думавших о самих себе
в изумленьи думать не хочется
о таком повороте в судьбе.

Все их дети
на всем белом свете
просто Вали, Мани и Пети,
не желающие взростеть
и отказываться от привычки
к уменьшительной детской кличке,
выходить из Валь, Мань и Петь.

Поколенье, что почитало
звания, ордена, чины,
неожиданно воспитало
тех, кто никому не должны.

Поколение, шедшее в ногу
по шоссе, обнаружило вдруг:
на обочине или немного
в стороне, парами — сам-друг,

не желая на них равняться,
а желая только обняться
без затей и без идей,—
поколение своих детей.

ЕСТЬ И ТАКОЙ

Смирный, как алкоголик леченый,
в джинсы драные облаченный,
дзен-буддизмом сперва увлеченный,

йогу предпочевший теперь,
тихий, как прирученный зверь,
мордой приоткрывающий дверь,

вот он в такт музыкальному вою
с механичностью неживою
машет умною головою.

Вот он смирному ходу планет
или бойкому звону монет
говорит, подумавши: «Нет!»

Вот накладывает вето
на стихи большого поэта,
говоря: «А зачем мне это...»

Все-то в мире ему дурачки!
Славные оправой очки.
Четырех континентов значки.

Книги, читанные вполглаза,
и усвоенная не сразу
джаза музыкальная фраза.

Отстраняющий мир рукой,
чем-то он нарушает покой.
Что же! Значит, есть и такой.

ПОЛНОЕ ОТЧУЖДЕНИЕ

Сытый — голодного, здоровый — больного
не понимает сегодня снова.

Начитанный не понимает невежды
и отнимает призрак надежды

на то, что суть не в необразованности,
а, напротив, в незаинтересованности

в ловле эрудиционных блох,
а в остальном невежда не плох.

Невнимание и непонимание
достигают степени мании.

Уже у блондина для брюнета
никакого сочувствия нету.

Уже меломаны замкнулись в кружок,
чтобы послушать пастуший рожок,

слюни от предвкушенья пускают,
а пастуха туда не пускают.

* * *

Эрудит, но без знания языков,
книгочей фантастики и популярщины,
со своими формулами испепеляющими,
со своими правилами! Без дураков!

Дураки ему, полуумнице,
полудурку, мешают жить,
не дают пройти по улице,
не дают ни есть, ни пить.

Он, своим полуразумом гордый,
не желает их глупые морды
полуглупой видеть своей
и своих полуидей
перед их безыдейностью цельной
не выказывает. Не ценит
и не любит он дурака.
Всё о нем. Приветик. Пока.

* * *

Малую толику тайн
и второстепенные секреты
выдавая, искренним за это
он прослыл и правдолюбцем стал.

Но болтая всякое и разное,
соблюдает воровской закон:
самую огромную и грязную
тайну

ни за что не выдаст он.

ПРИМЕТЫ

Кожа у него смуглая.
Рожа у него подлая.
Росту он среднего.
Ума — тоже среднего.
Глаза у него навывкате.
Душа у него на выгоде
собственной помешана.
Речь у него взвешена.

Употребляет пословицы.
Иные на это ловятся,
оскользаясь на корке
вызубренной поговорки.

Сер. Но также жемчужен. Как вошь.
Нет. Дураком не назовешь.

Но кожа у него смуглая,
а рожа у него подлая.

* * *

Люди сметки и люди хватки
Победили людей ума —
Положили на обе лопатки,
Наложили сверху дерьма.

Люди сметки, люди смекалки
Точно знают, где что дают,
Фигли-мигли и елки-палки
За хорошее продают.

Люди хватки, люди сноровки
Знают, где что плохо лежит.
Ежедневно дают уроки,
Что нам делать и как нам жить.

* * *

Сразу родилсѧ пенсионером:
вынул доску, сел за домино.
Словно бы и не был пионером
или, если был, то так давно.

Выигрыш и проигрыш грошовые:
то есть ни победы, ни беды;
жвачку ежедневную прожевывая,
думал: вот и все мои труды.

Настроение себе не портя
первыми страницами газет,
новости лишь только в мире спорта
изучал, другими — не задет.

Новостей пехота мировая
лезла сквозь него, не задевая
из него по сути — ничего,
без труда пролезла сквозь него.

Сколько съел он с нами? Хлеба тонну,
мяса тонну, соли пуд.
Выпутался, не издав ни стона,
из истории жестоких пут.

Отмотали от судьбы, от пряжи,
выключили из ее сети.
Ныне эта грязь почит в прахе.
Ты ее, потомок, посети.

* * *

Твердым шагом, хорошо освоенным,
шел он

эдаким бывалым воином,
взглядом — убивая наповал.
Голосом — команды подавал.

Так вошел он в образ ветерана,
что ему казалось: это рана,
а не печень, тщательно болит.
Экий беззаветный инвалид!

Разобраться хочется, понять.
Документы хочется поднять,
орденские планки — все проверить
и только потом — любить и верить

в эти кителя полувоенные,
в эти взгляды упоенные,
в этот шаг — почти со звоном шпор,
в этот слишком честный взор.

С НАТУРЫ

Толпа над упавшим решает: пьяный или больной?
Сердечник или алкоголик?

И, как это часто случается с родимой стороной,
в обоих случаях сетуют о всех скорбях и болях.

Ну что ж, подойду, послушаю, о чем толкуют они
какие решенья рубят?

У нас ведь это не любят: падающего подтолкни!
У нас не бьют лежачих и гибнущих не губят.

— Инфаркт,— утверждает женщина.—

Конечно, это инфаркт! —

Она то вздохнет, то ахнет.

— Не факт,— говорит мужчина.—

Конечно, это не факт.

Инфаркты водкой не пахнут.

Покуда все советуются, как бы помочь ему,
покуда я оттачиваю очередную строфу,
уста его произносят невыразимое «мму!»
и вслед за тем выталкивают неизъяснимое «тьфу!»

И все ему сообщают о том, что с утра не пьют.

— Но я именинник сегодня! — он сумрачно

сообщает.

И, вежливо посмеявшись (у нас лежачих не бьют),
ему охотно прощают.

ПЬЯНИЦЫ И ГОСУДАРСТВО

Государство

спирт из хлеба гонит,
водку продает,
пьяницам проходу не дает,
с улицы в подъезды гонит.

Пьяница

работает с утра
и наедине соображает,
скоро ли придет его пора.
На троих потом соображает.

Государство

вырезвитель строит,
вешает по стенам лозунга,
пропагандою пороки кроет,
заявляет пьянице: «Ага!»

Пьяница

лежит, лежит, лежит,
спит бесповоротно
и во сне бежит, бежит, бежит
от закона в подворотню.

* * *

Самохвалы собирают самовары,
Пустозвоны собирают бубенцы.
Даже реки там не зимовали,
где бывали их гонцы.

Церковки, что позабыты веком,
обдирает глупость или спесь.
Галич — весь и Углич — весь,
Север с тундрой и тайгою — весь —
все обобраны с большим успехом.

И палеонтолог не бывал
в розысках существ, давно подошедших,
где козла ночами забивал
в ожидании икон

фарцовщик.

Жизнь пошла куда живей.
Как все ныне изменилось.
Что при ликвидации церквей
две копейки килограмм ценилось,
ценят выше крабов и икры
в Лондоне, Париже и Милане.
Изменились правила игры.
Вот откуда пошлое старанье.

* * *

Речи так речи,
драму так драму,
но не переча,
всю телепрограмму

смотрят — и в оба,
что бы ни спели,
смотрят до гроба
с самой купели,
сведенья,
так же, как предубеждения,
в веденьи
этого учреждения —
мировоззрения,
мироощущения,
и подозрения,
и сообщения —
что им дикторша скажет,
то им на душу ляжет!
Что сообщат —
то обобщат.
Вот оно, счастье,
чем обернулось:
словно бы в чашу
снова вернулось
племя людей.
Пара идей
на двести десять
телодвижений.
Время не взвесить
таких достижений.

ЧЕРНАЯ ИКРА

Ложные классики
ложками
поутру
жрут подлинную, неподдельную, истинную икру,
но почему-то торопятся,
словно за ними гонится
подлинная, неподдельная, истинная конница.

В сущности, времени хватит, чтобы не торопясь
съесть, переварить и снова проголодаться
и зажевать по две порции той же икры опять —
если не верить слухам и панике не поддаваться.

Но только ложноклассики верят в ложноклассицизм,
верят, что наказуется каждое преступление,
и все энергичнее, и все исступленнее
ковыряют ложками кушанье блюдец из.

В сущности, времени хватит детям их детей,
а икры достанет и поварам и слугам,
и только ложные классики
робко и без затей
верят,
что будет воздано каждому по заслугам.

* * *

Смолоду и сдуру —
Мучились и гибли.
Зрелость это — сдула.
Годы это — сшибли.

Смолоду и сослепу
Тыкались щенками.
А теперь-то? После-то?
С битыми щеками?

А теперь-то, нам-то
Гибнуть вовсе скушно.
Надо, значит — надо.
Нужно, значит — нужно.

И толчется совесть,
Словно кровь под кожей,
В зрелость или в псовость.
Как они похожи.

* * *

Вырабатывалась мораль
в том же самом цеху: ширпотреба,
и какая далекая даль
пролегала от цеха до неба!

Вырабатывалась она,
словно кофточка: очень быстро,
словно новый букет вина
по приказу того же министра.

Как вино: прокисла уже,
словно кофточка: проносилась,
и на очередном рубеже
ту мораль вывозят на силос.

* * *

Хвалить или молчать!
Ругать ни в коем разе.
Хвалить через печать,
похваливать в приказе,
хвалить в кругу семьи,
знакомому и другу,
повесить орден и
пожать душевно руку.
Отметить, поощрить,
заметить об удачах.
При этом заострить
вниманье на задачах,
на нерешенном, на
какой-нибудь детали.

Такие времена —
хвалебные —
настали.

* * *

Кто пьет, кто нюхает, кто колется,
кто богу потихоньку молится,
кто, как в пещере троглодит,
перед телевизором сидит,
кто с полюбовницей фланирует,
кто книги коллекционирует,
кто воду на цветочки льет,
кто, стало быть, опять же пьет.
Кто из подшивки, что пылится
на чердаке лет шестьдесят,
огромные тупые лица
Романовых — их всех подряд —
вырезывает и раскладывает,
наклеивает и разглядывает.
По крайней мере, в двух домах
я видел две таких таблицы,
где всей династии размах —
Романовых тупые лица.

РЕПЕРУНИЗАЦИЯ

Выдывает Перун отсыревший,
провонявший тиной речной.
Снова он — демиург озверевший,
а не идол работы ручной.

Снова бог он и делает вдох,
и заглатывает полмира,
а ученые баяли: сдох!
Баснями соловья кормили.

Вот он — держится на плаву,
а ныряет все реже и реже.
В безобразную эту главу
кирпичом — потяжеле — врежу.

Врежешь! Как же! Лучше гляди,
что там ждет тебя впереди.
Вот он. И — вот она — толпа.
Кто-то ищет уже столпа
в честь Перунова воскрешенья
для Перунова водруженья.

Кто-то ищет уже столба
для повешенья утопивших.
Кто-то оду Перуну пишет.
Кто-то тихо шепчет: судьба.

ПРОДЛЕННАЯ ИСТОРИЯ

Группа царевича Алексея,
как и всегда, ненавидит Петра.
Вроде пришла для забвенья пора.
Нет, не пришла. Ненавидит Петра
группа царевича Алексея.

Клан императора Николая
снова покоя себе не дает.
Ненавистью негасимой пылая,
тщательно мастерит эшафот
для декабристов, ничуть не желая
даже подумать, что время — идет.

Снова опричник на сытом коне
по мостовой пролетает с метлою.
Вижу лицо его подлое, злое,
нагло подмигивающее мне.

Рядом! Не на чужой стороне —
в милой Москве на дебелим коне
рыжий опричник, а небо в огне:
молча горят небеса надо мною.

* * *

Не домашний, а фабричный
у квасных патриотов квас.
Умный наш народ, ироничный
не желает слушаться вас.

Он бы что-нибудь выпил другое,
но, поскольку такая жара,
пьет, отмахиваясь рукою,
как от овода и комара.

Здешний, местный, тутошний овод
и национальный комар
произносит свой долгий довод,
ничего не давая умам.

Он доказывает, обрисовывает,
но притом ничего не дает.
А народ все пьет да поплевывает,
все поплевывает да пьет.

ГОРОЖАНЕ

Постепенно становится нас все больше,
и все меньше становится деревенских,
и стихают деревенские песни,
заглушенные шлягером или романсом.
Подпол — старинное длинное слово
заменяется кратким: холодильник,
и поет по утрам все снова и снова
городской петух — толстобрюхий будильник.

Постепенно становится нас все больше,
и деревня, заколовив все окна
и повесив пудовый замок на двери,
переселяется в город. Подале
от отчих стен с деревенским погостом
и ждет, чтобы в горсовете ей дали
квартиру со всем городским удобством.

Постепенно становится нас все больше.
Походив три года в большую школу
и набравшись ума, кто сколько может,
бывшие деревенские дети
начинают смеяться над бывшей деревней,
над тем, что когда-то их на рассвете
будил петушок — будильник древний.

Постепенно становится нас все больше.
Бывший сезонник ныне — заочник
гидротехнического института.
Бывший демобилизованный воин
в армии искусство шофера
вплоть до первого класса усвоил
и получает жилплощадь скоро.

Постепенно становится нас все больше,
и стихают деревенские песни,
именуемые ныне фольклором.
Бабушки дольше всех держались,
но и они вопрос решают
и, поимевши ко внукам жалость,
переезжают, переезжают.

РАЗГОВОРЫ О БОГЕ

Стесняясь и путаясь:
может быть, нет,
а может быть, есть,—
они говорили о боге,
подразумевая то совесть, то честь,
они говорили о боге.
А те, кому в жизни не повезло,
решили, что бог — равнодушное зло,
инстанция выше последней
и санкция всех преступлений.
Но бог на кресте, истомленный, нагой,
совсем не всесильный, скорей всеблагой,
сама воплощенная милость,
дойти до которой всем было легко,
был яблочком, что откатилось
от яблони — далеко, далеко.
И ветхий завет, где владычил отец,
не радовал больше усталых сердец.

Его прочитав, устремились
к тому, кто не правил и кто не карал,
а нищих на папертях собирал —
не сила, не право, а милость.

ГОРОДСКАЯ СТАРУХА

Заступаюсь за городскую старуху —
деревенской старухи она не плоше.
Не теряя ничуть куражу и духу,
заседает в очереди, как в царской ложе.

Голод с холодом — это со всяким бывало,
но она еще в очереди настоялась:
ведь не выскочила из-под ее обвала,
все терпела ее бесконечную ярость.

Лишена завалинки и природы,
и осенних грибов, и летних ягод,
все судьбы повороты и все обороты
все двенадцать месяцев терпела за год.

А как лифт выключали — а его выключали
и на час, и на два, и на две недели, —
это горше тоски и печальней печали.
Городские старухи глаза проглядели,

глядя на городские железные крыши,
слыша грохоты городского движения,
а казалось: куда же забраться повыше?
Выше некуда этого достижения.

Телевизор, конечно, теперь помогает,
внуки радуют, хоть их не много, а мало.
Только старость тревожит, болезнь помыкает.
Хоть бы кости ночами поменьше ломало.

КУЗЬМИНИШНА

Старуха говорит, что три рубля
за стирку — много.

И что двух — довольно.

Старуха говорит, что всем довольна,
родила б только хлебушко земля.

Старуха говорит, что хорошо
живет

и, ежели войны не будет,
согласна жить до смерти.

Молоко
с картошкой
пить и есть в охотку будет.

Старуха говорит, что над рекою
она вечер слыхала соловья.
— Пощелкал, и всю хворь
сняло рукою.
Заслушалась,
зарадовалась я!

СОН ОБ ОТЦЕ

Засыпаю только лицом к стене,
потому что сон — это образ конца
или, как теперь говорят, модель.
Что мне этой ночью приснится во сне?
Загадаю сегодня увидеть отца,
чтобы он с газетою в кресле сидел.

Он, устроивший с большим трудом
дом,
тянувший семью, поднявший детей,
обучивший как следует нас троих,
думал, видимо:
мир — это тоже дом,
от газеты требовал добрых вестей,
горько сетовал, что не хватает их.

«Непорядок», — думал отец. Иногда
даже произносил: — Непорядок! — он.
До сих пор в ушах это слово отца.
Мировая — ему казалось — беда
оттого, что каждый хороший закон
соблюдается,
но не совсем до конца.

Он не верил в хаос,
он думал, что
бережливость, трезвость, спокойный тон
мировое зло убьют наповал,
и поэтому он лицевал пальто
сперва справа налево, а потом
слева направо его лицевал.

выписывай все журналы и добрай из любви
все то, что недополучено, и
это доброе слово.

СТАРИКОВСКИЕ ДЕЛА

Стариковские у стариков,
небольшие совсем задачи.
Пожелаем без обиняков
старикам абсолютной удачи,
чтобы чтили их сыновья,
чтобы помогали лекарства,
чтоб заботы и даже семья
не заставили отвлекаться

от — кто хочет — домино,
от — кто хочет — философемы,
чтобы солнышко — даже оно
им подолее розовело,
чтобы у стариковских дверей
почтальоны почаще зывали,
чтоб листки календарей
старики долго-долго рвали.

* * *

Кто еще только маленький,
кто уже молодой,
кто еще молодой,
кто уже моложавый,
кто уже вовсе седой и ржавый,
выбеленный,
вымотанный
бедой.

Ручьи вливаются в речки,
речки — в реки.
Реки вливаются в океаны-моря
в то время, как старые древние греки
юным древним грекам завидуют и не зря.

Дед, на людной улице ведущий за руку внука,
объясняет внуку, но его наука
старше, даже, наверно, древнее,
но не вернее,

чем веселое и счастливое
знание молодежи,
и внук, послушав,
говорит: «Ну и что же?»

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Старики много думают: о жизни, смерти, болезни,—
великие философы, как правило, старики.
Между тем естественнее и полезней
просто стать у реки.

Все то, что в книгах или религии
и в жизненном опыте вы не нашли,
уже сформулировали великие
и малые реки нашей земли.

Соотношение воды и суши
мышленью мощный дает толчок
А в книгах это сказано суше,
а иногда и просто — молчок.

Береговушек тихие взрывы
под неосторожной ногой,
вялые лодки, быстрые рыбы
или купальщицы промельк нагой —
все это трогательней и священной
мыслей упорных, священных книг
и очень годится для обобщений,
но хорошо даже без них.

ФРЕСКА «ЗЛОБА ДНЯ»

(Фрагменты)

Старики обижаются, что старость хуже,
чем это кажется в молодости.
Старухи не обижаются, а ходят за стариками,
как толковые секундные стрелки за неprovорными
часовыми.

Впрочем, это — из фрески «Вечность».

Кандидат наук добился приема
у председателя райисполкома
и просит отдельную, трехкомнатную,
с окнами на двор, квартиру.

— Я сделал открытие! Не верите — звоните
хоть директору института!..—
Председатель райисполкома не верит,
но звонить никому не будет:
он самолично сделал открытие,
что кандидат наук — дубина.

Небо не изменилось с шестнадцатого века,
когда, согласно летописи, оно было голубое.
Солнце заходит в том же самом месте,
где заходило в шестнадцатом веке.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».

Закат багровит, кровавит пьяных.
Впрочем, трезвых он тоже багровит.

Три десятиклассницы — народные
дружинницы
с белыми бантами в русых косичках
и красными повязками на белых блузах
бродят по улице в часы получки.
На этой улице одна читальня,
одна забегаловка и два ресторана.
То-то девчонки наслушаются фольклору!

Солнце зашло, и бледные звезды
вышли на бледное небо.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».

Три телевизионные программы
слышатся из трех соседних окон.
Фестиваль студенческих песен
заглушает рассуждения
престарелого музыковеда
о вреде студенческих песен,
а истошный крик футбола
заглушает и музыку и слово.

Созвездие за созвездием
ходят по небу, как положено.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».
В подъезде большая студентка
громко целует маленького студента
и говорит: «Ты некрасивый,
но самый умный на целом свете!»

Это тоже из фрески «Вечность».

Маленькие девочки с большою силой
выплескивают маленький пруд на берег,
выкликают: «Братцы, тонем!»
Это тоже из фрески «Вечность».
Слегка замазанная известкой,
эта фреска проступает,
даже выпирает из фрески,
именуемой «Злоба дня».

ВНЕЗАПНО

Темно. Темнее темноты,
и переходишь с тем на «ты»,
с кем ни за что бы на свету,
ни в жизнь и ни в какую.
Ночь посылает темноту
смирять вражду людскую.

Ночь — одиночество. А он
шагает, дышит рядом.
Вселенской тьмы сплошной закон
похожим мерит взглядом.

И возникает дружба от
пустынности, отчаяния
и от того, что он живет
здесь, рядом и молчание
терпеть не в силах, как и я.

Во тьме его нащупав руку,
жму, как стариннейшему другу.

И в самом деле — мы друзья.

* * *

Какая цель у человечества?
Оно калечится, увечится,
оно надеется, отчаивается,
садится каждый день на мель
и каждый день почти кончается,
и вдруг вопрос: какая цель?

В какую щель ни забивали нас,
грозили нам какой войной,
но только цель не забывала нас,
все спрашивала: что со мной?

— Да ну тебя, не до тебя мне!
Но эта капля точит камни:
— Какая цель?
И как верней,
надежнее
прорваться к ней?

* * *

Слишком умственный характер
принимает разговор —
слишком точный, слишком краткий
поединок мозговой,

слишком эрудиционный,
слишком нетрадиционный,
с лишком страсти и огня.
Чересчур не для меня.

И на форуме колоссов
места я не нахожу,
и, смущение отбросив,
я встаю и ухожу.

Лучше я пойду к соседу —
педагогу-старика
и старинную беседу —
воду в ступе — истолку.

Истолку и истолкую,
что там нового в кино,
а на форум ни в какую —
слишком для меня темно.

* * *

Когда ругали мы друг друга,
когда смеялись друг над другом,
достаточные основания
имел любой для беснованья.

В том беснованьи ежечасном
неверен в корне был расчет,
ведь только промолчавший — счастлив,
только простивший
был прощен.

Очки

Все на свете успешно сводивший к очкам,
математик привык постепенно к очкам,
но успел их измерить и взвесить:
минус столько-то. Кажется, десять.
Это точкой отсчета стало. С тех пор,
как далекая линия гор
вдруг приблизилась. В то же время
переносицу сжало бремя.

— Минус десять! — очки математик считал.
У него еще был капитал
из рассветов, закатов, жены и детей,
вечерами — интеллектуальных затей,
интересной работы — утрами
и огромной звезды,
что венчала труды
дня — в оконной тускнеющей раме.

За очками другие пошли минуса:
прежде дружественные ему небеса,
что одни лишь надежды питали,
слишком жаркими стали.
Сердце стало шалить. Юг пришлось отменить,
в минус двадцать он это решил оценить.
Разбредалась куда-то с годами семья,
постепенно отламывались друзья
и глупее казались поэты.

Он оценивал в цифрах все это.
Смолоду театрал, он утратил свой пыл
и дорогу в концерты навечно забыл,
и списались былые восторги,
оцененные им по пятерке.

Лестницы стали круче. Зима — холодней,
и удовлетворенье от прожитых дней
заменила сплошная усталость.

— Минус двести! — подумал он. — Старость.
Что же, старость так старость. Быть может, найду
то, что мне полагается по труду:
отдых; книги; закат беспечальный;
свой розарий индивидуальный.

Стал он Канта читать. Горек был ему Кант.
Солон был ему Кант. Хоть, конечно, талант
и по силе своих построений,
по изысканной сложности — гений.
Эти сложности он, как орехи, колол!

Он бы смолоду Канта в неделю смолол!
А сейчас голова загудела.
— Минус сто,— он сказал,— плохо дело.
Свежесть мысли прошла. Честность мысли — при нем,
Понимая вполне, что играет с огнем,
Канта более он не читает,
а его из себя вычитает.
Разошелся запас, размотался клубок,
а гипотезе недоказанной: Бог —
смолоду не придал он значенья.
Бог и выдал его без сомненья.
Выдал Бог! Заглушая все звуки в ушах,
просто криком кричит: сделай шаг, сделай шаг,
тот единственный шаг, что остался.
Ты считал. И ты — просчитался.

* * *

Умирают отцы и матери,
Остаются девочки и мальчики.
Их сначала гладят по головкам,
Говорят: «Теперь держись!»,
А потом пускают галопом
Через жизнь.

Умирают девочки и мальчики.
Остаются отцы и матери.
Эти живут — медленно.
Им спешить — некуда.
Все давно — сделано.
Больше делать — нечего.

ПАМЯТИ ОДНОГО ВРАГА

Умер враг, который вел огонь
в сторону мою без перестану.
Раньше было сто врагов.
Нынче девяносто девять стало.

Умер враг. Он был других не злее,
и дела мои нехороши.
Я его жалею от души:
сотня — цифра все-таки круглее.

Сколько лет мы были неразлучны!
Он один уходит в ночь теперь.
Без меня ему там будет скучно.
Хлопнула — по сердцу словно — дверь.

ВЫДЕРЖКА

Плакал старый сановник, узнав про инфаркт,
не тогда, когда внутренней финкой резнули,
а тогда, когда дети с женою заснули
и за окнами стих торопливый Арбат.

Боль была такова, что ни чин, ни права,
и ни личные связи в аптечной конторе
исчерпать, а не то чтобы сжечь, это море
не могли. Боль была велика, как Москва.

Но старинная выдержка лет тридцати
заседаний и сессий, речей и молчания
помогла, пособила осилить отчаяние
и по этой тропе осторожно пройти.

Улыбаясь от бедствия, словно казах,
словно Азия перед сиянием бездны,
вел себя как обычно — спокойно, любезно
у семьи, у сиделки, у всех на глазах.

Личный опыт и знание того, что нельзя
и что все-таки можно, и былая закалка
помогли этот день, извиваясь, скользя,
перейти, пережить, впрочем — шатко и валко.

Но сейчас он остался один. Он закрыл
голубые глаза, впал во сны или в думы.
Шум семьи вскоре стих. Шум беды, ее крик,
плеск
покрыл, перекрыл маловажные шумы.

Ливень середь полей в сердцевине беды!
в урагане недоли! в потоке несчастья!
И тогда он заплакал: от боли отчасти
и отчасти от мысли: напрасны труды.

Да, напрасны усилия долгого дня
и деяния жизни короткой напрасны.
Это ясно. А прочее было неясно
и ненужно. И смерть надвигалась звеня.

Значит, вот как приходит! Густеющий звон,
колокольный, набатный, нет, гуще и слаще.
Он последним усилием из гущи и чащи
вылез. Снялся с учета и выскочил вон.

ХОРОШАЯ СМЕРТЬ

И при виде василька
и под взглядом василиска
говорил, что жизнь легка,
радовался, веселился,
улыбался и пылал.
Всё — с улыбочкой живою.
Потерять лицо желал
только вместе с головою.

И, пойдя ему навстречу,
в середине бодрой речи,
как жужжанье комара,
прервалась его пора,
время, что своим считал...
Пять секунд он гаснул, глохнул,
воздух пальцами хватал —
рухнул. Даже и не охнул.

* * *

Рядовым в ряду,
строевым в строю
общую беду
лично, как свою,
общий груз задач
на себе таскал,
а своих удач
личных — не искал.

Человек в толпе,
человек толпы —
если он в тепле
и ему теплы
все четыре угла
его площади,—
жизнь его прошла
как на площади.

На виду у всех
его век прошел.
Когда выпал снег,
и его замел.
И его замел
этот самый снег,
тот, что шел и шел,
шел и шел навек.

* * *

Прожил жизнь, чтобы выяснить, что все кончается
у счастливых, а также у тех, кто отчается.
И отчаянье, и ужасный конец —
все имеет конец.

Но пока выяснял, он рассветы встречал
и закаты
и опыт свой малый удвоил.
И усвоил себе все начала начал,
прежде чем окончанье конца он усвоил.

Небеса над ним плыли огромные, синие.
Солнце днем его жгло, ночью мгла его жгла.
И он понял, что жизнь — бесконечная линия,
и он понял, что смерть, словно точка, мала.

* * *

Тщательно, как разбитая армия
войну забывает, ее забыл,
ее преступления, свои наказания
в ящик сложил, гвоздями забил.

Как быстро склеивается разбитое,
хоть вдребезги было разнесено!
Как твердо помнится забытое:
перед глазами торчит оно.

Перед глазами,
перед глазами
с его упреками,
с ее слезами,
с его поздней мудростью наживной,
с ее оборкою кружевной.

* * *

Что думает его супруга дорогая,
с такую яростью оберегая
свою семью, свою беду,
свой собственный микрорайон в аду?

За что цепляется?
Царапает за что,
когда, закутавшись в холодное пальто,
священным вдохновением объята,
названивает из автомата?

Тот угол, жизнь в который загнала,
зачем она, от бешенства бела,
с аргументацией такой победной
так защищает,
темный угол, бедный?

Не лучше ли без спору сдать позиции,
от интуиции его, амбиции
отделавшись и отказавшись вдруг?
Не лучше ли сбить с рук?

Но не учитывая, как звонок
сопернице
сторицей ей воздастся,
она бежит звонить, сбиваясь с ног
и думая:
«А может быть, удастся?»

* * *

Молодая была, красивая,
озаряла любую мглу.
Очень много за спасибо
отдавала. За похвалу.
Отдавала за восхищение.
Отдавала за комплимент
и за то, что всего священнее:
за мгновение, за момент,
за желание нескрываемое,
засыпающее, как снег,
и за сердце, разрываемое
криком:

— Ты мне лучше всех!
Были дни ее долгие, долгие,

ночи тоже долгие, долгие,
и казалось, что юность течет
никогда нескончаемой Волгой,
год-другой считала — не в счет.
Что там год? Пятьдесят две недели,
воскресенья пятьдесят два.
И при счастье, словно при деле,
оглянуться — успеешь едва.
Что там год? Ноги так же ходят.
Точно так же глаза глядят.
И она под ногами находит
за удачей удачу подряд.
Жизнь не прожита даже до трети.
Половина — ах, как далека!
Что там год, и другой, и третий —
проплывают, как облака.

Обломлю конец в этой сказке.
В этой пьесе развязку — свинчу.
Пусть живет без конца и развязки,
потому что я так хочу.

ЗЕРКАЛЬЦЕ

— Ах, глаза бы мои не смотрели! —
Эти судорожные трели
испускаются только теперь.
Счет закрылся. Захлопнулась дверь.

И на два огня стало меньше,
два пожара утратил взгляд.
Все кончается. Даже у женщин.
У красавиц — скорей, говорят.

Из новехонькой сумки лаковой
и, на взгляд, почти одинаковой
старой сумки сердечной

она
вынимает зеркальце. Круглое.
И глядится в грустное, смуглое,
отраженное там до дна.

Помещавшееся в ладони,
это зеркальце мчало ее
побыстрей, чем буланые кони,
в ежедневное бытие.

Взор метнет
или прядь поправит,
прядь поправит
и бросит взгляд,
и какая-то музыка славит
всю ее!
Всю ее подряд!

Что бы с нею там ни случилось —
погляди и потом не робей!
Только зеркальцем и лечилась
ото всех забот и скорбей.

О ключи или о помаду
звякнет зеркальце на бегу,
и текучего счастья громада
вдруг зальет, развеет беду.

Столько лет ее не выдавала
площадь маленького овала.
Нынче выдала.
Резкий альт!
Бьется зеркальце об асфальт.

И, преображенная гневом
от сознания рубежа,
высока она вновь под небом,
на земле опять хороша.

ПЕТРОВНА

Как тоскливо в отдельной квартире
Серафиме Петровне,
в чьем мире
коммунальная кухня была
клубом,

как ей теперь одиноко!
Как ей, в сущности, нужно немного,
чтобы старость успешнее шла!

Ей нужна коммунальная печь,
вдоль которой был спор так нередок.
Ей нужна машинальная речь
всех подружек ее,
всех соседок.

(Раньше думала: всех врагинь —
и мечтала разъехаться скоро.
А теперь —

и рассыпья, и сгинь,
тишина!
И да здравствуют ссоры!)

И старуха влагает персты
в раны телефонного диска,
и соседке кричит: — Это ты?
Хорошо мне слышно и близко!..

И старуха старухе звонит
и любовно ругает: — Холера! —
И старуха старуху винит,
что разъехаться ей так горело.

КАФЕ-СТЕКЛЯШКА

В кафе-стекляшке малого разряда,
похожем более всего на банку
из-под шпината или маринада,
журчали в полдень девушки из банка.

Минут по сорок за сорок копеек,
а может быть, за пятьдесят копеек,
алело перед ними, как репейник,
то солнце, что признал еще Коперник.

К тем девушкам из банка и сберкасы,
как тяжелоподъемные баркасы,
из техникума парни прибывали
и добродушно их с пути сбивали.

Светило солнце радостно и мило,
весь свет был этим блеском переполнен,
был полдень дня, а также полдень мира
и века девичьего тоже полдень.

Во время перерыва снова, снова
закладывались здесь любви основы
и укрепляли также дружбу, дружбу,
чтоб после бодро побежать на службу.

И сквозь стекло все было так наглядно,
так было ясно, так понятно было.
Сама судьба, решившая: — Нагряну! —
взглянула и надолго отложила.

* * *

Поём. А в песне есть
в смешеньи с правдой голой
и музыка, и текст,
и, что важнее, голос.

А в песне есть тоска,
а в песне есть синкопы
и пехтуры река,
залившая окопы.

И прополаскивая
гортани ураганом,
вплывает нота ласковая,
несомая органом.

И переворачивая
сердца до основанья,
вплывает нота вкрадчивая,
ропща и изнывая.

То нежась, то лентясь,
пропитываясь снами,
то с нами, то для нас
она плывет над нами.

* * *

В этот вечер, слишком ранний,
только добрых жду вестей —
сокращения желаний,
уменьшения страстей.

Время, в общем, не жестоко:
все поймет и все простит.
Человеку нужно столько,
сколько он в себе вместит.

В слишком ранний вечер этот,
отходя тихонько в тень,
применяю старый метод —
не копить на черный день.

Будет день, и будет пища.
Черный день и — черный хлеб.

Белый день и — хлеб почище,
повкусней и побелей.

В этот слишком ранний вечер
я такой же, как с утра.

Я по-прежнему доверчив,
жду от жизни лишь добра.

И без гнева, и без скуки,
прозревая свет во мгле,
холодеющие руки
грею в тлеющей золе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Минуя свое прямое начальство,
минуя следующее начальство,
минуя самое большое,
обращаюсь с открытой душою
прямо к читателю.

Товарищ читатель, купивший меня
за незаметную для бюджета
сумму,

но ждущий от поэта
поддержки внутреннего огня.
Товарищ читатель! Я остался
таким, как был. Но я — устал.
Не то чтобы вовсе излетался,
но полклубка уже размотал.

Как спутник, выпущенный на орбиту
труда и быта,
скоро

в верхний слой атмосферы
войду. И по-видимому — сгорю.
Но то, что я говорю,
быть может, не будет сразу забыто.
Не зря я копался в своем языке.
Не зря мое время во мне копалось:
старый символ поэзии — парус —
год или два

я сжимал в руке.
Год или два

те слова,
что я писал,
говорила Москва.

Оно отошло давным-давно,
время,
 выраженное мною,
с его войною и послевойною.
Но,
как в хроникальном кино,
то, что снято, то свято.
Вечность
 даже случайного взгляда,
какие-то стороны, грани, края
запечатлели пленка и я.

Храните меня в Белых Столбах,
в знаменитом киноархиве,
с фильмами — хорошими и плохими,
с песней,
 почему-то забытой в губах.

Я ЭТО Я

Я это только я. Не больше.
Но, между прочим, и не меньше.
Мне, между прочим, чужого не надо,
но своего отдавать не желаю.
Каждый делает то, что может,
иногда — сто три процента.
Требовать сто четыре процента
или сто пять довольно странно:
я это только я. Не больше.

Но, между прочим, и не меньше.
Раза три, а точнее, четыре
прыгал я выше лба своего же.
Как это получалось — не знаю,
но параметры и нормативы
выполнялись, перевыполнялись,
завышались и возвышались.
— Во дает,— обо мне говорили
самые обыкновенные люди,
а необыкновенные люди
говорили: «Сверх ожидания!»
Это было заснято на пленку.
Пленку многократно крутили.

При просмотре было ясно:
я это только я. Не больше.
Но рекорд был все же поставлен,
но прыжок был все-таки сделан.
Так что я все-таки больше,
пусть немного, чем думали люди.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я вернулся из странствия, дальнего столь,
что протерся на кровлях отечества толь.
Что там толь?
И железо истлело,
и солому корова изъела.

Я вернулся на родину и не звоню,
как вы жили, Содом и Гоморра?
А бывало, набатец стабильный на дню —
разговоры да переговоры.

А бывало, по сто номеров набирал,
чтоб услышать одну полуфразу,
и газеты раскладывал по номерам
и читал за два месяца сразу.

Как понятие новости сузилось! Ритм
как замедлился жизни и быта!
Как немного теперь телефон говорит!
Как надежно газета забыта!

Пушкин с Гоголем остаются одни,
и читаю по школьной программе.
В зимней, новеньким инеем тронутой раме —
не фонарные, звездные
блещут огни.

* * *

Уже не холодно, не жарко,
а так себе и ничего.
Уже не жалко ничего
и даже времени не жалко.
Считает молодость года,
и щедро тратит годы старость.
О времени жалеть, когда
его почти что не осталось?

А для чего его жалеть —
и злобу дня и дни без злобы?
Моей зимы мои сугробы
повсюду начали белеть.

Не ремонтирую часов,
календарей не покупаю.
Достаточно тех голосов,
что подает мне ночь слепая.

* * *

А что же все-таки, если бог
и в самом деле есть?
Я прожил жизнь, не учитывая
того, что он, может быть, есть.
Если он есть, он учтет
то, что я его не учел,
все смешки и насмешки мои,
все грешки и спешки мои.
Что же мне делать, если бог
и в самом деле есть?
Он библейский бог с бородой,
сказочный,
с живой и мертвой водой?
Или бог не верящих в бога
надомных философов — их ведь много?
Некое нечто, но не ничто
не со всеблагостью, так со всевластьем.
Я сомневаюсь, а он на то
смотрит со зловещим участием.
Он присмотрелся, наверно, ко мне.
Он меня взвесил, учел и вычел.
Вряд ли он мне забыл то,
что я его отрицал.
Вряд ли он меня простил,
если он все-таки есть.

* * *

Если вас когда-нибудь били ногами —
вы не забудете, как ими бьют:
выдует навсегда сквозняками
все мировое тепло и уют.

Не люблю надменности поэтической,
может быть, эстетической,
вряд ли этической.

Не люблю вознесения этой беды
выше, чем десяти поколений труды.

Озираясь, как будто бы чуя погоню,
голову боязливо втянув в воротник,
торопливо, надменно, робко и беспокойно
мы, поэты, проходим меж всяких иных.

* * *

Много псевдонимов у судьбы:
атом, рак, карательные органы
и календари, с которых сорваны
все листочки. Если бы, кабы
рак стал излечимым, атом — мирным,
органы карательные все
крестиком отчеркивали жирным
нарушенья знаков на шоссе,
вслед за тридцать первым декабря
шел не новый год — тридцать второе,
были б мудрецы мы и герои,
жили б очень долго и не зря.

Но до придорожного столба
следующего

все мои усилия,
а затем судьба, судьба, судьба —
с нею же не справлюсь, не осилю,

а какую надпись столб несет,
это несущественно, не в счет.

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Хочется живому жить да жить.
Жить до самой смерти, даже позже.
Смерть до самой смерти отложить
и сказать ей нагло: ну и что же.

Завтрашние новости хочу
услыхать и обсудить с соседом,
чрево ублажить хочу обедом
и душой к чужой душе лечу.

Все кино хочу я досмотреть,
прежде чем залечь в сырой могиле.
Не хочу, чтоб в некрологе смерть
преждевременной определили.

Предпочту, чтоб молодой наглец
мне в глаза сказать решился:
что ты все живешь?
Совсем зажился!
Хоть бы кончился ты, наконец.

* * *

Терплю свое терпение
который год,
как пение сольфеджио
девчонкой за стеной.
Девчонка безголосая
горлянку дерет,
и за душу терпение
мое меня берет.

Обзавожусь привычками
и привыкаю к ним,
то предаюсь порокам,
то делаю добро.
Девчонка безголосая
все занята одним:
за гаммой гамму гонит,
как поезда метро.

Усилие, которое
казалось мне бедой,
потом в привычку входит
и входит в обиход.
А я, словно корова,—
не страшен мне удой.
Терплю свое терпение
который год.

НЕ ЗА СЕБЯ ПРОШУ

Седой и толстый. Толстый и седой.
Когда-то юный. Бывший молодой,
а ныне — зрелый и полупочтенный,
с какой-то важностью, почти потешной,
неряшлив, суетлив и краснолиц,

штаны подтягивая рукою,
какому-то из важных лиц
опять и снова не дает покоя.

В усы седые тщательно сопя,
он говорит: «Прошу не за себя!»

А собеседник мой, который тоже
неряшлив, краснолиц, и толст, и сед,
застенчиво до нервной дрожи
торопится в посольство на обед.

— Ну что он снова пристаёт опять?
Что кланчит? Ну, ни совести, ни чести!

Назад тому лет тридцать, тридцать пять
они, как пшут, начинали вместе.

Давно начало кончилось. Давно
конец дошел до полного расцвета.

— И как ему не надоест все это?
И как ему не станет все равно?

На солнце им обоим тяжело —
отказываться так же, как стараться,
а то, что было, то давно прошло —
все то, что было, если разобраться.

* * *

Хорошо быть надеждой. Плохо
быть последней надеждой.
Плохо быть той стеной,
припирают к которой спиной.
Это тоже испытано мной.

Отбояриваться от отчаяния,
от скромнейшего ни-гу-гу,
от трагического молчания
не желаю даже врагу.
Лично я — не могу.

Зато как хорошо, если выгод
не щадя, не считая затрат,
вдруг находишь единственный выход.
До чего же он счастлив и рад.
Ты — счастливей стократ.

Все, что было нехорошо,
вдруг становится хорошо.
На себя, как на Господа Бога,
смотришь в зеркало. Было плохо,
но ты сделал все хорошо.

* * *

Сентиментальность. Область чувств.
Я этой области не чужд.
Я в эту область въезж и вхож
и только потому я гожд
не только вкусику кружка,
но и большому вкусу круга,
где понимают дружбу друга,
осознают вражду врага.

САМЫЙ СТАРЫЙ ДОЛГ

Самый старый долг плачу:
с ложки мать кормлю в больнице.
Что сегодня ей приснится?
Что со стула я лечу?

Я лечу, лечу со стула.
Я лечу,
лечу,
лечу...

— Ты бы, мамочка, соснула.—
Отвечает: — Не хочу...

Что там ныне ни приснись,
вся исписана страница
этой жизни.
Сверху — вниз.
С ложки
мать кормлю в больнице.

Но какой ни выйдет сон —
снится маме утомленной:
это он,
это он,
с ложки
некогда
кормленный.

* * *

Я был либералом,
при этом — гнилым.
Я был совершенно гнилым либералом,
увертливо скользким, как рыба налим,
как город Нарым — обмороженно вялым.

Я к этому либерализму пришел
не сразу. Его я нашел, как монету,
его, как билетик в метро, я нашел
и езжу, по этому езжу билету.

Он грязен и скомкан. С опаской берет
его контролер, с выражением гнева.
Но все-таки можно проехать вперед,
стать справа и проходить можно слева.

О, как тот либерализм ни смешон,
я с ним, как с шатром переносным, кочую.
Я все-таки рад, что его я нашел.
Терять же покуда его не хочу я.

* * *

— Как ты смеешь? Как ты можешь? Что ты хочешь? —
Басом тенором баритоном
в шутку всерьез равнодушно
враги друзья своя совесть
вчера сегодня завтра
Отвечал этому хору:
— Я не могу иначе.

АСТРОНОМИЯ И АВТОБИОГРАФИЯ

Говорят, что Медведиц столь медвежеватых
и закатов, оранжевых и рыжеватых,—
потому что какой же он, к черту, закат,
если не рыжеват и не языкат,—

в небесах чужеземных я, нет, не увижу,
что граница доходит до неба и выше,
вдоль по небу идет, и преграды тверды,
отделяющие звезду от звезды.

Я вникать в астрономию не собираюсь,
но, родившийся здесь, умереть собираюсь
здесь! Не где-нибудь, здесь! И не там —
только здесь!
Потому что я здешний и тутошний весь.

* * *

Поправляй меня, Родина! Я-то
поправлял тебя, если мог.
Сколько надо, меду и яду
подмешай в ежедневный паек.

У взаимного восхищения
нету, в сущности, перспектив.
Поправляй меня, коллектив!
Я не жду твоего прощения.

Четверть века осталось всего
веку. Мне и того помене.
И присутствовать при
размене
комплиментов моих и его

не желаю и не хочу.
Это мне и ему некстати.
Лучше этот стишок вручу —
для архива, не для печати.

* * *

Короткий переход из сна
в действительность сквозь звон
будильника. И вот она —
действительность. А сон
лежит разбитой скорлупой,
такой забытый и слепой.

Вам снился только что набат
или такой звонок,
когда вы с головы до пят
дрожите, со всех ног
сбиваясь, броситесь на зов
идущих сверху голосов.

Действительность же хороша
тем, что при свете дня
воочию узрит душа,
кто вызывал меня,
кто призывал и почему
и надо ли внимать ему.

И страшное во тьме ночной —
не страшно, а смешно,
и ничего ему со мной
не сделать все равно.
Не сделать ничего ему,
и солнце разгоняет тьму.

* * *

Я — пожизненный, даже посмертный.
Я — надолго, пусть навсегда.
Этот временный,
этот посменный
должен много потратить труда,
чтоб свалить меня,
опорочить,
и жалеючи силы его,
я могу ему напророчить,
что не выйдет со мной ничего.
Как там ни дерет он носа —
все равно прет против рожна.
Не вытаскивается заноза,
если в сердце сидит она.
Может быть, я влезал,
но в душу,
влез, и я не дам никому
сдвинуть с места мою тушу —
не по силе вам,
не по уму.

* * *

А если вы не поймете —
я буду вам повторять.
А снова не уразумеете —
я повторю опять.
И так до пяти раз,

а после пяти
надо откланяться
и уйти.

Но я же только вторично
крики свои кричу
и разъясняю отлично,
что разъяснить хочу,
а вы еще долго можете
плечами пожимать,
не понимать и снова,
опять не понимать.

* * *

Век вступает в последнюю четверть.
Очень мало непройденных вех.
Двадцать три приблизительно через
года — следующий век.

Наш состарился так незаметно,
юность века настолько близка!
Между тем ему на замену
подступают иные века.

Между первым его и последним
годом

жизни моей весь объем.

Шел я с ним — сперва дождиком летним,
а потом и осенним дождем.

Скоро выпадут снегом, снегом
вместе с ним, двадцатым веком.

За порог его не перейду,
и заглядывать дальше не стану,
и в его сплоченном ряду
прошагаю, пока не устану,
и в каком-нибудь энском году
на ходу
упаду.

НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ

Жил я не в глухую пору,
проходил не стороной.
Неоконченные споры
не окончатся со мной.

Шли на протяжении суток
с шутками или без шуток,
с воздеванием к небу рук,
с истиной, пришедшей вдруг.
Долог или же недолог
век мой, прав или не прав,
дрезбег зеркала, осколок
вечность отразил стремглав.
Скоро мне или не скоро
в мир отправиться иной —
неоконченные споры
не окончатся со мной.
Начаты они задолго,
за столетья до меня,
и продлятся очень долго,
много лет после меня.
Не как повод,
не как довод,
тихой нотой в общий хор
в длящийся извечно спор
я введу свой малый опыт.
В океанские просторы
каплею вольюсь одной.
Неоконченные споры
не окончатся со мной.

* * *

Зачем, великая, тебе
со мной, обыденным, считаться?
Не лучше ль попросту расстаться?
Что значу я в твоей судьбе?

Шепчу, а также бормочу.
Страдаю, но не убеждаю.
То сяду, то опять вскочу,
хожу, бессмысленно болтаю.

Не умолю. И не смолчу.

РОЖОН

В охотоведеньи — есть такой
музей, не хуже других, —
я гладил собственной рукой
рожон. Без никаких.

На пулеметы немецкие — пер.
На волю Господню — пер.
Как вспомнишь занесенный топор —
шибает в пот — до сих пор!

Но только вспоминать начну
Отечественную войну
и что-нибудь еще вспомяну —
все сводится к рожну.

Быть может, я молод очень был
и не утратил пыл,
быть может, очень сильно любил
и только потом — забыл.

Хочу последние силы собрать
и снова выйти на рать
и против рожна еще раз — прать
и только потом — умирать.

ГАШЕНИЕ СКОРОСТЕЙ

Итак, происходит гашение скоростей,
и наша планета,
пускай продолжая вращение,
любой из своих разнообразных частей
дрожит, словно зверь в состоянии укрощения.

Итак, переходят, как из самолета — в такси
и как из такси — в старомодный трамвай тихоходный,
и наша планета,
подрагивая на оси,
из кавалерийской
становится снова пехотной.

Она на секунды считала — теперь на года.
Газеты читала — теперь она книги читает.
Ей кажется (сдуру),
что никто,
никогда
былых ускорений
не испытает.

И новости спорта преобладают с утра,
а вечером — новости театра, кино, телевидения,
и новости жизни
 куда удивительнее,
чем новости смерти,
 не то что вчера.

Быть может, впервые с тех пор, как студент молодой
стрелял по эрцгерцогу
в глуши тихоходной, сараевской,
планета
 замедлить свой ход,
 не ускорить,
 старается,
задумчиво глядя на чаши
 с живою и мертвой водой.

* * *

Фантаст не должен жить слишком долго,
не то грядущее спуска не даст,
не то не уклониться от долга
проверки, хороший ли он фантаст.

Его современники, они же потомки,
устроят привал и снимут котомки,
и вынут залистанные тома,
чтоб их проверяла жизнь сама.

Пророку нет горшего наказания,
чем если не сбудется предсказанье
— не так, не как сказано, не точь-в-точь,—
назвался пророком, так верно пророчь.

А вы, свидетели полуживые,
что ваше пророчество не сбылось,
не раз улыбки ваши кривые,
согбенные вы видеть пришлось.

Я видел, как вы пожимали плечами,
с грядущим столкнувшись лицом к лицу,
когда те сроки, что вы намечали,
без перемен подходили к концу.

* * *

Вдох и выдох.
Выдохов больше
оказалось, чем вдохов.
Вот и выдохлись понемногу.

В результате этой зарядки
разрядились.

Приседания, и подскоки,
и топтопы, и «заложите
ваши руки за вашу шею»
или «сделайте шаг на месте».

Шаг на месте давно сменился
шагназадом, обратным, попятным.
Регулярные вдох и выдох
обернулись вульгарной одышкой.

* * *

Это — старое общество
с узким выходом, еще более суженным входом.
Средний возраст растет с каждым годом.

Пионерского возраста меньше, чем пенсионного возраста.
Много хворости.
Мало возгласа.
Это — старое общество.

Говорят, что в Китае — все китайское. А каковское
Здесь? Как у всех стариков — стариковское.

Умирает все меньше людей.
Еще меньше рождается.
И все меньше детей
на бульварах в качалках качается.
На бульварах,
когда-то захваченных
хулиганами и милиционерами,
флегматичные шахматисты
стучат в домино
с молчаливыми пенсионерами.

Все приличное. Все обычное, обыкновенное.
Еще прочное, обыденное, долгосрочное.

Все здоровое, я бы сказал — здоровенное,
но какое-то худосочное.

Оборона поставлена лучше, чем нападение.
Аппетиты, как у всех стариков, — уменьшаются.
Но зато, как у всех стариков, поощряется бдение,
также — бдительность повышается.

За моральным износом
идет несомненный физический.
Но пока от него далеко до меня.
И, следя по утрам, как седеют на гребне вычески,
старики головами мотают, как лошади от слепня.

* * *

Одни обзавелись детьми. Другие впали в детство.
Никто не может обойтись без игр и без затей.
И все наследство Маршака, Чуковского
наследство —
у сущих, бывших или будущих детей.

Уже давно открылись дыхания вторые,
и сколько ни совершено, а больше — предстоит.
И вот на «Мойдодыре» стоит санитария,
на мистере, на Твистере политика стоит.

* * *

Обжили ад: котлы для отопленья,
для освещенья угли.
Присматривай теперь без утомленья,
чтоб не потухли.

Зола и шлак пошли на шлакоблоки
и выстроили дом.
Итак, дела теперь совсем не плохи,
хоть верится с трудом.

ИЗ «А» В «Б»

До чего довели Плутарха,
как уделали Карамзина
пролетарии и пролетарки
и вся поднятая целина?

До стоического коварства,
раскрываемого нелегко,
и до малороссийского фарса,
и до песенки «Сулико».

До гиньоля, до детектива,
расцветающих столь пестро,
довели областные активы
и расширенные бюро.

Впрочем, это было и будет,
и истории нету иной.
Тот, кто это теперь забудет,
тот, наверно, давно больной.

Если брезгуете и гребуете
и чего-то другого требуете,
призадумавшись хоть на миг,
жалуйтесь! На себя самих.

* * *

Запах лжи, почти неуследимый,
сладкой и святой, необходимой,
может быть, спасительной, но лжи,
может быть, пользительной, но лжи,
может быть, и нужной, неизбежной,
может быть, хранящей рубежи
и способствующей росту ржи,
все едино — тошный и кромешный
запах лжи.

* * *

Ими пренебрегали их личные кучера,
и неохотно брили их личные брадобрей,
и личные лакеи лениво носили ливреи.
Но это не означало, что наступила пора.

История застряла в болоте, как самосвал,
и никому неохота было ее вытаскивать,
и в зимней медвежьей спячке весь мир тогда
пребывал,
и никому неохота было его выталкивать.

Ведь было свечение над головой,
какая-то светлость шла.
Он умер давно, а будто живой
влезает в наши дела.

Влезает — и кулачком по столу!
Сухим своим костяным!
И нимб распространяет мглу —
как это мы объясним?

ПАВЕЛ-ПРОДОЛЖАТЕЛЬ

История. А в ней был свой Христос.
И свой жестокий продолжатель Павел,
который все устроил и исправил,
сломавши миллионы папирос,
и высыпавши в трубочку табак,
и надымивши столько, что доселе
в сознании, в томах, в домах
так до конца те кольца не осели.
Он думал: что Христос? Пришел, ушел.
Расхлебывать труднее, чем заваривать.
Он знал необходимость пут и шор
и действовать любил, не разговаривать.
Недаром разгонял набор он вширь
и увеличивал поля, печатая
свои евангелия. Этот богатырь
краюху доедал уже початую.
Все было сказано уже давно
и среди сказанного было много лишнего.
Кроме того, по должности дано
ему было добавить много личного.
Завидуя инициаторам,
он подо всеми инициативами
подписывался, притворяясь автором
с идеями счастливыми, ретивыми.
Переселив двенадцать язык,
претендовал на роль в языкознании.
Доньше этот грозный окрик, зык
в домах, в томах, особенно в сознании.
Прошло ли то светило свой зенит?
Еще дают побегу эти корни.
Доньше вскакиваем, когда он звонит
нам с того света
по вертушке горней.

* * *

Хорошо подготовленный случай —
в древней, стало быть, самой лучшей,
в той традиции, что Нерон
подготовил со всех сторон:

с виду этот случай случаен,
мы не ждем его и не чаем,
но его уже репетировали,
и на картах его проигрывали,
в лицах несколько раз имитировали
и из многих вариантов выбрали.

Сколько важных лиц в отставку уйдет,
а неважных — по шапке получит,
если он случайно не произойдет,
этот самый случайный случай.

Сила воли ратует за него,
сила мозга его исследует.
Ну, а если я не жду ничего,
это — правильно. Мне и не следует.

* * *

Жили — скоро, в хорошем темпе,
не желая считаться с теми,
кто по слабости душ и тел
осторожнее жить хотел.

Что нам будущее и прошлое,
если мы молодые и дошлые?
Что нам завтра,
что нам вчера,
если выкупались с утра?

Не оглядываясь, не планируя,
жили мы, как будто фланируя
как по набережной по вечерам,
и устраивали тарарам.

Как на самом переднем крае,
день бежал все быстрее и шумней
и засчитывался, невзирая
ни на что,
за двенадцать дней.

Израсходовали лимиты,
исчерпали боезапас,
и не действуют витамины,
не влияют больше на нас.

Как ни перебежай, ни черкай,
ни на солнце, ни под дождем,
даже в очереди за «Вечеркой»
больше мы новостей — не ждем.

* * *

Конечно, обозвать народ
толпой и чернью —
легко. Позвать его вперед,
призвать к ученью —
легко. Кто ни практиковал —
имел успехи.
Кто из народа не ковал
свои доспехи?

Но, кажется, уже при мне
сломалось что-то
в приводном ремне.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

Кто дает.
Кто берет.
Кто проходит вперед,
зазевавшихся братьев толкая.
Но у многих судьба не такая:
их расталкивает тот, кто прет.

Их расталкивают,
их отталкивают,
их заталкивают в углы,
а они изо мглы помалкивают
и поддакивают изо мглы.

Поразмыслив,
все же примкнул
не к берущим —
к дающим,
монотонную песню поющим,
влился в общий хор,
общий гул,

влился в общий стон,
общий шепот.
Персонально же — глотки не драг
и проделал свой жизненный опыт
с теми, кто давал,
а не брал.

* * *

Всем было жалко всех, но кой-кому —
особенно себя, а большинству
всех —
вместе всех
и всех по одному.
И я делю, покудова живу,
все человечество на большинство,
жаляющее всех,
и меньшинство,
свой, личный
предпочевшее успех,
а сверх того
не знающее ничего.
А как же классовая рознь? Она
деленьем этим обогащена:
на жадных и на жалостливых, на
ломоть последний раздающих всем
и тех, кто между тем
себе берет поболее, чем всем.

СТРАСТЬ К ФОТОГРАФИРОВАНИЮ

Фотографируются во весь рост,
и формулируют хвалу, как тост,
и голоса фиксируют на пленке,
как будто соловья и коноплянки.

Неужто в самом деле есть архив,
где эти фотографии наклеят,
где эти голоса взлелеют,
как прорицанья древних Фив?

Неужто этот угол лицевой,
который гош тебе, пока живой,
но где величье даже не ночует,
в тысячелетия перекочует?

Предпочитаю братские поля,
послевоенным снегом занесенные,
и памятник по имени «Земля»,
и монумент по имени «Вселенная».

* * *

Самоубийцы самодержавно,
без консультаций и утверждений,
жизнь, принадлежащую миру,
реквизируют в свою пользу.
Не согласовав с начальством,
не предупредив соседей,
не выписавшись, не снявшись с учета,
Не выключив газа и света,
выезжают из жизни.
Это нарушает порядок,
и всегда нарушало.
Поэтому их штрафуют,
например, не упоминают
в тех обоях, перечнях, списках,
из которых с такой охотой
удирали самоубийцы.

НА ФИНИШЕ

Значит, нет ни оркестра, ни ленты
там, на финише. Нет и легенды
там, на финише. Нет никакой.
Только яма. И в этой яме,
с черными и крутыми краями,
расположен на дне покой.

Торопиться, и суетиться,
и в углу наемном ютиться
ради голубого дворца
ни к чему, потому что на финише,
как туда ни рванешься, ни кинешься,
ничего нету, кроме конца.

Но не надо и перекланиваться,
и в отчаянии дозваниваться,
и не стоит терять лица.
Почему? Да по той же причине
потому что на финишной линии
ничего нету, кроме конца.

Нынешние письма болтают о том и о сем.
Гутируют мелочи и детали.
Они почему-то умалчивают обо всем,
о чем старинные письма болтали.

Что вычитают потомки из сдержанной болтовни
о здоровье знакомых и о чувствах родни,
о прочитанных книгах?

Что вычитают потомки о социальных сдвигах?

Но магнитофонные ленты, которые никто
не читывал! Запустили, сняли и уложили.
Грядущему поколению расскажут ленты зато,
как жили и чем дорожили.

О СМЕРТНОСТИ ЮМОРА

Остроумие вымерло прежде ума
и растаяло, словно зима
с легким звоном сосуллек
и колкостью льдинок.
Время выиграло без труда поединок.

Прохудились, как шубы на рыбьем меху,
и остроты, гонимые наверху,
и ценимые в самых низах анекдоты,
развивавшие в лицах все те же остроты.

Видно, рвется, где тонко,
и тупится, где
острие заостреннее, чем везде.
Что легко, как сухая соломка,
как сухая соломка, и ломко.

Отсмеявшись, мы жаждем иных остряков,
а покуда внимаем тому, кто толков,
основателен, позитивен, разумен
и умен,
даже если и не остроумен.

ФИЛОСОФЫ СЕГОДНЯ

Философы — это значит: продранные носки,
большие дыры на пятках от слишком долгой носки,
тонкие струи волоса, плывущие на виски,
миры нефилософии, осмысленные по-философски.

Философы — это значит: завтраки на газете, ужины на газете, обедов же — никаких, и долгое, сосредоточенное чтение в клозете философских журналов и философских книг.

Философы — это значит, что ничего не значит мир и что философ его переименует, не слушая, кто и что ему и как ему говорит. На свой салтык вселенную философ пересотворит.

Философы — это значит: не так уж сложен мир, и, если постараться, можно в нем разобраться, была бы добрая воля, а также здравая рация, был бы философ — философом, были бы люди — людьми.

* * *

На десятичную систему
вершки и версты переводим,
а сколько жили с ними, с теми,
кого за ворота проводим,
кому кивнем, кого забудем
и больше вспоминать не будем.

Теперь считаем на десятки
и даже — иногда на сотни
и думаем, что все в порядке.
Охотней? Может быть, охотней.
А сажени, аршины, версты?
А берковцы, пуды и унций?
Как рыбы на песке — отверсты
их рты — как будто бы аукаются.
И, вроде рыбы задохаясь,
в песок уходит и на слом,
вплывает в довременный хаос,
что было Мерой и Числом.
И лишь Толстой — его романы —
хранит миражи и обманы
додесятичных тех систем
и истину их вместе с тем.

МАМА!

Все равно, как французу — германские судьбы!
Все равно, как шотландцу — ирландские боли!

Может быть, и полезли, проникли бы в суть бы,
только некогда. Нету ни силы, ни воли.

Разделяющие государства заборы
выше, чем полагали, крепче, чем разумели.
Что за ними увидишь? Дворцы и соборы.
Души через заборы увидеть не смели.

А когда те заборы танкисты сметают,
то они пуще прежнего вырастают.
А когда те заборы взрывают саперы —
договоры возводят их ладно и споро.

Не разгрызли орешек тот национальный
и банальный и кроме того inferнальный!
Ни свои, ни казенные зубы не могут!
Сколько этот научный ни делали опыт.

И младенец — с оглядкой, конечно, и риском,
осмотрительно и в то же время упрямо,
на своем, на родимом, на материнском
языке
заявляет торжественно: Мама.

* * *

Еврейским хилым детям,
Ученым и очкастым,
Отличным шахматистам,
Посредственным гимнастам —

Советую заняться
Коньками, греблей, боксом,
На ледники подняться,
По травам бегать босым.

Почаще лезьте в драки,
Читайте книг немного,
Зимуйте, словно раки,
Идите с веком в ногу,
Не лезьте из шеренги
И не сбивайте вех.

Ведь он еще не кончился,
Двадцатый страшный век.

ВАША НАЦИЯ

Стало быть, получается вот как:
слишком часто мелькаете в сводках
новостей,
слишком долгих рыданий
алчут перечни ваших страданий.

Надоели эмоции нации
вашей,
как и ее махинации
средством массовой информации!
Надоели им ваши сенсации.

Объясняют детишкам мамыши,
защищают теперь аспиранты
что угодно, но только не ваши
беды,
только не ваши таланты.

Угол вам бы, чтоб там отсидеться,
щель бы, чтобы забиться надежно!
Страшной сказкой
грядущему детству
вы еще пригодитесь, возможно.

* * *

Пред тем, как сесть на самолеты,
они сжигали корабли
и даже пыль родной земли
с подошв поспешно отрясали.
Но пыль родной земли в пыли
чужой земли они нашли,
не слишком далеко ушли
с тех пор, как в самолет влезали.

И вместо пахотных полей —
магнитные поля отечества,
и полевым сменен цветком
военно-полевой устав.
Грохочет поездной состав
и компасная стрелка мечется.
Кто севером родным влеком,
тому он югов всех милей.

ПЕРСПЕКТИВА

От чего же ропщется обществу?
Ведь не ропщется же веществу,
хоть оно и томится и топчется
точно так же, по существу.

Золотая мечта тирана —
править атомами, не людьми.
Но пока не время и рано,
не выходит, черт возьми!

И приходится с человечеством
разговаривать по-человечески,
обещать, ссылать, возвращать
из каких-то длительных ссылок
вместо логики, вместо посылок,
шестеренок, чтоб их вращать.

Но, вообще говоря, дело движется
к управлению твердой рукой.
Словно буквы фиту да ижицу
упразднят наш род людской,
словно лишнюю букву «ять».
Словно твердый знак в конце слова.

Это можно умом объять:
просто свеют, словно полосу.

* * *

Изучение иностранного
языка повторяется заново
в поколении каждом, любом
Недостигнутое в деде
не успели достичь и дети.

Перелистываю альбом,
где четыре уже поколения
и спряжения и склонения
изучали спустя рукава.
О веселые лица детские,
изучавшие тексты немецкие,
но — слегка. И едва-едва.

О, мистическое невезение!
Лингвистическое угрызение

совести

не давало плодов.
Только мы уходили из школы,
грамматические глаголы
заглушал глагол городов.

Говорят, что в последние годы
языку вышли важные льготы.
Впрочем, если придется орать,
знаменитому «хандыхоху»
можно вмиг обучить неплохо
нашу разноплеменную рать.

ОДА АВТОБУСУ

Заработал своими боками,
как билет проездной оплатил.
Это образа набуханье —
этот грузно звучащий мотив.

О автобус, связующий загород
с городом, с пригородом, верней.
Сотню раз я им пользуюсь за год,
езжу сотню, не менее, дней.

Крепнет стоицизм у стоящих,
у влезających — волюнтаризм.
Ты не то мешок, не то ящик.
Не предвидел тебя футуризм.

Не предвидел зажатых и сдавленных,
сжатых в многочленный комок,
штабелем бесконечным поставленных
пассажиров. Предвидеть не смог.

Не предвидел морали и этики,
выжатых из томящихся тел
в том автобусе, в век кибернетики.
Не предвидел. Не захотел.

О автобус! К свершеньям готовясь,
совершенство в подвигах нрав,
проходите, юнцы, сквозь автобус.
Вы поймете, насколько я прав.

Душегубка его, костоломка,
запорожская шумная сечь

вас научит усердно и ловко
жизнь навывлет,
насквозь
пересечь.

ГРЯЗНАЯ ЧАЙКА

Гонимая
передвиженья зудом,
летающая
здесь же, недалеко,
чайка,
испачканная мазутом,
продемонстрировала
брюшко.

Все смешалось: отходы транспорта,
что сияют, блестят на волне,
и белая птица, та, что распята
на летящей голубизне.

Эта белая птица господняя,
пролетевшая легким сном,
человеком и преисподнею
мечена:
черным мазутным пятном.

Ничего от нас не чающая,
но за наши грехи отвечающая,
вот она,
вот она,
вот она,
нашим пятнышком зачернена.

ПАМЯТНИК СТАРИНЫ

Все печки села Никандрова — из храмовых кирпичей,
из выветренных временами развалин местного храма.
Нет ничего надежнее сакральных этих печей:
весь никандровский хворост без дыма сгорит до
грамма.

Давным-давно религия не опиум для народа,
а просто душегрейка для некоторых старух.
Церковь недоразваленная, могучая, как природа,
успешно сопротивляется потугам кощунственных рук.

Богатырские стены
богатырские тени
отбрасывают вечерами
в зеленую зону растений.
Нету в этой местности
и даже во всей окрестности
лучше холма, чем тот,
где белый обрубок встает.

Кирпичи окровавленные
устремив к небесам,
встает недоразваленный,
на печки недоразобранный.
А что он означает,
не понимает он сам,
а также его охраняющие
местные власти и органы.

А кирпичи согревают — в составе печей — тела,
как прежде — в составе храма — душу они согревали.
Они по первому случаю немного погоревали,
но ныне уже не думают, что их эпоха — прошла.

МАДОННА И БОГОРОДИЦА

Много лет, как вырвалась Мадонна
на оперативный на простор.
Это дело такта или тона.
Этот случай, в сущности, простой.

А у Богородицы поуже
горизонты и дела поуже.

Счеты с Богородицей другие,
и ее куда трудней внести в реестр
эстетической ли ностальгии
или живописи здешних мест.

Тиражированная богомазом,
богомазом, а не «Огоньком»,
до сих пор она волнует разум,
в горле образовывая ком.

И покуда ветхая старуха,
древняя без края и конца,
имя Сына и Святаго Духа,
имя Бога самого Отца

рядом с именем предлинным ставит
Богородицы, покуда бьет
ей поклоны, воли не дает
наша агитация

и ставит
Богородице преград ряды:
потому что ждет от ней беды.

ЧТО ЖЕ ПРОСЯТ НЫНЕ У БОГА?

Нужно очень немного лени,
чтобы встать в полшестого утра.
Склеротические колени
смазать маслом, что ли, пора?

Со здоровьем давно уже плохо,
ломают кости и ноет бок.
Что же просят ныне у Бога?
Что он может, нынешний Бог?

Никакую кашу заваривать
не согласен он все равно.
От привычки вслух разговаривать
отучили людей давно.

Думают. О чем — непонятно.
В полутьме прозирают свет:
света желтого крупные пятна.
Ждут, неясно какой, ответ.

В церкви думается волнительно
под экстаз и ажиотаж:
у молящихся и правителей
цель, примерно, одна и та ж.

Цель одна, а средства другие.
И молящихся — знаю сам —
мучит ангельская ностальгия,
ностальгия по небесам.

Как там пушки ни выдвигают,
кто там кнопки ракет ни жмет,
а война — она всех пугает,
и никто войны не ждет.

Мира жаждет, мира молит
темный сонм стариков и старух,
ждет, что духа войны приневолит,
обуздает

мира дух.

В дипломатии вновь напряженно,
снова трения двух систем.
Мира молят солдатские жены:
две девчонки пришли сюда с тем.

Почитали газету — и в церковь
слушать тихие голоса,
хоть сюда доехать из центра
на автобусе — полчаса.

Хоть сюда — и стыдно, и страшно,
и неясно, есть ли Бог,
но приехали утром рано,
стали вежливо в уголок.

* * *

В графе «преступление» — епископ.
В графе «преступление» — поп.
И вся — многотысячным списком —
профессия в лагерь идет.

За муки, за эти стигматы,
религия, снова живи.
И снова святые все святые.
Все Спасы — опять — на крови.

НЕ ТАК УЖ ПЛОХО

Распадаются тесные связи,
упраздняются совесть и честь
и пытаются грязи в князи
и в светлейшие князи пролезть.

Это время — распада. Эпоха —
разложения. Этот век
начал плохо и кончит плохо.
Позабудет, где низ, где верх.

Тем не менее, в сутках по-прежнему
ровно двадцать четыре часа

и над старой землю по-прежнему
те же самые небеса.

И по-прежнему солнце восходит
и посеянное зерно
точно так же усердно восходит,
как всходило давным-давно.

И особенно наглые речи,
прославляющие круговерть,
резко, так же, как прежде, и резко
обрывает внезапная смерть.

Превосходно прошло проверку
все на свете: слова и дела,
и понятия низа и верха,
и понятия добра и зла.

* * *

Не принимает автомат
ни юбилейных, ни дефектных,
ни выпуклых, ни вогнутых монет.
Не принимает автомат,
не выдает своих конфеток,
своих конвертов и газет.

На то он автомат стальной,
на то он автомат железный,
и уличный, и площадной,
и справедливый, и любезный.
Его-то не уговорить
испить из нашей чаши
и нашей каши
с ним, с автоматом,— не сварить.

А нам без юбилеев как?
Нам без дефектов невозможно!
И сдержанно и осторожно
сует сомнительный медяк,
и сдержанно и осторожно
берем сомнительный медяк.
Сомнительное? Что ж? Не так,
не так сомнительное ложно.

ЧИТАТЕЛИ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Народ, прочитавший Льва Толстого
или хотя б посмотревший в кино,
не напоминает святого, простого
народа,

описанного Толстым давно.

Народ изменился. Толстой в удивлении
глядит на него из того удаления,
куда его смерть давно загнала.
Здесь все иное: слова, дела.

Толстой то нахмурится, то улыбнется.
то дивно, то занятно ему.
Но он замечает, что тополь гнется
по-старому, по-прежнему.

А солнце и всходит и заходит,
покуда мы молчим и кричим.

Обдумав все это,

Толстой находит,
что для беспокойства нет причин.

* * *

Не будем терять отчаяния.

А. Ахматова

В раннем средневековьи
до позднего далеко.
Еще проржавеют оковы.
Их будет таскать легко.

И будет дано понять нам,
в котором веке живем:
в десятом или девятом,
восьмом или только в седьмом.

Пока же мы все забыли,
не знаем, куда забрели:
часы ни разу не били,
еще их не изобрели.

Пока доедаем консервы,
огромный античный запас,
зато железные нервы,
стальные нервы у нас.

С начала и до окончания
суровая тянется нить.
Не будем терять отчаяния,
а будем его хранить.

Века, действительно, средние,
но доля не так тяжка,
не первые, не последние,
а средние все же века.

* * *

Это не беда.
А что беда?
Новостей не будет. Никогда.

И плохих не будет?
И плохих.
Никогда не будет. Никаких.



VI. ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

* * *

Я был плохой приметой,
я был травой примятой,
я белой был вороной,
я воблой был вареной.
Я был кольцом на пне,
я был лицом в окне
на сотом этаже...
Всем этим был уже.

А чем теперь мне стать бы?
Почтенным генералом,
зовомым на все свадьбы?
Учебным минералом,
положенным в музее
под толстое стекло
на радость ротозею,
ценителю назло?

Подстрочным примечаньем?
Привычкой порочной?
Отчаяньем? Молчаньем?
Нет, просто — строчкой точной,
не знающей покоя,
волнующей строкою,
и словом, оборотом,
исполненным огня,
излюбленным народом,
забывшим про меня...

* * *

Каждое утро вставал и радовался,
как ты добра, как ты хороша,
как в небольшом достижимом радиусе
дышит твоя душа.

Ночью по несколько раз прислушивался:
спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль?
Не было в длинной жизни лучшего,
чем эти жалость, страх, любовь.

Чем только мог, с судьбою рассчитывался,
лишь бы не гас язычок огня,
лишь бы еще оставался и числился,
лился, как прежде, твой свет на меня.

ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД

Жена умирала и умерла —
в последний раз на меня поглядела, —
и стали надолго мои дела,
до них мне больше не было дела.

В последний раз взглянула она
не на меня, не на все живое.
Глазами блеснув,
тряхнув головою,
иным была она изумлена.

Я метрах в двух с половиной сидел,
какую-то книгу спроста листая,
когда она переходила предел,
тряхнув головой,
глазами блистая.

И вдруг,
хорошая на всю болезнь,
на целую жизнь помолодела
и смерти молча сказала: «Не лезы!»
Как равная,
ей в глаза поглядела.

* * *

Я был кругом виноват, а Таня мне все же нежно
сказала: — Прости! —
почти в последней точке скитания по долгому
мучающему пути.

Преодолевая страшную связь
больничной койки и бедного тела,
она мучительно приподнялась —
прощенья попросить захотела.

А я ничего не видел кругом —
слеза горела, не перегорала,
поскольку был виноват кругом
и я был жив,
а она умирала.

* * *

Небольшая синица была в руках,
небольшая была синица,
небольшая синяя птица.
Улетела, оставив меня в дураках.

Улетела, оставив меня одного
в изумленьи, печали и гнев,
не оставив мне ничего, ничего,
и теперь — с журавлями в небе.

* * *

Мужья со своими делами, нервами,
чувством долга, чувством вины
должны умирать первыми, первыми,
вторыми они умирать не должны.

Жены должны стареть понемногу,
хоть до столетних дойдя рубежей,
изредка, впрочем, снова и снова
вспоминая своих мужей.

Ты не должна была делать так,
как ты сделала. Ты не должна была.
С доброй улыбкою на устах
жить ты должна была,
долго должна была.

Жить до старости, до седины
жены обязаны и должны,

делая в доме свои дела,
чьи-нибудь сердца разбивая
или даже — была не была —
чарку — в память мужей — распивая.

* * *

Мне легче представить тебя в огне, чем в земле.

Мне легче

взвалить на твои некрепкие плечи
летучий и легкий,
вскипающий груз огня,
как ты бы сделала для меня.

Мы слишком срослись. Я не откажусь от желанья
сжимать, обнимать негасимую светлость пыланья
и пламени
легкий, летучий полет,
чем лед.

Останься огнем, теплотою и светом,
а я, как могу, помогу тебе в этом.

ТАНЕ

Ты каждую из этих фраз
перепечатала по многу раз,
перепечатала и перепела
на легком портативном языке
машинки, а теперь ты вдалеке.
Все дальше ты уходишь постепенно.

Перепечатала, переплела
то с одобреньем, то с пренебреженьем.
Перечеркнула их одним движеньем,
одним движеньем со стола смела.

Все то, что было твердого во мне,
стального,— от тебя и от машинки.
Ты исправляла все мои ошибки,
а ныне ты в далекой стороне,
где я тебя не попрошу с утра
ночное сочиненье напечатать.
Ушла. А мне еще вставать и падать,
и вновь вставать.
Еще мне не пора.

КОЕ-КАКАЯ СЛАВА

Конечно, проще всего погибнуть,
двери на все замки запереть,
шею по-лебединому выгнуть,
крикнуть что-нибудь и умереть.

Что проку от крика в комнате запертой?
Что толку от смерти взаперти?
Даже слепец, поющий на паперти,
кому-нибудь выпевает пути.

Еще неизвестно, у литературы
есть ли история. Еще неясней,
как там у вас состоится с ней,
а тут все дураки, и дуры,

и некоторые мудрецы и Москвы
и области слушают со вниманием
и реагируют с пониманием
на почти все, что слагаете вы.

Застал я все-таки аплодисменты
при жизни
и что-то вроде легенды
при жизни
и славы слабый шумок
тоже при жизни
расслышать смог.

Была эта слава вроде славки,
маленькая, но пела для меня,
и все книготорговые лавки
легко распродавали меня.
И в библиотеках иногда
спрашивали такого поэта.
И я не оплакиваю труда,
потраченного на это.

* * *

Унижения
в самом низу,
тем не менее
я несу
и другие воспоминания:
было время — любили меня,

было легкое бремя признания,
когда был и я злобой дня.

В записях тех лет подневных,
в дневниках позапрошлых эпох
есть немало добрых и гневных
слов о том, как хорош я и плох.

Люди возраста определенного,
ныне зрелого, прежде зеленого,
могут до конца своих дней
вдруг обмолвиться строчкой моей.

И поскольку я верю в спираль,
на каком-то витке повторится
время то, когда в рифме и в ритме
был я слово и честь и мораль.

* * *

Тороплю эпоху: проходи,
изменяйся или же сменяйся!
В легких санках мимо прокати
по своей зиме!
В комок сжимайся
изо всех своих газет!
Раньше думал, что мне места нету
в этой долговечной, как планета,
эре!
Ей во мне отныне места нет.
Следующая, новая эпоха
топчется у входа.
В ней мне точно так же будет плохо.

МЛАДШИМ ТОВАРИЩАМ

Я вам помогал
и заемных не требовал писем.
Летите, товарищи,
к вами умышленным высям,
езжайте, товарищи,
к вами придуманным далям,
с тем голодом дивным,
которым лишь юный снедаем.

Я вам переплачивал,
грош ваш рублем называя.
Вы знали и брали,
в момент таковой не зевая.
Момент не упущен,
и вечность сквозь вас просквозила,
как солнечный луч
сквозь стекляшку витрин магазина.

Мне не все равно,
что из этого вышло.
Крутилось кино,
и закона вертелось дышло,
но этот обвал
обвалился от малого камня,
который столкнул
я своими руками.

* * *

Поспешно, как разбирают кефир
курортники после кино,
и мой на куски разбазарили мир.
Куда-то исчез он давно.

А был мой мир хороший, большой
с его мировым бытием,
и полон был мировой душой
его мировой объем.

Я думал, что я его сохраню
и в радости и в беде
и буду встречать семижды на дню,
но где он сегодня? Где?

Его разобрали на части скорей,
чем школьники из школьных дверей
бегут со всех ног в свое
отдельное бытие.

* * *

Я других людей — не бедней
и не обделенней судьбой:
было все-таки несколько дней,
когда я гордился собой.

Я об этом не возглашал,
промолчал, про себя сберег.
В эти дни я не сплошал,
и пошла судьба поперек.

Было несколько дней. Они
освещают своим огнем
все другие, прочие дни:
день за днем.

НА БЕЛЕЮЩЕМ В НОЧИ ЛИСТЕ

Начинают вертеться слова,
начинают вращаться,
исчезать, а потом возвращаться,
различимые в ночи едва.

Разбираться привык я уже
в крутеже-вертеже:
не печалит и не удивляет,
но заняться собой — заставляет.

Точный строй в шкафу разоря,
что-то вечное говоря,
вдруг выпархивают все слова словаря
изо всех томов словаря.

И какие-то легкие пассы
я руками творю в темноте,
и слова собираю во фразы
на белеющем в ночи листе.

— А теперь подытожь крутеж-вертеж,—
и с тупым удивленьем: — Мол, ну что ж,—
не сумевши понять, что случилось,
перечитываю, что получилось.

* * *

Те стихи, что вынашивались, словно дитя,
ныне словно выстреливаются, вихрем проносятся,
и уносятся вдаль, и столетье спустя
из какого-то дальнего века доносятся.

Не уменьшилось время мое, хоть пружин
часовых

перержавело предостаточно.

Не уменьшился срок мой последний, остаточный.
Изменился порядок его и режим:

в месяцы я укладываю года,
вечности я в мгновенья настойчиво вталкиваю
и пишу набело. Больше не перетакиваю.
Так и — будет. И может быть даже — всегда.

* * *

— Что вы, звезды?
— Мы просто светим.
— Для чего?
— Нам просто светло.—
Удрученный ответом этим,
самочувствую тяжело.

Я свое свечение слабое
обулавливал
то ли славою,
то ли тем, что приказано мне,
то ли тем, что нужно стране.

Оказалось, что можно просто
делать так, как делают звезды:
излучать без претензий свет.
Цели нет и смысла нет.

Нету смысла и нету цели,
да и светишь ты еле-еле,
озаряя полметра пути.
Так что не трепись, а свети.

* * *

Наблюдатели с Марса заметят, конечно,
как все медленней от начальной к конечной
точке,
все осторожней

иду.

Наблюдатели с Марса почуют беду.

Не по величине, а скорей, по свеченью
наблюдатели с Марса оценят значенья

этой точки, ничтожнейшей, но световой.
Потому что свечусь я, покуда живой.

Марс дотошная в смысле науки планета,
там встревожатся тем, что все менее света,
что все менее блеска, сиянья, огня,
что все менее жизни идет от меня.

Спор на Марсе возникнет,
нескоро затихнет:

— Может, он уже гибнет?

— Может, он еще вспыхнет?

— Телескоп на него мы направим в упор.—

К сожалению — обо мне этот спор.

Как в палате во время обхода врача,
обернувшись к студентам, бесстрастно шепча,
сформулируют долю мою и судьбину
марсиане,

черпнувши науки глубины.

Ледовитая тьма между Марсом и мной,
ледовитая тьма или свет ледяной,
но я чую душой, ощущаю спиной,
что решил обо мне

мир планеты иной.

* * *

Прощаю всех —
успею, хоть и наспех,—
валявших в снег
и подымавших на смех,
списать не давших
по дробям пример
и не подавших
доблести пример.

Учителей ретивейших
прощаю,
меня не укротивших,
укрощая.
Учитель каждый
сделал то, что мог.
За дело стражду,
сам я — пренебрег.

Прощаю всех, кто не прощал меня,
поэзию не предпочел футболу.
Прощаю всех, кто на исходе дня
включал,
мешая думать,
радиолю.

Прощаю тех, кому мои стихи
не нравятся,
и тех, кто их не знает.
Невежды пусть невежество пинают.
Мне? Огорчатся? Из-за чепухи?
Такое не считаю за грехи.

И тех, кого Вийон не захотел,
я ради душ пустых и бранных тел
и ради малых их детей прощаю.
Хоть помянуть добром — не обещаю.

* * *

Я знаю, что «дальше — молчанье»,
поэтому поговорим,
я знаю, что дальше безделье,
поэтому сделаем дело.
Грядут неминуемо варвары,
и я возвожу свой Рим,
и я расширяю пределы.

Земля на краткую длительность
заведена для меня.
Все окна ее — витрины.
Все тикают, словно Женева.
И после дня прошедшего
не будет грядущего дня,
что я сознаю без гнева.

Часы — дневной распорядок
и образ жизни — часы.
Все тикает, как заведенное.
Все движется, куда движется.
Все литеры амортизированы
газетной от полосы,
прописывают ижицу.

Что ж ижица? Твердого знака
и ятя не хуже она.
Попробуем, однако,

переть и против рожна.
А доказательств не требует,
без них своего добьется
тот, кто ничем не гребует,
а просто трудится, бьется.

И ПУХ И ПЕРО

Ни пуха не было, ни пера.
Пера еще меньше было, чем пуха.
Но жизнь и трогательна и добра,
как в лагере геодезистов — стряпуха.

Она и займет и перезаймет,
и — глядь — и зимует и перезимует.
Она тебя на заметку возьмет
и не запомнит, не забудет.

Она, упираясь руками в бока,
с улыбкою простоят века,
но если в котле у нее полбыка —
не пожалеет тебе куска.

А пух еще отрастет, и перо
уже отрастает, уже отрастает,
и воля к полету опять нарастает,
как поезда шум в московском метро.

Кончено 5.4.77.

ВСЕ ТЕЧЕТ, НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ

Гераклит с Демокритом —
их все изучали,
потому что они были в самом начале.
Каждый начал с яйца,
не дойдя до конца,
где-то посередине отстал по дороге,
Гераклита узнав, как родного отца,
Демокриту почтительно кланяясь в ноги.

Атомисты мы все, потому — Демокрит
заповедал нам, в атомах тех наторея,
диалектики все, потому — говорит
Гераклит свое пламенное «пантарея».

Если б с лекций да на собрания нас
каждый день аккуратнейше не пропирали,
может быть, в самом деле сознание масс
не вертелось в лекале, а шло по спирали.

Если б все черноземы родимой земли
не удобрили костью родных и знакомых,
может быть, постепенно до Канта дошли,
разобрались бы в нравственных, что ли,
законах.

И товарищ растерянно мне говорит:
— Потерял все конспекты, но помню доселе —
был такой Гераклит
и еще Демокрит.
Конспектировать далее мы не успели.

Был бы кончен хоть раз философии курс,
тот, который раз двадцать был начат
и прерван,
у воды бы и хлеба улучшился вкус,
судно справилось с качкой бы,
с течью и креном.

* * *

Мировая мечта, что кружила нам головы,
например, в виде негра, почти полуголого,
что читал бы кириллицу не по слогам,
а прочитанное землякам излагал.

Мировая мечта, мировая тщета,
высота ее взлета, затем нищета
ее долгого, как монастырское бдение,
и медлительного падения.

СОЛОВЬИ И РАЗБОЙНИКИ

Соловьев заслушали разбойники
и собрали сборники
цокота и рокота и свиста —
всякой музыкальной шелухи.
Это было сбито, сшито, свито,
сложено в стихи.

Душу музыкой облагородив,
распотешив песнею сердца,

На квадратную милю
там выходит
то ли случайный отблеск
луча по пороше,
то ли вмятина капли
дождя на песке.

А маленькие государства
ставят большие памятники
маленьким полководцам
своего небольшого войска.

Великие державы
любят жечь архивы,
задумчиво наблюдая,
как оседает пепел.

А маленькие государства
дрожат над каждым листочком,
как будто он им прибавит
немножко территории.

В маленьких государствах
столько мыла,
что моют и мостовые.

Великие же державы
иногда моют руки,
но только перед обедом.
Во всех остальных случаях
они умывают руки.

Маленькие государства
негромкими голосами
вещают большим державам,
вещают и усовещают.

Великие державы
заводят большие глушилки
и ничего не слышат,
потому что не желают.

* * *

Были деньги нужны.
Сколько помню себя,
были деньги все время нужны.
То нужны для семьи,

то нужны для себя,
то нужны для родимой страны —

для защиты ее безграничных границ,
для оснастки ее кораблей,
для ее журавлей удалых верениц
было нужно немало рублей.

Зарабатывали эти деньги с утра,
но вели вечерами подсчет,
потому что длиннейшие здесь вечера
длятся целую ночь напролет.

Были деньги нужны.
Приходилось копить,
чтобы что-нибудь после купить.
Приходилось считать и в сберкассу их класть,
чтоб почувствовать чудную власть:

ощутить кошелек, тяготящий штаны,
и понять, что ведь деньги не так уж нужны.

* * *

Самолеты бьются, а прежде
так не бились. Это и то, что
так небрежно работает почта,
телевиденье так неясно,
глухо радио так вещанье,
не позволит боле надежде,
именуемой ныне прогрессом,
отвлекать, завлекать, морочить.

То ли что-то в моторе заело,
то ли просто ему надоело
день-деньской пить нефтепродукты,
то ли трубы его не продукты,
то ли общий износ морали
обернулся моральным износом
даже для специальной стали,
но прогресс остается с носом.

* * *

Поумнели дураки, а умники
стали мудрецами.
Глупости — редчайшие, как уники.

Сводятся везде концы с концами.
Шалое двадцатое столетье,
дикое, лихое,
вдруг напоминает предыдущее —
тихое такое.
Может быть, оно утихомирится
в самом деле?
Перемен великая сумятица
на пределе...
Может, войн и революций стоимость
после сверки и проверки
к жизни вызовет благопристойность
девятнадцатого века.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКВЫ

Девятнадцатый век разрушают.
Шум и гром, и асфальтная дрожь.
Восемнадцатый — не разрешают.
Девятнадцатый — рушь, как хошь.

Било бьет кирпичные стены,
с ног сшибает, встать не дает.
Не узнать привычной системы.
Било бьет.

Дом, где Лермонтову рождаться
хорошо было, — не подошел.
Эти стены должны раздаться,
чтоб сквозь них троллейбус прошел.

Мрамор черный и камень белый,
зал двусветных вечерний свет, —
что захочешь, то с ним и делай,
потому — девятнадцатый век.

Било жалит дома, как шершень,
жжет и не оставляет вех.
Век текущий бьет век прошедший.
На подходе — грядущий век.

МЕЖДУ СТОЛЕТИЯМИ

Захлопывается, закрывается, зачеркивается столетье.
Его календарь оборван, солнце его зашло.
Оно с тревогой вслушивается в радостное

междометье,

приветствующее преемствующее следующее число.
Сто зим его, сто лет его, все тысяча двести месяцев
исчезли, словно и не было, в сединах времен
серебрясь,
очередным поколением толчется сейчас и месится
очередного столетия очередная грязь.
На рубеже двадцать первого я, человек двадцатого,
от напряженья нервного, такого, впрочем, понятного,
на грозное солнце времени взираю из-под руки:
столетия расплываются, как некогда материки.
Как Африка от Америки
когда-то оторвалась,
так берег века — от берега —
уже разорвана связь.
И дальше, чем когда-нибудь,
будущее от меня,
и дольше, чем когда-нибудь,
до следующего столетья,
и хочется выкликнуть что-нибудь,
его призывая, маня,
и нечего кликнуть, кроме
тоскливого междометья.
То вслушиваюсь, то всматриваюсь, то погляжу,
то взгляну.
Итожить эти итоги, может быть, завтра начну.
О, как они расходятся,
о, как они расползаются,
двадцатый
и двадцать первый,
мой век
и грядущий век.
Для бездн, что между ними трагически разверзаются,
мостов не напасешься,
не заготовишь вех.

* * *

Не обязательно антинародна
бесчеловечность. Вспомните Нерона.

Он тешился бездарною игрой
и даже проливал при этом кровь.

Но хлеба не жалел и также зрелищ
и был, как солнышко, светящ и греющ.

А солнышку легко прощают пятна —
все до единого пятна.

Все думаешь: история ясна.
Оказывается: непонятна.

* * *

Все жду философа новейшего,
чтоб обобщил и сообщил,
какие ярлыки навешаны
неправильно. И как их снять.

Все жду новейшего историка
из каторжников или мордвы
с античною закалкой стойка,
чтоб правду людям рассказал.

Поэта же не ожидаю.
Наш номер снят уже с афиш.
Хранители этого дара
дарителям вернули дар.

* * *

Делайте ваше дело,
поглядывая на небеса,
как бы оно ни задело
души и телеса,
если не будет взора
редкого на небеса,
все позабудется скоро,
высохнет, как роса.

Делали это небо
богатыри, не вы.
Небо лучше хлеба.
Небо глубже Невы.
Протяжение трассы —
вечность, а не век.
Вширь и вглубь — пространство.
Время — только вверх.

Если можно — оденет
синей голубизной.
Если нужно — одернет:
холод его и зной.

Ангелы, самолеты
и цветные шары
там совершают полеты
из миров в миры.

Там из космоса в космос,
словно из Ялты в Москву,
мчится кометы конус,
вздыбливая синеву.
Глядь, и преодолела
бездну за два часа!
Делайте ваше дело,
поглядывая на небеса.

* * *

Есть итог. Подсчитана смета.
И труба Гавриила поет.
Достоевского и Магомета
золотая падучая бьет.

Что вы видели, когда падали?
Вы расскажете после не так.
Вы забыли это, вы спрятали,
закатили, как в щели пятак.

В этом дело ли? Нет, не в этом,
и событию все равно,
будет, нет ли, воспето поэтом
и пророком отражено.

Будет, нет ли, покуда — петли
Парки вяжут из толстой пеньки,
сыплет снегом и воют ветры
человечеству вопреки.

И СРАМ И УЖАС

От ужаса, а не от страха,
от срама, а не от стыда
насквозь взмокала вдруг рубаха,
шло пятнами лицо тогда.

А страх и стыд привычны оба.
Они вошли и в кровь и в плоть.

Их
даже
дня
умеет
злоба
преодолеть и побороть.

И жизнь являет, поднатужась,
бесстрашным нам,
бесстыдным нам
не страх какой-нибудь, а ужас,
не стыд какой-нибудь, а срам.

* * *

Ракеты уже в полете и времени вовсе нет,
не только, поскольку сам я скоро вовсе замлею,
но и для той легкомысленнейшей из небесных
планет,
которая очень скоро не будет зваться Землею.

А сколько все-таки времени?
Скажем, сорок минут.
Сейчас они пролетают (ракеты)
друг мимо друга,
и ядерные заряды ядерным подмигнут,
и смертельной метели кивнет смертельная вьюга.

О, если б они столкнулись, чокнулись там вверху,
ракета, ударив ракету, растаяла бы в стратосфере.
О, если б антиракеты не опоздали, успели
предел поставить вовремя глупости и греху!

Но, словно чертеж последний вычерчивающий
Архимед,
и знающий и не знающий, что враг уже за
спиною,
и думают, и не думают люди
про гонку ракет,
и ведая, и не ведая, что миру делать с войною.

* * *

Распад созвездья с вызовом звезды
на независимую от него орбиту,
и пестрые кометные хвосты
сулят, что будут ломаны и биты,

что будут вдрызг обрушены миры,
что космос загорится и истлеет
и разве головешка уцелеет
от всей организованной игры,
от целой гармонической структуры.

Не до искусства,
не до литературы!

* * *

Который час? Который день? Который год?
Который век?

На этом можно прекратить вопросы!
Как голубь склевывает просо,
так время склевывает человек.

На что оно уходит? На полет?
На воркованье и на размноженье?
Огонь, переходящий в лед,
понятен, как таблица умноженья.

Гудит гудок. Дорога далека.
В костях

ее ухабы отзовутся,
а смерзшиеся в ком века
обычно вечностью зовутся.

* * *

Все кончается травой.
Окружив живое,
мертвое продрав,
побеждает раса трав.

Прорастает сквозь другие расы,
все бывшее прободав быльем.
А другого не было ни разу
на пути, история, твоём.

Как узки дороги! Как бескрайни
степи, прерии и ковыли.
Бабочкой вдоль киноэкрана
пролетели мы по ним, прошли.

Между тем, трава, сникая к осени,
возникает сызнава весной,

как ее ни топчем и ни косим,
как ни сыплет снег, ни жарит зной.

Травы. Бесконечные оравы,
лавы наступающей травы
старше Рима, Атики, Москвы
и правее правых это право.

Главное, претензий нет:
гнут — сгибается,
как японец битый, улыбается,
улучит мгновенье — разгибается,
опрокидывает гнет.

Не прошло столетья —
заросло травую лихолетье
и зеленой крепкой плетью
перешибло каменное зло.
Заросло.

* * *

Будущее футуристов — Сад Всеобщих Льгот,
где сбудутся сны человечества и его не разбудят.
Будущее футурологов — просто будущий год:
будет он или не будет.

Будущее футуристов — стеклянные дворцы
(они еще не знали, как холодно в них и странно).
Будущее футурологов — всеобщие концы:
заканчиваются народы, завершаются страны.

Будущее футуристов — полеты на луну
(они еще не знали, как холодно там и пусто).
Будущее футурологов — прикинь на машине,
когда, по всей вероятности, изрубят меня, как взгляну,
капусту.

Те самые желтые кофты, изношенные давно,
сегодня воспринимаются, как радости униформа.
И быстро, как скорый поезд мимо дачной платформы,
проносится истории немеющее кино.

* * *

Пока на участке молекулы
окапывалось людье,
пока возилось с калекками,
познавшими силу ее,

на линии хромосомы
прорвался новейший враг
и, не признавая резона,
грозит превратить нас в прах.

Пока макромир обследовали,
по правилам странной игры
нас мучили и преследовали,
нас гнали микромиры.

Мгновенья блаженной косности
природа нам не дает:
во всех закоулках космоса
военную песню поет.

Не уступает и шагу
без арьергардных атак
и, проявляя отвагу,
тоже делает шаг.

И вот мы лицом к лицу
в батальном переплетеньи.
Она с моего цветенья
легко сшибает пыльцу.

* * *

На историческую давность
уже рассчитывать нельзя,
но я с надеждой не расстанусь,
в отчаянии не останусь.
Ну что ж, уверуем, друзья,
в геологическую данность.

Когда органика падет
и воцарится неорганика
и вся оценочная паника
в упадок навсегда придет,

тогда безудержно и щедро —
Изольду так любил Тристан —
кристалла воспоеет кристалл,
додекаэдр — додекаэдра.

* * *

Хватило на мой век,
клонящийся к упадку,
и — мордою об стол!
и — кулаком в сопатку!

И взорванных мостов,
и заметенных вех,
и снятия с постов
хватило на мой век.

Я думал — с детством
кончится беда.
Оказывается,
что она — всегда.

Давно на вороту
лихая брань повисла
и выбитых во рту
зубов
считать нет смысла.

Расчетов и боев,
просчетов и помех,
всего, кроме надежд,
хватило на мой век.

СОНЕТ 66

Желаю не смерти,
но лишь прекращения мученья,
а как ему зваться,
совсем не имеет значенья.

Желаю не смерти —
того безымянного счастья,
где горести ближних
не вызывают участия.

Где те, кто любили
меня, или те, кто спасали,
меня бы забыли
и в черную яму списали.

* * *

Утверждают многие кретины,
что сладка летейская струя.
Но, доплыв едва до середины,
горечи набрался вдосталь я.

О покой покойников! Смирсье
усмирненных! Тишина могил.
Солон вкус воды в реке забвенья,
что наполовину я проплыл.

Солон вкус воды забвенья, горек,
нестерпим, как кипяток крутой.
Ни один не подойдет историк
с ложкой
этот размешать настой.

Ни один поэт не хочет жижу
рассекать с тобою стилем «кроль».
И к устам все ближе эта соль
и к душе вся эта горечь ближе.

* * *

Говорят, что попусту прошла
жизнь: неинтересно и напрасно.
Но задумываться так опасно.
Надо прежде завершить дела.

Только тот, кто сделал все, что смог,
завершил, поставил точку,
может в углышке листочка
сосчитать и подвести итог:

был широк, а может быть, и тесен
мир, что ты усердно создавал,
и напрасен или интересен
дней грохочущий обвал,

и пассивно или же активно
жизнь прошла,—

можно взвесить будет объективно
на листочке, на краю стола.

На краю стола и на краю
жизни я охотно осознаю
то, чего пока еще не знаю:
жизнь мою.

* * *

Когда ухудшились мои дела
и прямо вниз дорожка повела,
я перечел изящную словесность —
всю лирику, снискавшую известность,
и лирика мне нет, не помогла.

Я выслушал однообразный вой
и стон томительный всей мировой
поэзии. От этих тристий, жалоб
повеситься, пожалуй, не мешало б
и с крыши броситься вниз головой.

Как редко радость слышались и смех!
Оказывается, что у них у всех,
куда ни глянь, оковы и вериги,
бичи и тернии. Захлопнув книги,
я должен был искать иных утех.

15.4.1977.

* * *

На русскую землю права мои невелики.
Но русское небо никто у меня не отнимет.
А тучи кочуют, как будто проходят полки.
А каждое облачко приголубит, обнимет.
И если неумолима родимая эта земля,
все роет окопы, могилы глубокие роет,
то русское небо, дождем золотым пыля,
простит и порадует, снова простит и прикроет.
Я приподнимаюсь и по золотому лучу
с холодной земли на горячее небо лечу.

СЛАВА ЛЕРМОНТОВА

Дамоклов меч
разрубит узел Гордиев,
раскльбёт Прометея воронье,
а мы-то что?
А мы не гордые.
Мы просто дело делаем свое.

А станет мифом или же сказаньем,
достанет наша слава до небес —
мы по своим Рязаням и Казаням
не слишком проявляем интерес.

Но «Выхожу один я на дорогу»
в Сараево, в далекой стороне,
за тыщу верст от отчего порога
мне пел босняк,
и было сладко мне.

* * *

Господи, Федор Михалыч,
я ошибался, грешил.
Грешен я самую малость,
но повиниться решил.

Господи, Лев Николаич,
нищ и бессовестен я.
Мне только радости — славить
блеск твоего бытия.

Боже, Владимир Владимыч,
я отвратительней всех.
Словом скажу твоим: «Вымучь!»
Вынь из меня этот грех!

Трудно мне с вами и не о чем.
Строгие вы господа.
Вот с Александром Сергеечем
проще и грех не беда.

* * *

Читая параллельно много книг,
ко многим я источникам приник,
захлебываясь и не утираясь.

Из многих рек одновременно пью,
алчбу неутолимую мою
всю жизнь насытить тщетно я стараюсь.

Уйду, недочитав, держа в руке
легчайший томик, но невдалеке
пять-шесть других рассыплю сочинений.
Надеюсь, что последние слова,
которые расслышу я едва,
мне пушкинский нашепчет светлый гений.

22.4.1977.

* * *

Ну что же, я в положенные сроки
расчелся с жизнью за ее уроки.
Она мне их давала, не спросясь,
но я, не кочевряжась, расплатился
и, сколько мордой ни совали в грязь,
отмылся и в бега пустился.
Последний шанс значительней иных.
Последний день меняет в жизни много.
Как жалко то, что в истину проник,
когда над бездною уже заносишь ногу.

НОЧНЫЕ СТУКИ

Мне показалось, что кто-то стучится.
В дверь или в душу — понять я не мог.
Тотчас я встал и пошел за порог.
Пусто, и только вселенная мчится.
Мчится стремглав и сбивается с ног.

Звезды, сшибаясь на страшных рысях,
вдруг издают глуховатые звуки?
Или планеты скрипят на осях?
Или, по данным последним науки,
что-нибудь, как-нибудь, так или сяк?

Все-таки это, наверно, не в небе.
Все-таки это, наверно, в душе.
Кто-то стоит на моем рубеже
и осторожно, в печали и гнев,
тихо и грозно стучится:

«Уже!»

Это как Жанны д'Арк голоса:
определяют, напоминают,
будто бы тихо и грозно роняют
капли — не наземь — в тебя небеса.
Или листву отрясают леса.

Я на холодном крыльце постою,
противоставлю молчанье вселенной
шороху, шуму, обвалу велений,
что завалили душу мою.
Вспомню, запомню и не утаю,

как он пришел, этот шелест и шепот,
перерастающий в гул или гром,
за целый век береженным добром,
как упразднил весь мой жизненный опыт,
что за вопросы поставил ребром.

* * *

Продолжается жизнь — даже если я кончился.
Продолжается жизнь — даже если я скорчился,
словно в огненной вьюге
бумажный листок.
Все равно: юг — на юге,
на востоке — восток.

ПЕРЕМНЫ

Перемены бывают не часто.
Редок пересчет, перемер.
Раза три я испытывал счастье,
упоение от перемен.

Раза три, а точнее, четыре
перемен совершался обвал,
и внезапно светлело в квартире,
где с рождения я пребывал.

Словно вьюга, мела перемена,
словно ливень весенний, лила.
Раза три, утверждаю я смело,
перемена большая была.

От судьбы отломилась бы милость,
то-то б разодолжил меня бог,
если б снова переменилось,
изменилось еще хоть разок.

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
--------------------------	---

I. ЕЩЕ ВСЕ БЫЛИ ЖИВЫ

Гудки	5
И дяди и тети	6
Летом	7
Последние кустари	8
Елка	9
Музшкола имени Бетховена в Харькове	10
Председатель класса	10
Советская старина	11
Золото и мы	12
Деревня и город	13
Три столицы (Харьков — Париж — Рим)	13
Моя средняя школа	15
«Плановость пламени...»	15
Старуха в окне	16
Старые офицеры	17
«Как говорили на Конном базаре?..»	18
«Я в первый раз увидел МХАТ...»	19
«Я помню твой жестоковыйный норов...»	19
Велосипеды	20
Какой полковник!	22
18 лет	23
Отцы и сыновья	23
Молодость	24
Светите, звезды	24
Желанье поестъ	25
Школа для взрослых	26
Звуковое кино	27
Титан. 1937 — 1941	27
Как сделать революцию	28
Ножи	30
Лопаты	30
Названия и переименования	31
Рука	32

Ресторан	33
Идеалисты в тундре	35
Прозанки	36
«Как выглядела королева Лир...»	36
Размол кладбища	37
Признаки вечности	38
Звездные разговоры	39
Рассвет в музее	40
Равнодушие к футболу	40
Давным-давно	41
Сороковой год	42
«Читали, взглядывая изредка...»	43
21 июня	44

I. СУДЬБА НАРОДА

«Палатка под Серпуховом. Война...»	45
Первый день войны	45
Сон	46
Одиннадцатое июля	47
«Жаркий день, полдень летний...»	48
«На спину бросаюсь при бомбежке...»	49
РККА	50
Тылы поражения (1941 — фронтовой тыл)	50
Гора	51
«Последнюю усталостью устав...»	52
Сбрасывая силу страха	53
Командиры	53
Политрук	54
«Без Ленина Красная площадь — пустая...»	55
«Мне первый раз сказали: «Не болтай!»...»	56
Немка	56
Высвобождение	58
Казахи под Можайском	58
Декабрь 41-го года	59
Ранен	59
Роман Толстого	60
Лес за госпиталем	61
Самая военная птица	62
«У офицеров было много планов...»	63
«В борьбе за это...»	63
Двести метров	64
Волокуша	65
Мороз	66
Госпиталь	67
Статья 193 УК (воинские преступления)	69
Четвертый анекдот	70
Мой комбат Назаров	70
Надо, значит, надо	71
Ведро мертвецкой водки	72

Немецкие потери	73
«Я говорил от имени России...»	75
Судьба детских воздушных шаров	75
Кропотово	76
Рейд	77
Воспоминания о Павле Когане	78
Кельнская яма	80
«Расстреливали Ваньку-взводного...»	81
Наши	82
«Я был учеником у Маяковского...»	83
«Мы — посреди войны. Еще до берега...»	83
Военный уют	83
«Тылы стрелкового полка...»	84
Писаря	85
«— Хуже всех на фронте пехоте!...»	87
«Он просьбами надоедал...»	87
Целая неделя	88
«Все, что положено майору...»	89
Бесплатная снежная баба	89
Тридцатки	90
Себастьян	92
Метр восемьдесят два	92
Как убивали мою бабу	94
Лошади в океане	95
Справки	95
Немецкие морские свинки	97
«Пред наших танков трепеща судом...»	98
Из плена	98
По рассказу Л. Вольнского	99
В Германии	99
Бухарест	100
Крылья	101
«Газетные киоски, близ которых...»	102
О погоде	103
Месяц — май	104
«Как залпы оббивают небо...»	106
Школа войны	106

III. БЫЛЬЕМ НЕ ПОРАСТАЕТ

Выбор	108
Послевоенное бесптичье	108
Квадратики	109
Возвращаем лендлиз	110
Засуха	111
Не обойди!	112
Скандал сорок шестого года	113
Терпенье	113
«Чужие люди почему-то часто...»	114
Мальчишки	115

Послевоенный шик	116
«Руины — это западное слово...»	117
«Война порассыпала города...»	117
Харьковский Иов	118
«Черта под чертою. Пропала оседлость...»	119
В сорок шестом	120
«Туристам показываю показательное...»	120
Воспоминание	121
Фотографии моих друзей	122
Болезнь	123
«Казенное благожелательство...»	124
Как я снова начал писать стихи	125
«Когда мы вернулись с войны...»	126
Как меня не приняли на работу	127
Баллада	127
Знакомство с незнакомыми женщинами	128
«Своим стильком плетения словес...»	130
«Похожее в прозе на ерунду...»	130
«А я не отвернулся от народа...»	131
Баня	132
«Которые историю творят...»	133
«Инвалиду войны спешить нечего...»	133
Футбол	134
«Ордена теперь никто не носит...»	135
«Оказывается, война...»	136
«Вот вам село обыкновенное...»	136
В деревне	137
Ленка с Дунькой	137
Память	138
«Все слабели, бабы — не слабели...»	139
Матери с младенцами	139
Темп	140
Музыка на затычку	141
«Ведомому неведом...»	141
«Образовался недосып...»	142
«Иллюзия давала стол и кров...»	142
Странности	143
«С Алексеевского рavelина...»	144
Злые собаки	144
Спекулянт	145
«Скользили лыжи. Летали мальчики...»	146
Доверительный разговор	147
«Проводы правды не требуют труб...»	147
«Догма справедливцев...»	147
Послевоенные выставки	148
Новая квартира	149
С нашей улицы	150
На выставке детских рисунков	151
Взрослые	152
9-го Мая	152

Художник	153
Ребенок для очереди	153
Баллада о трех нищих	154
Телефонный разговор	154
Отдельность	155
Наглядная судьба	156
Старухи без стариков	156
Любовь к старикам	157
«Я судил людей и знаю точно...»	158
«У меня было право жизни и смерти...»	158
«Маловато думал я о боге...»	159
«Я, умевший думать,— не думал...»	160
«Равнение — как на парадах...»	160
«Пляшем, как железные опилки...»	161
«Конец сороковых годов...»	161
Говорит Фома	162
«Бог был терпелив, а коллектив...»	163
«Несподручно писать дневники...»	163
«Страхи растут, как малые дети...»	164
«Все телефоны не подслушаешь...»	164
«Полиция исходит из простого...»	165
«Человек уходит со двора...»	165
«В этой невеликой луже...»	166
«Я стою на песке, а тот песок...»	166
«Я был умнее своих товарищей...»	166
Голос друга	167
В январе 53-го	167
«Тяжелое время — зима...»	168
Современные размышления	169
«Не пуля была на излете, не птица...»	170

IV. ЧЕЛОВЕК НА РАЗВИЛКЕ ДОРОГ

«На шинелке безлунной ночью...»	171
«Не забывай незабываемого...»	171
«Я рос при Сталине, но пристально...»	171
Бог	172
«Вождь был как дождь — надолго...»	173
«Июнь был зноем. Январь был зябок...»	173
«Все то, что не додумал гений...»	174
«Товарищ Сталин письменный...»	175
«Генерала легко понять...»	175
Слава	176
«Ни за что никого никогда не судили...»	177
Разговор	178
Паец	178
«Как входят в народную память?...»	179
«Государь должны государить...»	179
«Списки расправ...»	179
«Подумайте, что звали высшей мерой...»	180

Счастье	180
Хозяин	181
«Всем лозунгам я верил до конца...»	182
Большой порядок	182
«Я был молод. Гипотезу бога...»	182
Моральный кодекс	183
Добавка	183
«Я доверял, но проверял...»	184
«У беспричинной радости...»	185
«Криво, косо, в полосочку, в клетку...»	185
Двадцатый век	186
«Интеллигенция была моим народом...»	186
«Романы из школьной программы...»	187
«Неинтересно, как я воевал...»	188
«Снова нас читает Россия...»	188
М. В. Кульчицкий	188
Просьбы	189
«Я учитель школы для взрослых...»	190
«Поэзия — не мертвый столб...»	190
«Покуда над стихами плачут...»	191
«Все правила — неправильны...»	191
Читательские оценки	192
«Начинается длинная, как мировая война...»	192
«Народ за спиной художника...»	193
Обои	193
«Какие споры в эту зиму шли...»	194
«Нужно ли выполнять приказы...»	195
«Пришла пора, браны уставя...»	195
«Интеллигенты получали столько же...»	195
«Знак был твердый у этого времени...»	196
«Ответы пока получены только на второстепенные...»	196
Прощание	197
Отложенные тайны	197
Домик погоды	198
«Справедливость — не приглашают...»	199
Пересуд	199
После реабилитации	200
Подлесок	201
Орфей	202
Комиссия по литературному наследству	205
Музей общих неприятностей	205
«Цель оправдывала средства...»	206
«Громкий разговор на улице...»	206
Мещане	207
«Высоковольтные башни...»	207
Старая техника	208
«Город похож на бред малокультурного фантаста...»	208
За займами	209
«В тетрадки уставя лбы...»	210
Удар	210

«Надо, чтобы дети или звери...»	210
Герой	211
«Когда эпохи идут на слом...»	211
«Много было пито-едено...»	212
«А ему — поручали унижать...»	213
«Им казалось, что истину ведали...»	213
«Активная оборона стариков...»	214
«Горлопанили горлопаны...»	215
«Семь с половиной дураков...»	215
«Государственных денег не жалко...»	215
«Подышал свежим...»	216
«Не мог построить верно фразу...»	216
«Был бы хорошим, но помешали...»	216
Детали анкет	217
«Стыдились своих же отцов...»	217
«Ни стыда, ни совести, а что же?»	218
Что почем	218
«Без лести предал. Молча...»	219
Дом в переулке	220
Сон — себе	221
«Вот мы переехали в новые дома...»	221
Страх	222
«То ли мята...»	222
«Как лучше жизнь не дожить...»	223
Московские рабочие	223
«Народ переходит на шляпу — с кепки...»	224
Кадры — есть!	224
Демаскировка	225
Современник	226
«Смешливость, а не жестокость...»	226
Искусство	227
Неудача в любви	228
Иванихи	228
«Брошенки и разводки...»	229
«Торопливо всхлипнула. Сдержалась...»	229
Вечерний автобус	230
Уверенность в себе	231
Евгений	231
«Бывший кондрашка, ныне инсульт...»	233
«Отлежали свое в окопах...»	233
Темпераменты	234
Такая эпоха	234
«Крестьянская ложка-долбленка...»	235
«Сапожники, ах, проказники...»	235
Смерть велосипедиста	236
Мошкá	237
На «диком» пляже	238
«О первовпечатленья бытия!»	239
«У всех мальчишек круглые лица...»	239

Разные формулы счастья	240
«Не верю, что жизнь — это форма...»	240
«Бог и биология!»	241
Сельское кладбище	242
«Богу богово полагалось...»	242
Пока еще все ничего	243
«Надо думать, а не улыбаться...»	243
Ночью в Москве	244
«Кричали и нравовчали...»	244
Хвала Гулливеру	245
Мы и техника	246
О борьбе с шумом	246
Наследство	247
«Цветы у монумента. Чьи цветы?»	247
«Поэты малого народа...»	248
Институт	249
«Покуда еще презирает Курбского...»	249
«Разговор был начат и кончен Сталиным...»	250
Проба	250
Час Гагарина	251
Духовые оркестры	252
«Государство уверено в том, что оно...»	253
«Это — мелочи. Так сказать, блохи...»	253
«На экране — безмолвные лики...»	254
«Большинство — молчаливо...»	254
«Был печальный, а стал печатный...»	255
«Лакирую действительность...»	256
Знаешь сам!	256
«Умирают мои старики...»	257
Рубикон	257
«Иностранные корреспонденты...»	259
«Меня не обгонят — я не гонюсь...»	260
«Я, словно Россия в Бресте...»	260
«Где-то струсил. Когда — не помню...»	261
«Уменья нет сослаться на болезнь...»	261
Азбука и логика	261
«Пошуми мне, судьба, расскажи...»	262
Физики и лирики	262
Лирики и физики	263
Хорошее зрение	263
«Сосредоточусь. Силы напрягу...»	264
Непривычка к созерцанию	265
Прощание	266
«От человека много сору...»	266
Допинги	267
Способность краснеть	267
Дилемма	268
«Будто ветер поднялся...»	268
«Значит, можно гнуть. Они согнутся...»	269

♦ Глины вызывались поименно...»	269
«С любопытством, без доброжелательства...»	269
«Имущество создает преимущества...»	270
Бюст	270
«Единогласные голосования...»	271
Вскрытие мощей	272
«Нынче много умных и спокойных...»	272
«Человек на развилке путей...»	273
Издержки прогресса	273
Такая эпоха	274
«Бреды этого года...»	274
«Долголетье исправит...»	275
Молчашне	275
Полезное дело	276
Цветное белье	276
Новости в меню	278
Судьба	279
Кнопка	279
«Будущее, будь каким ни будешь!...»	280
«Не ведают, что творят...»	280
«Интересные своеобразные люди...»	281
«Расставляйте покрепче локти-ка...»	281
«Очень редкий ныне в городе...»	282
«Дрянь, мразь, блядь...»	282
Совесть	283
«Подписи собирают у тех...»	283
«Останусь со слабыми мира сего...»	284
Запланированная неудача	284
«Поэт растет не как дерево...»	285
Боязнь страха	285
«В эпоху такого размаха...»	286
«Инфаркт, инсульт, а если и без них...»	287
Пластинка	287
Работа над стихом	288
«Поэзия — обгон, но не товарищей...»	288
«Меня переписали знатоки...»	289
«Несколько стихов — семь, десять...»	289
Псевдонимы	289
Моя нервная системка	291
Автомат	291
Судьба	291
Отечество и отчество	292
«Отбиваться лучше в одиночку...»	293
Березка в Освенциме	293
«Теперь Освенцим часто снится мне...»	294
Неудача чтицы	295
«Черным черное именую. Белым — белое...»	296
На самый верх	296
«Дар — это дар...»	297
Читатель отвечает за поэта	297

Молодята	297
«Скамейка на десятом этаже...»	298
«Жалкой жажды славы не выкажу...»	298
«Завяжи меня узелком на платке...»	299
Сквозь мутное стекло окна	299
«Человечество — смешанный лес...»	299
Выпадение из отчаяния	300
Портяжка и храбрость	300
Никифоровна	301
Сын негодяя	302
«Художнику хочется, чтобы картина...»	303
Беззлая ругань	304
«Отрывисто разговаривал...»	304
«Человек подсчитал свои силы...»	305
«Интеллигентные дамы плачут, но про себя...»	306
Концерт в глубинке	306
«Охажую крестов, на спину взваленных...»	307
«Начальник обидел, а я психанул...»	307
Отец	308
Проступающее детство	309
Неопознанным ОПОЯЗ'ом...»	309
«Пуговицы позастегнувши плотно...»	310
Помогай, кто может	310
Не совсем	310
Вот еще	311
«Старухи, как черепахи...»	312
«Трагедии редко выходят на сцену...»	312
Плебейские генеалогии	313
Старое синее	314
«Брата похоронила, мужа...»	315
«Богатые занимают легко...»	315
«Руки опускаются по швам...»	316

V. ГАШЕНИЕ СКОРОСТЕЙ

«Пограмотней меня и покультурней!...»	317
«Сласть власти не имеет власти...»	317
Климат не для часов	318
«Крепостное право, то, что крепче...»	318
«Везло по мелочам...»	319
«Что-то дробно звенит в телефоне...»	320
«Не сказав хоть «здравствуй»...»	320
«По производству валовому...»	320
«Никоторого самотека!»	321
«Я в ваших хороводах отплясал...»	321
«Исключите нас из правила...»	322
«Игра не согласна...»	322
Ремонт пути	323
«Психология перекрестка...»	323
Где лучше всего мыслить	324

«Слышу шелест крыл судьбы...»	324
«Десятилетие Двадцатого съезда...»	325
Цепная ласточка	325
Сжигаю старые учебники	326
Выбор	326
«Это носится в воздухе вместе с чадом и дымом...»	327
«Дайте мне прийти в свое отчаянье...»	327
Ценности	328
«Я с той старухой хладновежлив был...»	328
Дождь	329
Преодоление головной боли	330
Давай пойдем вдвоем	332
Анализ фотографии	333
Как философ или ребенок	334
Уходящее время	334
«Жгут архивы. К большим переменам...»	335
Обе стороны письменного стола	335
«Начинается давность для зла и добра...»	336
«Это все прошло давно...»	336
«Эпоха закончилась. Надо ее описать...»	337
Первый овощ	337
Рука и душа	338
Валянье Ваньки	338
Полный поворот	339
«Среднее звено мечтает...»	339
«Эта крепко сбитая фраза...»	340
«Карьеристы и авантюристы...»	340
«Эта странная молодость...»	340
«Куфаечка на голом теле...»	341
«Было много жалости и горечи...»	342
«Старшему товарищу и другу...»	342
Перепохороны Хлебникова	343
Необходимость пророка	344
«Жалкие символы наши...»	345
«Хорошо будет только по части жратвы...»	345
«Необходима цель...»	346
Платон	346
«Союз писателей похож на Млечный Путь...»	347
Полвека спустя	347
«Молодеватые философы...»	348
«Покуда полная правда...»	349
«Опубликованному чуду...»	349
Хвала вымыслу	350
Неопознанные летучие предметы	350
Последнее поколение	351
В метро	351
«Я когда был возраста вашего...»	352
«— Старье! — мне говорят, — все это!...»	352
«Воспоминаний вспомнить не велят...»	352

«Над нами властвовала власть...»	353
«Историческую необходимость...»	353
«Смерть моя еще в отлучке...»	354
Удачник	354
«Я, наверно, моральный урод...»	355
«Когда маячишь на эстраде...»	355
«Иду домой с собрания...»	356
«Благодарю за выволочки...»	356
«Мастера ищу давно...»	357
«В такие дни, в таком апреле...»	357
Ветка в банке	358
«Не солонина силлогизма...»	358
«Четыре экземпляра — мой тираж...»	359
«Хороша ли плохая память?..»	359
Новые чувства	360
Профессиональное раскаяние	360
Желание	361
Вместо некролога	361
«О волосок! Я на тебе вишу...»	362
Сенькина шапка	363
«Все было на авосе...»	363
«Несменяем ни смертью, ни властью...»	364
«Поколению по имени-отчеству...»	364
Есть и такой	365
Полное отчуждение	365
«Эрудит, но без знания языков...»	366
«Малую толику тайн...»	366
Приметы	367
«Люди сметки и люди хватки...»	367
«Сразу родился пенсионером...»	367
«Твердым шагом, хорошо освоенным...»	368
С натуры	369
Пьяницы и государство	369
«Самохвалы собирают самовары...»	370
«Речи так речи...»	370
Черная икра	371
«Смолоду и сдуру...»	372
«Вырабатывалась мораль...»	372
«Хвалить или молчать!..»	373
«Кто пьет, кто нюхает, кто колется...»	373
Реперунизация	374
Продленная история	374
«Не домашний, а фабричный...»	375
Горожане	375
Разговоры о боге	376
Городская старуха	377
Кузьминична	377
Сон об отце	378
Шуба	379

Стариковские дела	380
«Кто еще только маленький...»	380
Философия и жизнь	381
Фреска «Злоба дня»	381
Внезапно	383
«Какая цель у человечества?..»	383
«Слишком умственный характер...»	384
«Когда ругали мы друг друга...»	384
Очки	385
«Умирают отцы и матери...»	386
Памяти одного врага	386
Выдержка	387
Хорошая смерть	388
«Рядовым в ряду...»	388
«Прожил жизнь, чтобы выяснить, что все кончается...»	389
«Тщательно, как разбитая армия...»	389
«Что думает его супруга дорогая...»	390
«Молодая была, красивая...»	390
Зеркальце	391
Петровна	392
Кафе-стекляшка	393
«Поем. А в песне есть...»	394
«В этот вечер, слишком ранний...»	394
Обращение к читателю	395
Я это я	396
Возвращение	397
«Уже не холодно, не жарко...»	397
«А что же все-таки, если бог...»	398
«Если вас когда-нибудь били ногами...»	398
Прощение	399
Каждый день	399
Профессиональная надменность	400
«Много псевдонимов у судьбы...»	401
Хочется жить	401
«Терплю свое терпение...»	402
Не за себя прошу	402
«Хорошо быть надеждой. Плохо...»	403
«Сентиментальность. Область чувств...»	404
Самый старый долг	404
«Я был либералом...»	405
«Как ты смеешь? Как ты можешь? Что ты хочешь?..»	405
Астрономия и автобиография	405
«Поправляй меня, Родина! Я-то...»	406
«Короткий переход из сна...»	406
«Я — пожизненный, даже посмертный...»	407
«А если вы не поймете...»	407
«Век вступает в последнюю четверть...»	408
Неоконченные споры	408
«Зачем, великая, тебе...»	409
Рожон	409

Гашение скоростей	410
«Фантаст не должен жить слишком долго...»	411
«Вдох и выдох...»	412
«Это — старое общество...»	412
«Одни обзавелись детьми. Другие впали в детство...»	413
«Обжили ад: котлы для отопленья...»	413
Из «А» в «Б»	413
«Запах лжи, почти неуследимый...»	414
«Ими пренебрегали их личные кучера...»	414
Высокое чувство	415
«Которые занимал посты...»	415
Павел-продолжатель	416
«Хорошо подготовленный случай...»	417
«Жили — скоро, в хорошем темпе...»	417
«Конечно, обозвать народ...»	418
Разные судьбы	418
«Все было жалко всех, но кой-кому...»	419
Страсть к фотографированию	419
«Самоубийцы самодержавно...»	420
На финише	420
«Нынешние письма болтают о том и о сем...»	421
О смертности юмора	421
Философы сегодня	421
«На десятичную систему...»	422
Мама!	422
«Еврейским хилым детям...»	423
Ваша нация	424
«Пред тем, как сесть на самолеты...»	424
Перспектива	425
«Изучение иностранного...»	425
Ода автобусу	426
Грязная чайка	427
Памятник старины	427
Мадонна и богородица	428
Что же просят ныне у бога?	429
«В графе «преступление» — епископ...»	430
Не так уж плохо	430
«Не принимает автомат...»	431
Читатели Льва Толстого	432
«В раннем средневековьи...»	432
«Это не беда...»	433

VI. ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

«Я был плохой приметой...»	434
«Каждое утро вставал и радовался...»	435
Последний взгляд	435
«Я был кругом виноват, а Таня мне все же нежно...»	435
«Небольшая синица была в руках...»	436
«Мужья со своими делами, нервами...»	436

«Мне легче представить тебя в огне, чем в земле...» . . .	437
Тане	437
Кое-какая слава	438
«Унижения...»	438
«Тороплю эпоху: проходи...»	439
Младшим товарищам	439
«Поспешно, как разбирают кефир...»	440
«Я других людей — не бедней...»	440
На белеющем в ночи листе	441
«Те стихи, что вынашивались, словно дитя...»	441
«— Что вы, звезды?..»	442
«Наблюдатели с Марса заметят, конечно...»	442
«Прощаю всех...»	443
«Я знаю, что «дальше — молчанье»...»	444
И пух и перо	445
Все течет, ничего не меняется	445
«Мировая мечта, что кружила нам головы...»	446
Соловьи и разбойники	446
«Слепой просит милостыню...»	447
«Маленькие государства...»	447
«Были деньги нужны...»	448
«Самолеты бьются, а прежде...»	449
«Поумнели дураки, а умники...»	449
Реконструкция Москвы	450
Между столетиями	450
«Не обязательно антинародна...»	451
«Все жду философа новейшего...»	452
«Делайте ваше дело...»	452
«Есть итог. Подсчитана смета...»	453
И срам и ужас	453
«Ракеты уже в полете и времени вовсе нет...»	454
«Распад созвездья с вызовом звезды...»	454
«Который час? Который день? Который год? Который век?..»	455
«Все кончается травкою...»	455
«Будущее футуристов — Сад Всеобщих Льгот...»	456
«Пока на участке молекулы...»	457
«На историческую давность...»	457
«Хватило на мой век...»	458
Сонет 66	458
«Утверждают многие кретины...»	459
«Говорят, что попусту прошла...»	459
«Когда ухудшились мои дела...»	460
«На русскую землю права мои невелики...»	460
Слава Лермонтова	461
«Господи, Федор Михалыч...»	461
«Читая параллельно много книг...»	461
«Ну что же, я в положенные сроки...»	462
Ночные стуки	462
«Продолжается жизнь — даже если я кончился...»	463
Перемены	463

Слуцкий Б. А.

С 49 Я историю излагаю... Книга стихотворений. /
Сост. Ю. Л. Болдырев.— М.: Правда, 1990.— 480 с.

Настоящий том стихотворений известного советского поэта Бориса Слуцкого (1919—1986) несколько необычен по своему построению. Стихи в нем помещены не по хронологии написания, а по хронологии описываемого, так что прочитанные подряд они представят читателю поэтическую летопись жизни советского человека и советского народа за полвека — с 20-х и до 70-х годов нашего столетия. В книгу включено много новых, не публиковавшихся ранее стихотворений поэта.

С $\frac{4702010200-2169}{080(02)-90}$ 2169—90

84 P 7

СЛУЦКИЙ Борис Абрамович

Я ИСТОРИЮ ИЗЛАГАЮ...

Составитель

Болдырев Юрий Леонардович

Редактор «Библиотеки»

В. Ф. Кравченко

Оформление художника

А. И. Неровного

Художественный редактор

В. В. Масленников

Технический редактор

Е. Н. Щукина

ИБ 2169

Сдано в набор 13.02.89. Подписано к печати 18.06.90.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отг. 25,62. Уч.-изд. л. 26,20.
Тираж 200 000 экз. (2-й завод: 100 001—200 000).
Заказ 1704. Цена 2 р. 80 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства
«Восточно-Сибирская правда», 66-1009, г. Иркутск,
ул. Советская, 109.

2 р. 80 к.